

марина  
Мареева

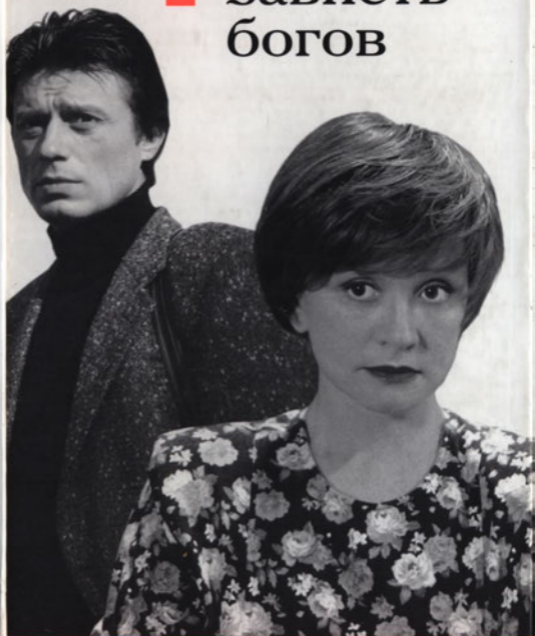
марина

Мареева



зависть  
богов

зависть богов



Марина Мареева – известная писательница, один из самых успешных киносценаристов России, автор сценариев более двадцати популярнейших художественных фильмов.

Среди них «Принцесса на бобах» (Гран-при за лучший сценарий на 1-м конкурсе киносценариев «Надежда», приз за лучший сценарий на 5-м фестивале русских фильмов во Франции «Онфлёр»), «Тоталитарный роман» (премия «Золотой Овен»), «Зависть богов», «Янтарные крылья», «Наследницы» (ТЭФИ за лучший мини-сериал), «Женский роман».

**«Боги не любят счастливых людей», – утверждал Геродот. Кажется, что против любви, захлестнувшей Соню и Андре, ополчился пантеон богов всех религий. В 1983 году простое знакомство, не то что любовная связь редактора советского телевидения и журналиста западноевропейского издания, грозило множеством неприятностей обоим. У каждого – вполне устроенная жизнь. Однако всепобеждающее чувство заставляет отместить все условности, выявляя готовность идти до конца, чтобы быть рядом с тем, кто предназначен самим небом. И пусть завидуют боги!**

ISBN 978-5-9697-0522-7



9 785969 705227

ВАГРИУС







марина  
Мареева



марина  
**Мареева**

■ **зависть  
богов,**

**или**

**последнее  
танго  
в москве**

Москва  
Вагриус

УДК 882-31

ББК 84-44

М 25

Издательство благодарит киностудию «Жанр» и народную артистку РФ Веру Валентиновну Алентову за предоставленные фотографии.

Художник — Г. Попова

Мареева М.Е.

М 25      Зависть богов, или Последнее танго в Москве /  
Марина Мареева. — М.: Вагриус, 2007. — 368 с.

ISBN 978-5-9697-0522-7

«Боги не любят счастливых людей», — утверждал Геродот. Кажется, что против любви, захлестнувшей Соню и Андре, ополчился пантеон богов всех религий. У каждого — вполне устроенная жизнь, которая протекает, может быть и без великого счастья, но и без великих потрясений. Однако всепобеждающее чувство заставляет отмести все условности, выявляя готовность идти до конца, чтобы быть рядом с тем, кто предназначен самим небом. И пусть завидуют боги!

УДК 882-31

ББК 84-44

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 978-5-9697-0522-7

© Мареева М.Е., 2007

© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2007

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

*Борис Пастернак*

...И вот теперь, когда они застряли наглухо в этой пробке на узкой улочке (Соня вечно забывает ее название), впечатались намертво (такая досада, Садовое — в полушаге, Колхозная площадь — рукой подать; Соня всегда по старинке говорит «Колхозная», кому — Сухаревка, а ей — Колхозная), вот теперь-то она и решила: зайду!

Муж сидел рядом, злой как черт, ловил свое «Авторадио».

— Вадик, — осторожно сказала Соня, — знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы на Сретенку заедем. В Луков переулок.

— Сдурела, что ль, совсем? — буркнул муж. — Второй час ночи.

— А кто говорил — сегодня проси что хочешь? Кто? Ловлю на слове.

— Хитра. — Вздохнув, Вадим убавил звук. На «Авторадио» грохотал тот же шабаш, что и повсюду: «Миллениум, миллениум, с Новым

годом вас, господ, с новым веком!» — Зачем тебе Сретенка?

Но они уже ехали, крутились-пятились, выворачивали на Сретенку — надо же, сколько машин! Второй час ночи, а машин море! Теперь это модно: к тем заехать, к этим... До утра мотаешься по знакомым с дюжиной гжельских салатниц, припасенных загодя. Ну и тебе вручат какого-нибудь ритуального дракона. Керамика, шамот. Этикетка отодрана так, чтобы все же видно было: цифра трехзначная. Влажный хмельной поцелуй, рюмка водки. Торопливое заклинание: «Всего-всего, чего сама себе пожелаешь...» «А Вадьке ни-ни, он за рулем». — «Куда-а, только сели?!» — «Прости, нам еще к Хвостовым — отметиться, пока старик не задрых...»

Сретенка. Луков.

— Где? — спросил Вадим, дав зевок.

— Вот здесь.

Дом. Сонин дом. Здравствуй, дом. С Новым годом!

— У тебя салатниц не осталось. — Вадим оглянулся назад, на полуразоренную коробку из-под микроволновки — что-то там все же валялось на дне, под слоем оберточной бумаги.

— У меня еще две вазы и подсвечник.

— Запасливая. — Вадим достал сигареты. — И кому мы сейчас втюхаем подсвечник?

Говорить — не говорить? Скажешь правду — он ведь тебя туда одну не отпустит. Вот и хорошо: не отпустит — развернемся, уедем. Не надо туда ходить, Соня. Не ходи туда. Ты себе слово давала. Сколько лет ты держала слово! Сколько?! Сейчас подсчитаем, это несложно. Восемьдесят третий. Двухтысячный. Семнадцать лет. Боже всеблагой! Семнадцать!

— Ваденька... — начала Соня. Муж искал зажигалку, хлопая ладонями по карманам. Соня взяла его руки в свои, легонько сжала. — Вадим, знаешь, куда мы приехали? Это мой дом. Я здесь жила с Сережей.

С минуту Вадим обалдело смотрел на Соню. Еще бы! Потом устался на дом. До-олго он его рассматривал! Неприязненно, с напряженным, въедливым интересом, кривя свои губы еврейские, арапские, чуть вывороченные, верхняя губа бледнее нижней...

Наверное, с такой же мрачноватой ревнивой усмешкой Вадим разглядывал бы не только дом, но и мужчину, с которым Соня жила в этом доме когда-то.

— Я на пару минут. — Она открыла дверцу. — На десять самое большее.

— Ты что, думаешь, я тебя одну туда отпускаю? — буркнул Вадим. — К чужим людям, ночью? Ты хоть знаешь, кто тут теперь живет?

— Господи, да разве я туда пойду? — Уж чего-чего, а вывернуться, приврать Соня умела. Она этому научилась теперь, на шестом десятке. С Вадимом иначе нельзя. — Я к соседке своей, к Эмме, мы уже созвонились.

Вадим глядел на нее недоверчиво.

— Ты же говорила, что десятой дорогой его обходишь, ЭТОТ дом. Ни разу за все годы, пока мы с тобой...

— Ни разу, — перебив его, подтвердила Соня. Так оно и было, уж тут без вранья. — Я только с Эммой созванивалась.

— Как-то мне все это против шерсти. — Вадим наконец нашел зажигалку и закурил. — Сомнительная акция. С точки зрения вкуса. Тебе не кажется? Как в плохих романах. Бабских. — И он произнес нараспев, с наигранным, ерни-

ческим пафосом: — На переломе эпо-ох... На рубеже столетий... Она вернулась к своему погашенному очагу-у-у...

— Ну тебя, — отмахнулась Соня, ставя ногу на снег. — Перестань.

— ...Она упала на холодные камни крыльца... — не унимался ее благоверный, уж понесет — не остановишь. — О дом мой! О мое покинутое гнездо! Я вернулась к тебе, чтобы...

— Вадим, замолчи, сделай одолжение.

— ...вновь припасть к твоим святыням!.. Тьфу. Бабский роман.

— Ну так я только такие теперь и читаю. — Соня наконец выбралась из машины. — Жди.

— А салатница? — крикнул муж ей вслед. — А подсвечник?

Какая салатница? Соня шла к своему дому. Салатница... Семнадцать лет. Не только к дому — к переулку не подходила. Если и заезжала на Сретенку в «Ткани» — здесь хороший магазин, замечательный выбор портьерных, — то бегом-бегом, в сторону Лукова переулка нельзя смотреть, нельзя даже взглядом скользнуть, табу!

Кодовый замок. Дорогой, навороченный. Щиток с номерами квартир. Конечно, теперь здесь только «новые русские» живут. «Новые сретенские».

Раскрошили изнутри Сонин дом, вычистили, выгребли рыхлую плоть чужого, ветхого, ненадобного им жилья. Начинили его заново.

Соня нажала на кнопку с номером двадцать один. Что-то там щелкнуло, зашуршало, и молодой мужской голос весело гаркнул:

— Кто?

Соня оглянулась назад. Вадим сидел в машине, курил, листал «Коммерсант».

«Вот ведь отпустил, — подумалось вскользь. — К соседке — и ладно. Ведь все на поверхности, очевидная ложь — нет, верит. Ему так удобнее».

— Кто? — переспросил хозяин двадцать первой.

— Добрый вечер, — сказала Соня и торопливо поправилась: — Доброй ночи. С Новым годом! Я... — Она запнулась. А что тут скажешь? Вот что тут скажешь? — Я когда-то жила в этой квартире.

Сейчас он пошлет ее куда подальше. По самому замысловатому адресу. В Гренландию. К Деду Морозу.

Замок щелкнул. Соня неуверенно толкнула тяжелую дверь — дверь открылась. Ее впустили в дом. Как-то слишком легко впустили.

Она вошла в парадное. Оглянулась — Вадим изучает свои биржевые сводки. Еще не поздно вернуться.

Нет, она захлопнула за собой дверь и вошла в кабину лифта. Лифт тоже другой, новый. Раньше, при Соне, здесь грохотала, устрашающе скрежеща, дрожа и покачиваясь, громоздкая железная клетка.

Четвертый этаж. Дверь Сониной квартиры приоткрыта на полпальца. Рядом, за дверями двадцать второй и двадцать третьей, плясали и пели. Никакие там не «новые русские». «Новые русские» сейчас прыгают вокруг суррогатной елочки, увязая по щиколотку в горячем песке Пальма-де-Мальорки. А здесь нетрезво и дружно орут про «ай-ай-ай, убили негра» и топчут ножищами, и в стену уже летит что-то тяжелое, сейчас бутылки будут кидать из окон. Нет, это все-таки «новые русские». Люберецко-таганские. Вот кто теперь живет в этом доме.

Дверь двадцать первой квартиры открылась настежь. Хозяин стоял на пороге и с веселым любопытством смотрел на Соню. Лет ему было... ну от силы двадцать пять. Простецкая курносая рожица. Стрижен под нулевку. Белесые бровки, уши торчком. Типичный призывник-новобранец. Тоже, верно, из братвы. Расклад понятен. Братва отмыла-обналичила воровские свои припасы. Снялась всем табором, вышибла из Сониного сретенского гнезда исконных его хозяев, распихала их, старых, сирых, растолкала по стылым блочным «одиночкам», кого — в Бутово, кого — в Митино...

— У, как ты меня не любишь! — хохотнул новобранец и качнулся, привалясь спиной к дверному косяку. Только теперь Соня поняла, что он вдребезину пьян. — Входи. — Он говорил ей «ты», ей, шестидесятилетней. — Так ты чего... Жила здесь?

За его спиной было тихо. Рядом, в двадцать второй и двадцать третьей, гремело, грохотало разудалое пьяное гульбище, а здесь — тишина. Странно.

— Я тут пес на цепи, — пояснил словоохотливый новобранец. — С цепи меня спустили, мать. По случаю праздника. Давай заходи. Выпей со мной. Мне одному лениво.

«Лени-иво». Словечко-то! Это не хозяин. Это хозяйский цепной пес. Охранник. «Лениво»! Вот кто теперь живет в Сонином гнездышке, может быть, даже спит в ее комнате, в маленькой комнате с окном во двор, на кривоватые старые тополя, откуда видны бульвар, и бестолковая, обожаемая, родная площадь-нескладеха, и серое здание Главпочтамта. И он, вот этот, смотрит на них теперь из Сониного окна. «Лениво»!

А зачем она сюда пришла? Зачем нарушила каменной крепости зарок? Никогда не возвращайся! Никогда! Не возвращайся.

Миллениум! Подводим итоги! Миллениум-элениум... Дура.

— Извините, я дверью ошиблась, — сухо сказала Соня и шагнула к лифту.

— Вы ко мне? — спросил кто-то у нее за спиной.

Соня оглянулась. А вот и хозяин квартиры. Да, это хозяин. Он стоял возле пьяненького охранника, положив руку ему на плечо. Ровесники. Пожалуй, хозяин еще моложе. Года двадцать два. Из молодых, да ранних. Яппи. Жесткое умное лицо. Холодно-приветлив. Джинсы и свитерок с аккуратными замшевыми заплатами-квадратами на локтях. Это в праздник-то, в Новый год! За правым ухом копеечная ручка. Ну не «паркер» же ему за ухом... Работал, что ли? Посреди всеобщего гулянья-расслабухи? Извращенец.

Надо уходить.

— Прошу вас. — Хозяин квартиры посторонился, жестом приглашая Соню войти.

И она вошла.

— Парень мой перебрал слегка. — Хозяин квартиры добродушно похлопал новобранца по плотному плечу. — Вы уж его простите. Я ему сегодня позволил. У него наследник родился час назад.

— Поздравляю, — почти автоматически откликнулась Соня.

До новобранца ли ей было сейчас? Она стояла в прихожей своего дома, не узнавая ее. Яппи распорядился Сониным домом по-своему: смел перегородки, порушил стены. Имеет право. Имеет. И все равно это Сонин дом.

— Пацан! — ликующе возгласил счастливый папаша. — Пятьдесят три сэмэ! Первый в двухтысячном! Первый в Москве!

— Ну это еще нуждается в подтверждении, — заметил яппи, вынимая ручку из-за уха.

— В ноль часов три минуты! — Новобранец негодуяще уставился на хозяина.

Соня смотрела на них. Смешные. Сами еще дети.

— Ноль часов три минуты! — кипятился новобранец. — Куда круче-то? Первый в новом веке! Нам теперь Лужок квартиру под это дело дать обязан.

— Век через год начнется, Саш, — возразил хозяин и перевел взгляд на гостью: — Проходите.

Ничему он не удивлялся. Не требовал никаких разъяснений. Приперлась тетка какая-то в два часа ночи — нормально, входи.

— Я сейчас вам все объясню... — начала было Соня.

— Она когда-то жила, — перебил ее новобранец, желая первым рассказать обо всем хозяину, обелить себя, пьяного олуха: дескать, не первой встречной дверь распахнул, все разузнал сперва, выпросил. — Она когда-то жила.

Он, верно, хотел добавить: «...в этой квартире», но похмельная муть сдавила горло, вот и вышло: «Она когда-то жила».

— Можно, я зайду в ванную? — спросила Соня, глядя на яппи. — На пару минут. А потом уйду. Можно?

— В ванную? Может быть, вам... У нас не... не... — Хозяин покраснел. Секунду назад был невозмутим, а теперь залился краской. Дитя еще. — У нас не совмещенный.

— Да нет, мне именно в ванную надо. — И Соня уверенно пошла в глубь квартиры. Вряд ли яппи ванную перенес в процессе европеределки.

Так и есть, ванная на месте. Соня открыла дверь. О приличиях она теперь не думала вовсе. Какие приличия? Бред, новогодний сюр, с миллениумом вас! Пьяный охранник — счастливый папаша (ноль часов три минуты, эксклюзив, квартира от Лужка), молодой вежливый яппи с грошовой ручкой за розовым детским ухом и пожилая баба, явившаяся в чужой дом в светлый праздник Новогодья, да прямым — в душевую.

А яппи ни о чем не спрашивает. Гостеприимен. Радужен. В ванную? Пожалуйста.

Бред. Вдруг она там, в ванной, повеситься собралась?

— Я закрою дверь? — спросила Соня, словно напрашиваясь, чтобы хозяин если и не выставил ее вон, то хотя бы поинтересовался: а зачем вам сюда, дама? И в своем ли вы уме?

Нет, он кивнул, соглашаясь, и Соня закрыла дверь.

Розовый кафель, джакузи, все прибаамбасы новорусского сантехнического рая. Сантехника. Как Сан-Антонио. С большой буквы и через дефис.

Ладно, это неважно. Важно, что зеркало висит на прежнем месте. Другое, новое зеркало, конечно. Сонино зеркало было старым, мутноватым, с лишаями поврежденной амальгамы. А это роскошное, в розовой с золотом раме. Наверное, жена у яппи — Барби. Барби из Балашихи. Поэтому все здесь розовое, кукольное, блестящее, неистребимо про-

винциальное, с претензией на шик, на высший класс, на «вы только гляньте, как мы устроились».

Ладно, это неважно. Зеркало висит на прежнем месте.

Соня подошла к нему поближе. Старая баба. Она хорошо выглядит, замечательно для своих самоубийственных — не вымолвить — шестидесяти. Она молодо выглядит и знает это.

Неважно. Соня закрыла глаза.

Андре. Андрюша. Сейчас бы открыть глаза, а ты за спиной. Вошел неслышно, стоишь в шаге и смотришь на меня в зеркало, и я на тебя смотрю, а вода хлещет из крана, холодная, горячую вчера отключили, у нас летом всегда отключают, чинят гнилые наши, ржавые водопроводные трубы. Так у нас принято в Эс Эс Эс Эр.

А у вас так не принято, в вашей благословенной Франции? Нет?

А у нас отключают летом. Иногда в июле, иногда в августе. Это август. Август тысяча девятьсот восемьдесят третьего года.

Андрюша...

В дверь осторожно постучали. Наверное, яппи все-таки испугался, что Соня повесилась. Или отломала от подзеркальника Барби позолоченный ободок, сунула за пазуху, кто ее, тетку, знает...

— Войдите! — крикнула Соня.

Яппи открыл дверь, исподлобья, участливо взглянул на гостью и втолкнул в ванную столик на колесиках. Кофе, коньяк, мартини, фрукты. Вошел сам. В ванной — мартини на колесиках! Бред, полный миллениум. И Соня наконец рассмеялась.

— Вас как зовут? — спросила она.

— Женя.

Хмурый, протрезвевший новобранец внес в ванную два стула от дорогого кухонного гарнитура. Яппи дождался, пока Соня сядет, потом сел сам. Воспитан.

Соня глянула на часы. Шесть минут прошло! Всего-навсего. Странная штука — время. Шесть минут — будто шесть часов.

— Женя, я в этом доме с пяти лет жила. И до сорока трех, — сказала Соня, жестом пресекая его попытку открыть коньяк. — В ванной сидим. За коньячком. Ну не смешно ли?

— Почему бы и нет? — Яппи невозмутимо пожал плечами. — Кофе? Чай?

— Да вот же кофе. Остывает. — Придвинув к себе чашку, Соня подняла ее, будто рюмку. — С Новым годом, Женя!

— С Новым счастьем. — И они сдвинули чашки, эти двое сумасшедших, как, наверное, думалось новобранцу, то и дело опасливо заглядывающему в золочено-розовое царство. Он, очевидно, проверял, не пришила ли чокнутая гостья его чокнутого хозяина.

— А жена ваша где? — спросила Соня у яппи.

— В Большом. Там сейчас вся элита резвится.

— Две штуки баксов за билет, — осторожно, трусовато, но с лакейской гордостью за хозяина вставил новобранец.

— Не заливай, — миролюбиво осадил его яппи.

— А вы что ж не поехали? — поинтересовалась Соня.

— Я работаю, — пояснил яппи. — Изучаю годовой отчет.

— У вас магазин свой?

— Банк.

Банк! И дом не бог весть, и квартирка так себе... Спартанец. Из «новых-новых». Американская метода: деньжищ немерено, а он ходит в недорогой супермаркет и еще битый час доказывает там кассиру, что тот обсчитал его на три цента.

А этот в новогоднюю ночь изучает отчет, ставя на полях галочки копеечной ученической ручкой. И сумасшедшую тетку в дом впустил, и коньяк ей привез на колесиках. Участливый. Милосердный. Псу своему цепному позволил нажраться по случаю рождения чада... Яппи-гуманист.

— Спасибо вам. — Соня поднялась. — Мне пора. Меня муж внизу ждет, волнуется.

Яппи тоже встал. Новобранец, притаившийся за дверью, шумно, с видимым облегчением вздохнул.

Не удержавшись, Соня снова подошла к зеркалу. Так, последний взгляд бросить. Больше она сюда никогда не придет. Вот теперь — точно.

— Это роддом? — орал новобранец из прихожей. — Я по поводу Одинцовой, девятая палата... Я знаю, что родила, я звонил! Я узнать, как она! Могу я узнать?

Соня на секунду прикрыла глаза. Ну прощай, Андре. Прощай, мой любимый. Вот и век кончился. Или не кончился еще? Время — такая странная штука. Шесть минут — будто шесть часов. Семнадцать лет — словно сто семьдесят.

— ...А откуда вы знаете, что спит? — возмущался счастливый отец. — А почему вы не дадите таких справок? Я выпил?! Мать, ты меня не

оскорбляй! Что мне, в трубку дыхнуть? Мать, не нагнетай, слышишь?!

Прощай, Андрюша.

Соня открыла глаза. Нет, не Андре стоял у нее за спиной — молодой хозяин банка, хозяин дома, хозяин жизни, в которой Соня — так, квартирантка, Соне скоро съезжать, долго ли осталось? Лет десять еще, пятнадцать. Время — странная штука. Пятнадцать лет — как пятнадцать дней.

Прощай, Андре. Прощай.

— До свидания. — Соня повернулась к яппи: — Женя, скажите, а сколько вам было лет в восемьдесят третьем году?

— В восемьдесят третьем? — переспросил тот, по-прежнему ничему не удивляясь. — Восемь.

Господи! Мальчик с острыми, ободранными коленками, который, может такое стать, прокатил мимо нас с тобой на трехколесном велике, пока мы шли Армянским переулком, обогнал нас, лихо накручивая педали, — вот он, этот мальчик, вырос. Он мужчина, он муж, он хозяин банка, хозяин дома, ему двадцать пять лет.

Кончился век. И жизнь кончается.

Как сказал этот пьяненький новобранец-охранник, как он сказал-то, не успев окончить фразу, не осилив ее? «Она жила когда-то»? И все. Она жила когда-то.

*13 августа 1983 года*

Какое пекло!

Соня проснулась. Она лежала на боку, уткнувшись щекой в подушку. Когда же кончится эта жара, когда же кончится эта мука? Соня лежала на мокрой простыне, и подушка у щеки

хоть выжимай, и плечи, и шея, и лоб — они влажные от пота.

Пекло. Сушь. Третью неделю тянутся жаркие, безветренные дни. Нас берут на измор. Солнце будто взбесилось. В Подмоскovie горят леса, в городе асфальт к полудню накаляется так, что, кажется, приложи к нему ладонь — и будет ожог, кожа вздуется пузырями.

Асфальт плавится, он мягкий, проседает под каблуками... Соседка вчера рассказывала: у Сретенских ворот женщина шла, шла — и упала. Солнечный удар. Увезли на «скорой». Молодая совсем.

Пекло. Пытка.

А у Сони сегодня день рождения.

И Соня наконец открыла глаза. Осторожно просунула руку под подушку. Пусто. Да не может такого быть! Она села на постели, подняла подушку — пусто.

Соня замужем ровнехонько двадцать лет. Двадцать лет подряд, в этот день, в Сонин день, она находит под подушкой подарок. Ни разу такого не было, чтобы не находила. Ни разу! Даже когда они поссорились в семьдесят шестом, основательно, не на шутку (полгода балансировали на грани развода, Сережа ушел жить к приятелю, мотался по съемным квартирам), все равно тринадцатого августа Соня нашла под подушкой коробочку с духами «Клима». Попробуйте добудьте! Это вам не «Красная Москва», это вам не заглянуть между делом в угловую «Галантерею», ткнуть пальцем — заверните! «Клима»!

А сегодня под подушкой пусто.

Года два назад, когда Соня в этот день на гастролях была с театром... где же? в Чебоксарах? нет, в Вологде... в Вологде, в тесном, душ-

ном гостиничном номере ночью проснулась — и закричала в голос, отталкивая от себя руки мужчины, склонившегося над ней в темноте. И сразу успокоилась, услышав голос помрежа Виталика. Виталик — это не страшно, Виталик был ходок в другую сторону, по мужскому полу.

«Чего орешь, дура? — гневно шипел тогда Виталик, держась за небритую щеку (Соня все же успела вlepить ему пару затрещин). — Мне Сережка твой в Москве еще денег дал. Велел купить тебе, психопатке, кружев этих долбанных. Ночью под подушку сунуть. На тринадцатое».

И Соня смеялась уже, и просила у Виталика прощения, разворачивая сверток с кружевным узорным шитьем. Вологодское кружево, все Сережа продумал, обо всем позаботился, солнышко Сонино, спасибо. Виталик, покажи щеку, неужели до крови?! Дай я йодом прижгу...

А сегодня под подушкой пусто.

Соня встала и, набросив на плечи халат, прошлась босиком по прогретому солнцем паркету. Заглянула в комнаты, вошла на кухню.

Никого. Ни мужа, ни сына. Не поздравил ее Сережа. Неспроста. Может, он обиделся? На что? Может, это такой выпад? А чем ему Соня не угодила?

Она достала из холодильника треугольный пакет с молоком, Сережа называет их «пирамиды Хеопса». Та-ак. Молоко прокисло. Свежее, завтрашнего числа. Такая жара — пока донесешь пакет до дому, молоко сворачивается.

Может быть, Сережа в самом деле на нее обиделся? Вчера молчал весь вечер, стучал на своем «ундervуде» до полуночи, наорал на сына, спать лег в кабинете. Обиделся, точно. И Соня принялась лихорадочно вспоминать, что

она ему такого брякнула, чем задела, что сказала лишнего?

Ну, например, вот это, три дня назад, за ужином: Сереж, у нас сегодня Визбор был на прогоне, привет тебе передавал. Он меня вспомнил и тебя помнит. Он же учился в педагогическом нашем, тремя курсами старше... Господи, какой мужик! Веселый, красивый, в кино снимается — кто бы мог подумать! У нас две актрисы были на его концерте, обрелись, обхохотались, ладони себе отбили...

Сережа, выслушав это, отодвинул в сторону чашку с недопитым клюквенным киселем, молча встал из-за стола и вышел.

А Соне, дура, нет бы прежде подумать — потом щебетать, петь рулады горнолыжному хриплогласному душке барду. Потому что муж ее, как всякий неудачник, — человек без кожи. Вот ты брякнешь что-нибудь без всякого умысла, а Сережа тотчас скрытый подтекст в сказанном отыщет.

Визбор, дескать, на коне, а ты, муженек, — никто, ничто и звать никак. Сшиваешься при Воениздате. Первый крайний на подхвате. Раз в два года — тоненькая книженция в копеечной обложке. На обложке старинный друг-собутыльник, пьянь-рвань Вова Малюфеев, старейшина профсоюза графиков, дрожащею от постоянного запоя рукой всегда рисует одно и то же: свирепого партизана с уркаганской рожей, в разодранной на могучей груди тельняшке. Голова обвязана, кровь на рукаве. След кровавый стелется... Ну дальше по тексту.

Сонин муж Сережа — певец партизанской темы. В общем, никто, дырка от бублика, не вышло из нас большого русского писате-

ля, не легла нам карта, не подфартило, не выгорело.

А Соня ему взалхлеб, с бабским безмозглым восторгом — про удачника, про победителя. Ну разве можно мужика ударить больнее?

Вот и пусто у тебя под подушкой в день рождения. Поделом.

И вообще, это уже неприлично, это уже смешно. Сорок три года, не семь же! Только маленьким под подушку подарочки подкладывают. Решено — ритуал отменяется, он себя изжил, он упразднен.

Замечательно ее Сережа проучил, разом поставил на место. Не все же Соне пряник, не все ей кружева в Вологду, самовары в Тулу, дефицитные «Клима» в разгар семейной «холодной войны».

Вот, получай кнутом промеж ребер. Молодец, Сережа! Он умеет быть жестким. Никакой он не квашня. Пожалуйста, проявил характер.

И тут Соня увидела записку. Записка лежала рядом с заварочным чайником. «Сонька! — Почерк у мужа жуткий, у каждой буквы — подагра, паркинсон, эпилептический припадок. — Я в «Войнушке» до трех. — «Войнушкой» Сережа называет ненавистного кормильца — Воениздат. — Сашка уехал на дачу. Подгребай к Старицким к четырем. Будет «Последнее танго». Лобзаю».

Соня растерянно прочла записку, потом еще раз. Никакой обидой тут и не пахнет. Никогда бы Сережа не назвал ее Сонькой, если бы дулся, если бы затаил праведный гнев.

Значит, он просто забыл. Он забыл про Сонин день. Впервые за двадцать лет. И сын забыл, уехал на дачу.

Соня сидит на кухне, плаваясь от жары. Сумасшедшее, взбесившееся солнце лупит в окно, обжигая Сонину поникшую спину.

Соне сегодня сорок три года. Никому она не нужна. Скоро они вообще о ней забудут. И сын, и муж. Они забудут, как ее зовут. Старый анекдот: «До чего ж вы жену-то любите! То она у вас рыбка, то птичка, то кошечка...» — «Да я просто, признаться, имени ее не помню».

Ну поплачь, поплачь, пожалей себя, ветхую старушенцию. Соня снова перечитала записку.

«Последнее танго» — это «Последнее танго в Париже». Говорят, потрясающий фильм. Говорят, очень смелый. У Старицких есть видеомагнитофон. Это такое обалденное сооружение, последнее слово заокеанской науки и техники, их штук десять на всю Москву. Ну, может быть, двадцать.

«Танго». Замечательно. И Соня решительно поднялась из-за стола, так и не позавтракав. Молоко скисло, кофемолка еле дышит, лучше до нее не дотрагиваться, пусть поживет еще пару недель, она и так в коме.

«Последнее танго в Париже». Бертолуччи. Брандо. Блеск! Вот тебе, новорожденная, и подарочек к светлому дню.

Она выскочила из подъезда...

Господи, будто в духовку раскаленную — с головой! Вместо жаркого противня — плавящийся под ногами асфальт. Это утром-то! Нас утро встречает прохладой... Любимая, что ж ты не рада... А в полдень будет тридцать пять в тени. Экватор. Центральная Африка.

Из раздолбанного «жигуленка» выбиралась, тяжело дыша, Сониная соседка по лестничной клетке, Эмма. Следом повыпрыгивали все сто

семьдесят Зиминых чад. Соня всегда путалась в подсчетах: трое? четверо? пятеро?

— Софья, — простонала Эмма, вытирая пот со лба, — мы дезертиры! Провались она пропадом, эта дача! Посмотри, на кого я похожа! Глянь на мой помет!

— Эмма! — ахнула Соня, смеясь. — Ты не Эмма. Ты Элла! Элла Фицджералд.

Эмма была бабой нехрупкой, немелкой: широка в кости, велика, дородна. Сказать, что она загорела там, на своих садово-огородных плантациях где-то под Новым Иерусалимом, значило бы ничего не сказать. Гладкая, глянцево поблескивающая, дивная Эммина кожа (кожа полной женщины, женщины в теле, в соку) была теперь совершенно негритянского колера. Хорошо, не придирайтесь: шоколадного. Густой топлёный шоколад, кожа мулатки.

— Во, Фицджералд, точно! — хохотнула Эмма и, уперши кулачищи в крутые бока (Эмма была баба заводная, веселая), тотчас выдала что-то вроде джазовой негритянской импровизации, напоследок хрипло пророкотав: «О-о-о йе-ес!»

— Что ж вы с дачи-то бежите? Такой загар — загляденье, — удивилась Соня.

— Это не загар, это угли! — завопила Эмма, вытаскивая из своей таратайки корзины и баулы. — Это пепел, Соня, ты посмотри на мой помет!

Помет (их было четверо, наконец-то Соня их пересчитала, два мальчика, две девочки) уже носился по двору, чернее черного, негритяга.

— Они ж обуглились там, Соня, — причитала Эмма, хлопая дверцами машины. — У них

кожа хрустит уже. Разве это Петя? Петя, иди сюда, тащи сумку... Это Петя во фритюре.

— Уж этот твой черный юмор, — вздохнула Соня, помогая Пете поднять объемистую сумку.

— А как иначе? Сама теперь черная, дети черные, юмор черный, — смеялась Эмма, язык без костей, лихая московская оторва, Соня ее обожала. — Эй, эфиопы! — Эмма огляделась, отыскивая цепким материнским оком прочих своих чад, рассыпавшихся по двору. — Марш домой! В хижину дяди Тома!

— А где твой благоверный, кстати? — Соня уже волокла к подъезду корзины, доверху наполненные красной смородиной.

— Дяди Тома нету дома, — тут же съязвила Эмма. — Слинял в Мурманск, стервец, в командировку. Конечно! Там ему прохладно. Там вечная мерзлота. Господи! — И Эмма подняла черные свои, вполне негритянские глаза к бесцветному, словно вылинявшему от жары московскому небу. — Господи, когда же кончится это пекло?!

И Соня, повторив ее движение, откликнулась эхом:

— Господи! Когда?..

У главрежа было накурено, зато работал вентилятор.

Войдя, Соня села возле дверей на краешек стула.

Главреж холодно кивнул ей, на секунду как-то по-бабьи поджав губы. Он вообще был похож на бабу, и повадки у него были бабские. Уж если истерика — то с непременно метанием графина, швырянием его оземь (графин всегда стоял перед ним на столике в репетицион-

ном зале, еще штук пять сосудов завреквизитом держал наготове, на случай затяжной вспышки патронова буйства). Если истерика — то с истошным криком: «Я ухожу из этого театра-а-а! Кухаркины дети! Ослы! Каботины!»

Актеры, коим был адресован этот гневный пассаж, разбредались по сцене, кто-то нервно хихикал, кто-то на всякий случай изображал неподдельную скорбь, муки больной совести, горькое раскаяние. Кто-то шумно шептал, припав губами к уху партнерши: «Че такое каботины-то, Зин? Че за каботины, на хрен?..»

«Каботины!.. — вопил их вожак, топоча крохотными, младенческими ножками в неземной красы иноземной обуви, именуемой мокасынами. Главреж был пижон, страсть любил приодеться, из каждого заграничного вояжа привозил чемодан шмотья, одних шейных платков у него, говорят, было семь дюжин. — Свиные рыла! Креста на вас нет!»

Теперь главреж сидел посреди кабинета, картинно сгорбившись на стуле, подперши кулаком узкий лобик (Соня всегда удивлялась: властитель дум, мыслитель, пастырь, а лобик узкий-узкий, полтора сантиметра).

— Что делать? — скорбно изрек главреж, не поднимая головы. — Это конец. Конец.

Соня уже знала, в чем дело. Вчера был генеральный прогон «Села Степанчикова». Явилась курва из райкома, встала посреди спектакля, поправила пудовую халу, скрученную из накладных волос, густо, зычно, по-комиссарски рубанула: «Антисоветчина. Пакость. Через мой труп».

Главреж сидел почти в позе роденовского мыслителя, бессвязно причитая:

— Конец! Конец! Я убью эту большевистскую проблядь!

— Пожалуйста, выбирай выражения. — Надо было бы смолчать, но у Сони не вышло.

— Чего? — Главреж картинно вскинул голову, подбоченился и вперил в Соню дальнорзоркие гневные очи. И тотчас принялся кривляться (баба! баба!): — Ах, простите великодушно! Не велите казнить! Виноват! Каюсь!

Соня поднялась, чтобы уйти. Надо отсюда уходить вовсе. Не сложилось, не склеилось. Надо, надо уходить.

— Леонид, перестань, побойся Бога!

Соня оглянулась на голос: ага, явилась группа поддержки. Друзья дома. Знаменитый поэт, писатель-деревенщик, не столь обремененный славою, сколь советскими регалиями, и третий — помельче, пошпанистей: модный фотохудожник.

— Не обижай женщину, — добавил деревенщик, по-свойски обнимая Соню за узкие плечи, целуя ее в щеку и щекоча сивой бородой.

Вырвавшись, Соня благоразумно забилась в угол, подальше от цепких лап и медвяных уст художников слова и кудесников объектива.

— Леонид! — возгласил между тем знаменитый поэт, оттаскивая стул с сидящим на нем главрежем в сторону, к окну, освобождая для себя максимум свободного пространства. — Леонид, надо выработать точную стратегию. Никакой самодеятельности, никаких опрометчивых шагов. Зачем ты звонил в Минкульт вчера вечером?

— А, ты уже в курсе, — горестно прошептал главреж.

— Ему настучали, — ехидно вставил деревенщик. — У него теперь в каждом губчека свой человек.

— Леонид, мы пойдем другим путем! — Знаменитый поэт уже метался по комнате, энергично потирая руки.

Модный фотограф, судя по всему, мало озабоченный судьбой опального спектакля, оглядел Соню с ног до головы наметанным взглядом профессионального ценителя женских чар. Хладнокровно, с беспримерным бесстыдством отодрал от афиши, висевшей на стене, изрядный кусок, нацарапал пару фраз на обороте.

— Леонид, я дам интервью «Пари матч»! — вопил между тем поэт, кружа по комнате и размахивая длинными дланями. Он был похож на огромную блестящую, раскрученную чьей-то невидимой рукой аляповато яркую юлу, вращающуюся вокруг своей оси все быстрее и быстрее, с оглушительным дребезжанием и скрежетом: ярко-зеленые, почти изумрудного оттенка брюки, рубашка-апах цвета спелой вишни, то ли шелк, то ли креп-сатин... Поэт питал неизъяснимую, пагубную страсть к самым радикальным оттенкам, смело смешивая фиолетовый с канареечно-желтым, насыщенно-голубой — с клюквенным. А уж если ткань еще и блестела!..

Как старая сорока мгновенно выхватывает клювом серебряную монету, сверкнувшую на грязном городском снегу, поэт жадно скупал где-нибудь на развалах нью-йоркской барахолки все шелковые рубахи, атласные жилеты и пиджаки с блеском, прошитые неведомой в москвошвейно-домотканом Эс Эс Эс Эр штуковиной под названием люрекс.

— Я дам интервью «Пари матч», — повторил поэт, бросив на Соню быстрый торжествующий взгляд, дескать: ну оценила, каково?

— Не надо, — вяло отмахнулся главреж. — Не мечи икру.

Деревенщик надсадно закашлял, привлекая к себе взоры всех остальных, и принялся тыкать узловатым крестьянским пальцем в стену, в потолок, на телефонную трубку: мол, ополумели? Везде «жучков» понатыкано, закрывайте-ка рты!

Модный фотограф, воспользовавшись моментом, ловко сложил из куса афиши журавлика и бросил его Соне на колени. Соня развернула обрывок. Аккуратным детским почерком, крупно: «София? Гавана? Пекин?»

Это он ее в ресторан приглашает. Надо же! Ему от силы тридцатник. На бальзаковских его потянуло! Мало ему юных субреток, гладкокожих, тонкокостных юных дур, иногда сразу по три гнездятся на заднем сиденье его иномарки, пригнанной из Федеративной, настоящей, не суррогатной, неметчины. Сидят смиренхонько, локоток к локотку, косятся друг на друга с затравленной, ревливой злобой, ждут, пока хозяин гарема отщелкает нашу народную-разнародную для журнала «Советская женщина».

Нет уж, милый. И Соня размашисто начертила на куске афиши рядом с «София? Гавана? Пекин?»: «Пхеньян».

Фотограф долго изучал афишный огрызок, потом спросил шумным шепотом (а эти трое орали, перебивая друг друга, похоже собирались брать райком штурмом, как рейхстаг):

— «Пхеньян»? Это где ж такой? Новый, что ли, открыли?

Соня молчала, посмеиваясь.

— А-а... — догадался фотограф. — Это форма отказа? Сонь, не ломайтесь! Пошли в вашу тезку, в «Софию». Махнем, а?

— Махнем, махнем, — кивнула Соня. — Обмоем мой день рождения. Мне сегодня пятьдесят шесть стукнуло. Вперед!

Фотограф на секунду замер, потом заржал, оценив Сонин юмор и Сонино бесстрашие.

— Так! — рывкнул главреж, перебив орущего поэта на полуслове и оборотив наконец воспаленный взор на фотографа. — В чем дело, Валера? Ты зачем сюда явился?

— Леня, ты же знаешь, я не силен в выработке тактики, — тут же нашелся фотограф, снимая с ладони огрызок афиши. — Но, Леня, я готов. Что от меня требуется? Отдам руку, ногу, всю кровь по капле. Ставь меня впереди колонны.

— Что ты язвишь? — укорил фотографа поэт, нервно сдирая со спинки стула пиджак. Батюшки-светы, он, оказывается, и пиджак с собой прихватил нестерпимо-желтый, цвета переваренного куриного желтка. К зеленым-то порткам — это ж надо постараться! — Что ты здесь, Валера, ваньку валяешь? Кому нужна твоя кровь, сифилитик?

Вопреки Сониным ожиданиям, фотограф не вцепился в тощую шею обидчика — отбредался вполне добродушно:

— Не знаю, как насчет сифилиса, а вот у твоего пиджака точно гепатит. Хронический.

— А вы что молчите? — Главреж развернулся к Соне. — Нам зарубили спектакль. Вам, по моему, совершенно на это плевать. Сидите тут нога на ногу... Флиртуете с этим... с этим...

Надо отсюда уходить. Полгода пытки. Соня в упор смотрела на главрежа. Что ты яришься? Что ты бесишься? Воистину если Господь хочет покарать мужика, он дает ему норы, несо-размерный дару.

Дар мелок, скуден, но амбиции велики — это Сонин муж, Сережа. Дар велик, а натура су-етна, мелочна, ничтожна — это Сонин глав-реж. Вот и везет он два пуда чистого золота на гнилой колымаге, да еще под гору. Сколько ему? Шестьдесят девять? Жизнь — под горку, скорей, скорей; близок край, дрожит колыма-га, трясется...

— А что вы хотите от меня услышать? — су-хо спросила Соня.

Ходоки-заступники притихли, наблюдая за хозяином театра и этой странной небольшо-словной бабой, холодноватой, закрытой, пол-года в лавке, а ничего про нее непонятно — ни разу не выпила с труппой, ни с кем романа не завела...

«Какой-то в ней скрытый вызов, тайная си-ла, это раздражает, конечно», — подумал поэт.

«И притягивает, — подумал фотограф. — «Пхеньян». А вроде был какой-то «Пхеньян», если по Профсоюзной... Нет, где-то на Варшав-ке... Сейчас нарою ей этот «Пхеньян», никуда не денется, поедет».

— Что я хочу от вас услышать? Объяс-няю. — Главреж повысил голос: — Мы здесь все сообща вырабатываем стратегию борьбы...

«Стратегия борьбы»! Райком с упоением борется с главрежем. Главреж с упоением бо-рется с райкомом. Война. «Войнушка». Как у Сережи.

Взрослые люди, старые лысые дядьки, чи-новные дамы-держиморды с накладными ха-

лами — и наш любимец муз со своими имени-  
тыми миньонами... Как дворовые пацанские  
стаи, стенка на стенку, до первой крови, до вто-  
рой крови, из рогатки, из-за угла, исподтишка...

И те и другие были Соне одинаково проти-  
вопоказаны.

— ...А вы самоустранились! — возмущался  
главреж. — А вы завлит! Не последний человек  
на театре! Я вас сюда не полотершей брал.  
Не нужники драить.

— Я завлит, но не замполит, — отчеканила  
Соня, едва сдерживаясь. — Моя компетенция —  
репертуар. Стратегия борьбы — это не по моей  
части.

— Вон из театра, — тихо и даже нежно мол-  
вил главреж, скрестив крохотные бабьи руч-  
ки на поджаром животе (йога, холодный душ,  
сорок ежедневных отжиманий, молодая жена,  
две любовницы — ничего не поделаешь, при-  
ходится соответствовать). — Вон. Вы уволены.

Соня поднялась со своего электрического  
стула. Странное дело — она почувствовала  
мгновенное облегчение. Свобода! Жалко, она  
не успела пробить эту польскую пьесу, замеча-  
тельную пьесу, она бы украсила...

— Вон, — повторил главреж, упиваясь зву-  
чением этого дивного брутального импера-  
тива.

— Я слышу, слышу, — кивнула Соня.

— Леони-ид, опомнись! — простонал по-  
эт, комкая в руках свой канареечный пиджак.

— Леня, коней на переправе не меняют. —  
Деревенщик отчаянно окал, пожалуй несколько  
нарочито. Родимую свою Вологодчину он  
покинул лет сто назад, уж мог бы растворить  
крутобоковое северное «о» в московском извеч-  
ном «а». Нет, деревенщик упрямо окал, это был

его патент, фирменный стиль: оканье, окладистая бороденка до кадыка, кисет с табачком, грубый ворот матросского тельника, верхняя пуговица рубашки всегда предусмотрительно расстегнута, и виден тельник. Бабы тают: мужик! Сермяга! От сохи, с речного Онежского причала! Это вам не столичные мальчишки, никакие, пастеризованное молоко, ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

— Вот конем меня еще никто не называл. Спасибо. — Соня улыбнулась деревенщику и открыла дверь, вырвав руку из влажной ладони фотографа, который попытался было остановить ее, удержать. — Конь — это точно подмечено. Обычно мы их на скаку останавливаем. Перед тем как..

— И извольте отработать положенный месяц! — визгливо крикнул главреж ей в спину.

— ...в горящую избу войти... Слушаюсь, Леонид Григорьевич.

Соня вышла из кабинета.

Уволена. И в ТЮЗ ее обратно не возьмут, нечего и мечтать. Прав, прав был многомудрый тюзовский главный, полгода назад бросивший Соне вслед с сердцем: «Обратно не возьму. Помни! Он тебя через полгода вышвырнет, обратно не стучись! Не открою».

Сумрачный длинный коридор. Двери гримеров. Душно... Как болит голова! Какой гнусный, нескладный, подлый день! Между прочим, день Сониного рождения.

— Ты чего такая бледная? Не выспалась?

Это Канцероген. Сейчас еще что-нибудь выдаст ободряющее, поднимающее тонус.

— Жутко выглядишь, — добавила Канцероген, с лихвой оправдывая Сонин прогноз. — Краше в гроб кладут. Белки глаз желтые. У те-

бя печень в порядке? Ты сходи проверься. Я диагностирую стопроцентно. По виду.

Канцероген, в просторечии Катя, актриса на роли «кушать подано», получила сие устрашающее прозвище абсолютно заслуженно. Катя была яд, отрава, опасно для жизни, не стой под стрелой, осторожно, злая собака, проверено — мины есть. Стихийное бедствие. Угроза для жизни. Канцероген.

Катя отличалась редкостным умением, безошибочно высмотрев здоровое, работающее как часы, жизнестойкое человеческое сообщество, проникнуть в него, изнутри подточить животворные клетки, запустить механизм разрушения. Глядишь — и дружба рассыпалась в прах. Катя сделала свое черное дело. Канцероген.

Парадокс состоял в том, что у Кати были свои неукоснительные принципы. Она всегда говорила только правду. Всем — «ты» (даже главрежу — терпел!), всегда — правду. Ее давно бы вышвырнули из театра, если бы не главреж. Тот, не любя Катю и побаиваясь, держал ее при себе, как царь-батюшка — шутиху-юродивую. Она состояла при нем полубезумной правдолюбкой, санитаром леса, боярыней Морозовой, наводящей ужас на закулисный народец, осеняющей его костлявыми перстами, сложенными в раскольничью щепоть.

— Катя, меня из театра выгнали. Только что, — призналась Соня. Зачем? А, гори огнем! Сказала и сказала.

— Правильно, — убежденно кивнула Канцероген. — Давно пора тебя гнать.

— За что? — изумилась Соня, скосив глаза на Катину юбку. На Кате была юбка-мечта, вся Москва за такими гонялась, самый писк ны-

нешнего лета. Индийская марлевка, длинная, до пят, тоненькая, невесомая, можно сжать в горсти. — Что я тут, полгода баклуши била, по-твоему?

— Нет, работать ты умеешь, — поразмыслив, согласилась Канцероген. — Но в театре тебе делать нечего.

— Почему? — растерянno спросила Соня. Как и все, не любя и побаиваясь Катю, Соня, как и все, с болезненным вниманием прислушивалась к Катиной отповеди, к Катиному приговору. Так хронический сердечник всматривается в скачущую линию своей последней кардиограммы — страшно, очень страшно, колени немеют от страха. Но лучше знать, чем не знать. — Почему мне здесь нечего делать?

— Ты индивидуалистка. А здесь коллектив, — отрубила Канцероген. — Ты никого не любишь.

Это Катя ей говорит! Катя Канцероген! О господи!

— Ты, Соня, всегда во внутренней оппозиции. По отношению ко всем. Что, разве не так?

Соня подавленно молчала. Какой жуткий день! Такого дня рождения у нее еще не было.

Соня никого не любит?

Никого?

Неправда.

— Катя, ты где эту юбку купила? — невозможно спросила Соня. Нет, Канцероген, не дожидаться тебе Сониного беспомощного: «Как? Почему? Не тебе меня судить! Сама-то ты кого любишь, санитар леса?»

— Юбку? В сортире между Горького и Столешниковым. Минут сорок назад, — брякнула Канцероген и тут же запоздало спохватилась: дура! Сама себя выдала. Теперь Соня пойдет ку-

пит такую же, натянет на свои узкие красивые бедра, и Канцероген окажется в проигрыше.

— Последнюю схватила? — спросила Соня. Канцероген молчала. Милльон терзаний. Нет, она всегда говорила только правду.

— Там еще были, — призналась честная Канцероген. — Иди бери, пока не расхватали.

Соня никого не любит. Индивидуалистка. Она во внутренней оппозиции.

Соня медленно шла по городу, плавающему от солнца. И люди навстречу ей шли так же медленно.словно в рапиде, словно во сне; сухой горячий воздух, трудно дышать, трудно идти, не хочется переставлять ноги, мысли путаются в голове, тупеем мы, что ли, от этой жары? Конечно же тупеем.

Соня подошла к троллейбусной остановке. Сережа ждет ее у Старицких в четыре. Вагон времени. Можно просто побродить по городу. Ей всегда это помогало. Бесцельное, праздное кружение по улочкам московского центра. Войти в переулок, свернуть в другой, объявиться в третьем... Идешь, идешь, сама с собой разговариваешь, бывает, что и вслух... А кто-то обгонит, оглянется, посмотрит с опаской, осуждающе: сумасшедшая, что ли?

— Девушка, мне к Курскому в эту сторону?

«Девушка». Просто он подошел к ней сзади — Соня тоненькая, подстрижена коротко, сложена на зависть. Вот сейчас она оглянется, скажет: «В эту, в эту», — то-то вытянется рожа у гостя столицы!

Какая там девушка... Сорок три. И Соня молча кивнула, не оглядываясь. Отошла от остановки. Никакого троллейбуса! Пешком. Она пешком дойдет до Столешникова, купит себе

эту юбку-марлевку: черт подери, у нее день рождения сегодня! Она сама себе что-нибудь подарит.

Сама. Одна.

Жена и мать, любимая жена, обожаемая мать, единственная дочь, и, слава богу, родители живы-здоровы... Почему она одна? Почему сегодня, тринадцатого августа восемьдесят третьего года, еще нестарая, еще красивая, еще живая, она бредет по городу, сквозь сонное знойное марево — и такая тоска на душе! Такая пустота внутри!

Разве оттого, что муж ее не поздравил?

Оттого ли, что выставил ее за порог главреж-истерик?

Нет, не поэтому. Нет.

Узкий перпендикуляр между улицей Горького и Столешниковым.

Справа Юрий Долгорукий. Слева женский туалет. Там у стен, выложенных мутноватой, растрескавшейся кафельной плиткой, у низкого грязноватого оконца, стоят бабы-фарцовщицы, караулят свои пакеты и сумки, и все-то в этих сумках сыщешь, все что ни пожелаешь. Только плати.

Хорошая косметика, гэдээровские бюстгальтеры на косточках, упаковки фирменных сигарет, хочешь — дамские, легкие, в дивной красоты бело-золотых пачках, хочешь — заветный «Кэмел» в нежно-лимонных коробочках с верблюдом. Господи, и верблюды-то у них особенные, надменные, гордые, величественно вздымающие вверх породистые морды.

А у нас верблюды — советские, жалкие (вон в зоопарке, сколько раз Соня была там с сы-

ном, до сих пор он там ошивается, здоровый лоб), у нас верблюды помятые какие-то, суетливо топчутся в своих загонах, умнут все, что им ни кинь, и глаза у них страдальческие, мутные.

Это потому, что они в неволе.

— А где тут юбки продают индийские? — войдя в сортир-самобранку, спросила Соня у первой попавшейся бабы.

Баба торговала итальянской помадой. В нагрудном кармане у нее торчало штук пятнадцать разноцветных патрончиков, отчего кофта ее напоминала одеяние лихого джигита.

— Вот брюнетка стоит у окна, — охотно пояснила баба. — Ты с ней поторгуйся. Она в коммерции ни бум-бум. Ей продать побыстрее надо.

— Чего ж она тут делает, если она ни бум-бум? — удивилась Соня.

— Подружку подменяет. — И словоохотливая продавщица помады презрительно добавила: — Она не фарцовщица. Она шлюшка валютная.

Соня медленно перевела взгляд на девушку, стоявшую у окна.

Первый раз в жизни Соня видела вот это... вот эту — воочию. То есть наверняка они, вот эти, попадались Соне на глаза и раньше. Наверняка, хотя их как бы не существовало во все, здесь, на просторах нашей добродетельной, вегетарианской отчизны, заботливо патронируемой Минздравом, ОВИРом и санэпиднадзором. Нет, эти женщины бывали только в кино, в иностранном кино, а если в нашем — то про западную жизнь, и это всегда была жуткая пожилая гротесковая фурия на толстых кривоватых ногах, в рыжем пари-

ке и дырявых чулках в черную сеточку... Смешно. Понарошку.

Соня направлялась к брюнетке, преодолевая оторопь, брезгливость, смятение. Валютная проститутка скучала возле окна, прислонившись спиной к высокому подоконнику и облокотясь о пакет, из которого торчали эти самые юбки — тончайшая, мятая, в неровную пloidчатую складочку марлевка, прошитая золотой нитью, узорчатая, нежных, свежих, прохладных, утренних оттенков... Мечта!

Но Соня забыла о марлевке. Соня рассматривала эту девочку возле окна. Нет, не старая фурия — юное, светящейся белизны личико, бледненькое, совсем не тронутое косметикой. Вот только губы — чуть-чуть, карандашом по контуру. Детский рот, большой, бесформенный, как у лягушонка, она его обвела темно-вишневым карандашом, еще больше увеличив, выделив на узком, прозрачно-бледном лице.

— Вы юбку хотите? — Низкий, взрослый, уверенный голос. Насмешливый, хрипловатый. — Вам какой размер?

— Сорок второй, — пробормотала Соня.

Валютное уличное дитя не глядя, небрежно перерыло-перебрало пестрый марлевый ворох. Быстро-быстро, тонкой белой рукой (и загар ее не берет!), голой до плеча. На внутренней стороне руки, на сгибе, у локтя, мелькнули лиловые синячки.

Соня смотрела на эту руку как завороченная. Так же небрежно, будто нехотя, наобум, и взглядом по ним не скользнув, проститутка вытащила из пакета и разбросала по подоконнику штук шесть юбок. На, мол, выбирай. Наверное, она и себя продает так же, как эти юбки, — на вот тебе, покупай, получай, плати, убирайся.

Соня смотрела, смотрела, смотрела... Забыв о приличиях (какие тут приличия, в этом уличном сортире, среди фарцы), забыв о том, зачем сюда пришла, об этих мятых пестрых марлевых комьях.

И проститутка смотрела на Соню, насмешливо, с ленцой — в ней не было злости, взнервленного надрыва, она не была жалкой, она, продажная женщина! Она скорее на Соню смотрела с жалостью. Снисходительно, свысока, с высоты, а не со дна своих постыдных, презренных познаний, своего жуткого, запретного опыта.

Что она знала такого, чего не знала Соня, прожившая вдвое больше?

Это-то? Это? Господи! Да боже сохрани... Изнанка жизни, мутное, вязкое, илистое, ледяное дно. Чем ты кичишься, девочка? Ты что, думаешь, ты знаешь, что такое страсть, мгновения подлинной, бездонной свободы и силы? А я не знаю?

Да, я не знаю.

Тебе Соню жалко. Соня (ты ее презираешь) — порядочная. Соня (тебе ее жаль) доживает свой бабий век безвкусно, уныло, безрадостно — оскомина, скулы сводит... Соня — сорок второй размер, сорок три года. Соня — полный финиш, аут, выдох. Зачем ей юбка индийская? Ей носки пора вязать. Внукам.

— Тридцать рублей. — Проститутка зевнула и отвернулась к окну. — Мерить будете?

Соня не сразу ее и услышала. Не сразу поняла, о чем это она. И молча отрицательно покачала головой.

— Дешевле не бывает. — Проститутка снова смотрела на Соню, глаза у нее были странные, кошачьи — прозрачные, чуть рас-

косые, крыжовенно-зеленые, в рыжую крапинку.

— Я не буду покупать, — сказала Соня. — Я передумала.

— На, держи. — И проститутка, поддавшись какому-то мгновенному безотчетному импульсу, стихийному, вне логики, над логикой, женскому решению, в котором, однако ж, был вызов, констатация ее безоговорочной победы над Соней, схватила с подоконника и сунула Соне в руки невесомый марлевый бирюзово-карминный комок. — На, дарю! Бери, бери. Носи!

Соня попыталась вернуть ей подарок — куда там! Юная шлюшка, бесцеремонно щелкнув замком Сониной сумочки, затолкала туда юбку.

Соня отпрянула в сторону, шарахнулась к двери — только бы не задеть ее обнаженную до плеча руку, тонкую, совсем не тронутую загаром руку этой девочки, прозрачно-белую, какой-то нездоровой белизны, подвальной, бессолнечной, цвета картофельного ростка, с этими синюшными пятнами от уколов.

— Что, брезгуешь? — спросила продавщица марли и рассмеялась, глядя на Соню.

Зеленые глаза ее весело блестели. Она ничего не боялась, никого не стыдилась. Жила так, как хотела. Хочу — продам, хочу — подаю. Себя или юбку — все едино.

Соня пулей вылетела из подвала.

Солнце. Стало еще жарче. На могучем плече Юрия Долгорукого сидят голуби, жирные, наглые московские голуби, сидят и вяло машут крыльями. Какой-никакой, а кондишн. Голубям тоже жарко. И Юрию жарко.

В Кремле теперь тоже Юрий. Тезка. Юрий Владимирович. И руки у него до-олгие-долгие. До кого хочешь дотянутся, из-под земли достанут. В Кремле теперь Юрий Владимирович Долгорукий-Андропов.

А Соне к Старицким пора.

Старицкие жили не где-нибудь — в знаменитой высотке на Котельнической. Окна на набережную, восемнадцатый этаж.

Соня нырнула под своды высокой арки. Вот здесь прохладно. Здесь бы весь день простоять! Нет, снова под солнце, во двор, мимо всех этих гаражей, теннисных площадок, детских загончиков. Это не двор — это мир, отдельная страна. Как у рыбы-кита из ершовской сказки на гигантской антрацитово-черной спине помещается целый город, избы да огороды, так и тут, на пологих зеленых холмах бескрайнего Котельнического двора — свое удельное княжество: пристройки, постройки, сады-газоны, и кого тут только не встретишь! Здесь живет элита, все больше из бывших, старички да старушки, московские олимпийцы на закате жизни.

Словно в подтверждение этому, Соня едва не налетела впопыхах на знаменитого в прошлом московского актера, красавца, вальяжного барина. Актер выгуливал древнего, подслеповатого пекинеса.

— Здравсте! — растерявшись, автоматически (они не были знакомы) поздоровалась Соня.

— Здравствуй, детка, — благосклонно молвил актер, окинув Соню с ног до головы зорким, абсолютно мужским взглядом. Вот разве умеют так посмотреть, так увидеть женщину нынешние мужики? Нет, не умеют. У нынеш-

них взгляд смазан сапожным салом, он суетливо-липкий, беззастенчивый. Он оценочный. Что-то у них там щелкает, как в арифмометре, и женщине тотчас выставляют отметку по пятибалльной шкале.

Старый актер Соне отметок не ставил. Он ее своим взглядом поощрял и напутствовал, он был щедр на бескорыстную немую хвалу, он был великодушен, он сказал ей глазами, улыбкой, легким кивком: «Хороша! Ты еще хороша, умница, вот так и иди, так и живи, и все еще будет. Будет».

Соня помчалась дальше, оглянувшись на бегу. Спасибо за «детку», Павел... Павел... Как же его? Он же мхатовский... Павел... Он ведь в «Карениной» еще, мама рассказывала, мама «Анну» смотрела бессчетно, а Соня не успела, хотя могла бы...

Спасибо за «детку», хоть и дурацкий сегодня день, но есть в нем свои немудреные радости. Сначала «девушкой» окликнули в спину. Теперь вот «детка», притом что все Сонины сорок три рассмотрел, но улыбнулся и глазами, уверенно, твердо: «Все еще будет!» Соня подошла к подъезду Старицких.

— Стоять! — рявкнул кто-то у нее за спиной.

Резкий, властный, с истерическими, звенящими нотками, незнакомый мужской голос. Сердце ухнуло в пятки. Замерев, Соня собралась оглянуться.

— Не оглядываться!

Сонина ладонь, все еще сжимающая теплый металл дверной ручки, мгновенно повлажнела. Кто? За что? Что она такого крамольного содеяла? Юбку купила с рук, на толкучке-толчке?

Да чушь, идиотство!

— Вы гражданка Аниканова?... Не оглядываться!

Соня кивнула, мертвея от страха. Уже виделся ей холодный подвал, шакаля ухмылка следователя, допросы долгими лубянскими ночами... Чушь, все всё покупают с рук, у перекупщиков, у фарцы, гнездящейся в расщелинах ГУМа.

— Следствием установлено, — продолжал между тем незнакомец-невидимка, — что сегодня, тринадцатого августа...

Соня прижала к груди сумочку с проклятой марлевкой, с вещдоком. Не может этого быть! Да, но ведь все давно говорят, все судачат! Пришел Андропов, сильная рука, гэбэшная выучка. Теперь прижмет-придавит, теперь всех к ногтю. Это вам не Ленька — старый обалдуй, дряхлый, выживший из ума, нестрашное пугало, соломенный Страшила. Пришел Железный Дровосек.

— ...во время утреннего телефонного разговора с гражданином Старицким, — долдонил между тем невидимка, — ваш муж дал свое согласие на совместный просмотр видеокопии...

Во-он оно что! Юбка тут ни при чем. Значит, Сониного мужа Сережу уже загребли за просмотр «Последнего танго в Париже». И Игоря Старицкого — за показ. А Соню берут за попытку присоединиться к честной компании, нарушающей УК РСФСР. Замечательный у Сони нынче день рождения! На зависть! Муж не поздравил, с работы поперли, теперь вот бросят в хладный каземат...

Но думала Соня при этом только об одном, только одно ее точило: что сегодня будет есть сын Сашка, когда вернется с дачи? Холодиль-

ник пуст, а Сашка себе даже яйца для яичницы не сумеет разбить, бедный...

— ...запрещенного к показу в СССР зарубежного порнографического фильма режиссера Бэ Бертолучше, — вещал незнакомец.

— Бертолуччи, — автоматически поправила его Соня.

— Вот и я говорю: Бертолучше. — Металла в голосе незнакомца заметно поубавилось. — Бертолучше меньше, да лучше. Лучше поздно, чем никогда. Что ж вы, Софья Владимировна, на десять минут опаздываете?

С облегчением охнув, Соня наконец оглянулась. Разыграли, мерзавцы! Сволочи! А она купилась. Она всегда на все покупается, святая простота, на любой прикол, на любую незамысловатую хохму, они это знают, они этим, негодяи, пользуются.

Сонин муж Сережа и хозяин котельнических хором, владелец кассеты с «Последним танго», Сережин корешман Игорь Старицкий стояли в шаге от Сони, покатываясь от хохота. Дети! Старые дети! У Игоря под мышкой — бутылка коньяка, у Сережи — два воздушных французских батона, московское новшество, всегда за ними давка...

— Сволочи! — Соня принялась молотить их сумочкой по потным загривкам. — Игорь, мерзавец! Еще и голос изменил, садист!

— А мы выползли коньячку прикупить, — увертываясь от ударов, смеялся Игорь. — Глядим — ты бежишь. Ну и...

— Мерзавцы. — Соня отдышалась, поправила волосы и перевела взгляд на мужа: — Здравствуй, дорогой.

Он кивнул, посмеиваясь.

— Сережа, а какой сегодня день? — вкрадчиво спросила Соня, не удержавшись. А как тут удержаться? — Какое сегодня число?

— Число? — Сережа недоуменно пожал плечами. — Не помню. Зачем тебе? Понедельник вроде. Понедельник — и ладно.

...Через четверть часа они уже рассаживались, устраивались поудобнее. Соня рассматривала незнакомую штукловину. Видеомагнитофон.

Ничего особенного, ящик и ящик. Вопрос в начинке. Вопрос в том, что внутри.

Если включить наш совковый «Рубин», да и не наш какой-нибудь «Филипс», то кого там увидишь? Что услышишь? Бодрый свиродовский маршик, позывные программы «Время», надои-урожаи, «весна пришла на поля Кубани», «бастуют докеры США», Карпов — Корчной, знаменитое задушевно-дебильно-меланхолическое «...и о пого-о-оде...».

Ну что еще? «Звонкие голоса детей» — две дюжины перепуганных пионеров, верхний ряд вот-вот рухнет на нижний, «Орлята, орлята, взлетим выше солнца»...

Что еще? Многомудрый Капица квакает про лох-несского монстра... Старое доброе кино про физиков-лириков, Лаврова с мальчишеской стрижкой не знает, как варить гречневую кашу, а Баталов смертельно болен, так жалко его, красавца, такой у него несоветский, породистый профиль с этим крупным, чуть смазанным носом, с этими резкими, странной лепки губами...

Что еще? Добрый дедушка-натуралист, жирафы-крокодилы, душка Эльдар со своей киношкой, целлулоидная райская жизнь... Многозначительный, суровый хохол Фесуненко из

«Международной панорамы»: гибнет-гибнет, загнивает-тлеет мировой империализм, недалек час, близка победа...

Что еще? Да ничего больше. Вот содержимое нашего всесоюзного коммунального ящика. Скука смертельная.

А теперь включи эту штуковину, видео, вот сейчас Игорь включит... Таких штук двадцать на всю Москву, утверждает он. «Да ладно тебе! — Это Сережа, уязвленно; у Сережи видео нет и не предвидится. — Ладно тебе! Под сотню!»

Игорю хорошо. У Игоря папа — дипломат, старый зубр, хитрец, ловчила, умница. Начиная при наркоме Литвинове, нарком рухнул — Игорев папаша удержался. И Иосиф его пощадил, и Никита не тронул, и при Лёне папаша знай «спикал» себе в закордонье, умело обходил все подводные рифы и сына-бестолочь приткнул в МГИМО, потом пристроил собкором не куда-нибудь, не в Уганду, не в пропахший бараньим жиром, затрепанный Улан-Удэ — в Туманный Альбион. Знай наших!

— Вот она, зараза. — Не скрывая торжества, Игорь продемонстрировал Соне и Сергею кассету с «Последним танго». — Если б ты знал, как я ее вез! Как Ильич «Искру». Обшмонали бы, нашли — конец карьере.

— За нее же сажают!

Это Наташа, Игорева жена, подсушенная блондинка, изменял ей Игорь по-черному, и все об этом знали, и Наташа знала. Молчала, терпела, говорят, вены резала, говорят, уходила — вернулась. А куда денешься? Она и Соне как-то сказала, в минуту хмельной откровенности: «А куда денешься? После Котельников к матери в Кузьминки? Не хочу!»

— За нее сажают, правда! — повторила Наташа, внося в комнату подносик, уставленный несоветской закусью, Игоревыми трофеями. Всего по чуть-чуть, по капельке, на язык положить. Зато долго будет помнить чета Аникановых про сыр «Пармезан», про яичный ликер — густое сладкое волшебное пойло, про соленые орешки в хрупкой скорлупе...

— Это фисташки, да? — спросил Сережа со знанием дела, он сам теперь причастился, он тоже там побывал. Две недели в Париже, прошлой осенью, когда книжку писал про «Нормандию — Неман», ездил к французскому летчику-ветерану, собирал материал.

— Фисташки, фисташки. — Игорь включил видео, ловко куда-то приладил кассету. — Все, ребята, смотрим. В полседьмого Голиковы придут. На вечерний, так сказать, сеанс.

— Мог бы деньги брать за показ, — язвительно заметил Сережа. — Кое-кто берет. Я знаю.

— Господи, Сережа, когда мы такой купим? — Соня повернулась к мужу.

— Подожди, — вздохнул Сережа, глядя на экран с тщательно скрываемой, оттого более очевидной завистью. — Подожди, вот гонорар получу за свою «Нормандию»... У меня, Игорек, между прочим, книжонку во Франции издают. Про «Нормандию — Неман».

— Поздравляю, — хмыкнул Игорь, разливая коньяк по рюмкам. Соне он аккуратно отмерил ровно на три глотка яичного сладкого блаженства. — Франков сорок ты, может быть, и получишь. Остальное родная держава прикарманит, как водится.

На экране уже шли титры. Волшебный ящик преобразил нашу совковую начинку, эту

серую, свалывшуюся, клокастую вату советской унылой жизни... Теперь там была другая жизнь, неведомая, запретная. Другое кино — не то разрешенное, легальное, капиталистическое с нашенским штемпелем: «Так и быть. Шут с вами. Смотрите». Не гэдээровское подростково-индейское с Гойко Митичем, не французские комедии для кретинов... Нет!

«Последнее танго в Париже». Настоящее. Весь мир смотрит, обмирая.

И Соня сейчас будет смотреть. Забудет на время про все свои горести. Перестанут на полтора часа мучить ее обычные страхи совслужащего, лишившегося места, все эти горестные думы про непрерывный стаж, трудовую книжку, «уволена по статье»...

— А почему он так гнусавит? — удивленно спросила Соня, вслушиваясь в голос переводчика.

Переводчик и правда завывал, произнося текст омерзительным фальцетом, гайморитным, словно обе пазухи заложены.

— А это они, говорят, нарочно прищепками нос зажимают, — со знанием дела пояснила Наташа. — Чтобы их в КГБ по голосу не вычислили. Валентин! — крикнула она, оглянувшись на дверь в соседнюю комнату. — Ты что, спишь там? Врубай глушилку!

Валентин, унылый юнец лет двенадцати, копия Игоря, заглянул в комнату, сжимая в ладони покорную гусиную шею пылесоса.

Тут уж никто не задавал лишних вопросов. Все и так знали: пылесос — это остроумное изобретение Старицких, защита от чуткого уха соседки, одинокой пожилой стервы, вдовы оперного баса из Большого. Бас помер лет двадцать назад, а вдова зажила на этом све-

те, скучала и от скуки стучала на соседей: верхние пьют как сапожники, швыряют об пол китайские вазы, наследство дедушки — замминистра топлива. Те, что справа — даром что научные сотрудники, — ругаются площадно и так орут, что слышно сквозь котельнические стены. Те, что слева, Старицкие, ловят вражьи голоса, она знает, она с балкона слышала; а еще по видео смотрят порнографический фильм, запрещенный к показу в Советском Союзе, — она читала про этот фильм в газете, там всякая гадость, пороки, за него пять лет дают.

С подлой вдовой всяк оклеветанный сосед боролся по-своему. Китайские сапожники, внуки топливного начальника, стучали ей в дверь, шарахали дюжими кулаками по дермати́ну: «Морду набьем, старая курва!» Научные сотрудники так и так развелись, там теперь не до оперной вдовы, там второй год разменивались, там шла неистовая борьба за квадратные метры...

Старицкие же просто врубали пылесос, как только дело доходило до «Танго». Вдова бесилась, подслушивала у входной двери, свешивалась с балкона, рискуя ухнуть вниз с поднебесной высоты. Все тщетно: только громогласный победный рык пылесоса доносился до ее отнюдь не старческого уха.

Вот и теперь пылесос урчал, а Валентин, негодяй, то и дело заглядывал в комнату.

— Уйди! — кричала Наташа. — Бессовестный! Тебе рано!

Ему рано, а этим — в самый раз. Соне давно уже хотелось выйти, спрятаться на кухне, Соня терпела из последних сил, и неизвестно, что ее раздражало больше: то, что происходило на

экране, или то, как реагировали на это сидящие в комнате.

Мужики взмокли. Сережа, будто оправдываясь, пару раз заметил: «Жара! Таю!» Рожи у обоих были багровые, тупые, одеревеневшие от неловкости. Мужики сопели, сбиваясь на дурацкий нервный хохоток, курили больше обычного. В прокаленной солнцем дотла комнате-жаровне повисло пыльное, сизое облако дыма. Соня задыхалась.

Она задыхалась, ей хотелось выйти, отвести глаза от этого хваленного «Танго», еще и копия хуже не бывает: размытое, мутное, сливово-бурое изображение. Уйти. Не видеть, не слышать этот гнусавый прищепочный голос...

Не смотреть на то, как люди мучают друг друга.

Топчут, терзают, истязают друг друга.

А режиссер этим упивается. А эти три дурака, Сережа с Игорем и терпеливая мученица Наташа, не желающая ехать в Кузьминки, желающая есть сыр «Пармезан», давиться яичным ликером в обмен на унижение, на ночные слезы, на бессильную ревность, — эти трое плятятся на экран и возбужденно обсуждают происходящее.

Они сидят в котельническом королевстве, смотрят по видео Бертолуччи, они — все трое — вписаны в мировой общекультурный контекст. И ощущают себя почти европейцами, белыми людьми.

Да пропадите вы пропадом! И Соня, поднявшись с кресла, твердо сказала:

— Ребята, это мерзость, по-моему. Вы меня извините. Сережа, у меня еще тысяча дел. Ты как хочешь, а я ухожу.

Уже наступил вечер, но и вечером никакой пощады от этой жары. Душно, безветренно,

а если и налетит ветерок, сухой, горячий, то и он приносит с собой запах гари, паленой древесной коры. Где-то горят леса, рядом, за кольцевой автодорогой...

— Стой! — крикнул Сергей, выскочив из парадного следом за Соней. — Соня, подожди!

Соня, не оглядываясь, шла к арке мимо этого бескрайнего двора, выгнутого горбом. По холмам слонялись именитые жильцы, выгуливали своих собак, какой-то старец шлепался по двору в реликтовой полосатой пижаме, в шлепанцах на босу ногу. Жарко ему, родимому. Выполз неглиже. Они тут запросто, по-свойски. Это их мир, их владения, они тут хоть на головах ходить могут, имеют право.

— Соня, стой! — Сергей наконец догнал ее, схватил за руку. — Ты куда? Что это за демонстрация?

— Пусти. — Соня вырвала руку. — Я сказала, я не буду это смотреть!

— Дура! Это великое кино! — выкрикнул муж. Он был зол. Пьян и зол. Как ни странно, Соня его таким любила. Не во хмелю — во гнев. Когда он бывал зол по-настоящему, в нем просыпался мужик. Темная, взрывная сила закипала в нем, вот-вот выплеснется, ошпарит...

Таким он ей нравился. Он был похож в эти минуты на прежнего Сережу, на молодого, веселого, вечно голодного, влюбленного в нее по уши, с отчаянным мальчишеским упорством добивающегося ее благосклонности, легко впадающего в ярость, скорого на руку, мгновенно остывающего, вспыльчивого, сумасшедшего, того, давнего Сережу...

Но таким он бывал теперь редко. Очень редко.

— Это великое кино, — повторил он, отдышавшись.

— Великое?! — возмутилась Соня. — Это гнусность, Сережа! Это издевательство! Над... над... над человеческой природой!

— Это ты над собой издеваешься! — заорал Сергей в хмельном безудержном раже. — Над своей природой! Ханжа! Всю жизнь на самозапретах! Всю жизнь постишься! Всю жизнь у тебя рыбный день!

У Сони сжалось сердце, сжалось и заныло. Она хотела возразить, опротестовать мужний приговор — где там! Губы дрожали, такая обида билась у горла: господи, за что? Что ж это за день такой, день рождения, тринадцатое августа, с утра раннего Соня глотает горечь, голимую горечь? За что?!

Она никого не любит, она индивидуалистка, она ханжа, всю жизнь у нее рыбный день.

— Ну? — хмуро спросил Сергей. — Идем обратно?

Соня молча покачала головой. Сережа развернулся и зашагал назад, к подъезду, в котором жил Игорь. Соня смотрела ему вслед. Вот сейчас крикнуть бы ему в спину: Сережа, сегодня тринадцатое! Мой день! Опомнись, вспомни!

Сережа замедлил шаги. Вспомнил? Почувствовал? Раньше ведь такое случалось, раньше, в другой жизни, в молодости, в первые годы их супружества. Соня задает молчаливый вопрос, а Сережа ей вслух отвечает. Телепатическая связь. Бывало...

Он вернулся. Вплотную подошел к Соне. Ну? Вспомнил? Кайся, винись, поздравляя.

— Слушай, как я мог забыть, — сконфуженно пробормотал Сережа. — О самом главном забыл. Кретин!

— Ничего, я тебя прощаю. — Соня освобожденно вздохнула: вспомнил-таки.

— Что ты мне прощаешь? — удивился Сережа. — Ты дослушай. Послезавтра мой старик приезжает. Ну о котором я книжку написал. Ветеран из «Нормандии — Неман». С ним целая свора будет. Кто-то там из «Юманите» и наши шустрилы... Мне сегодня в секретариате сказали. Старики жаждают нанести мне визит. Ты поняла меня? Готовься.

*14 августа 1983 года*

Десять часов утра, а солнце палит еще пуще вчерашнего.

Как же нехстати эти французы! Какие сейчас французы? Ее с работы погнали, мысли только этим и заняты: куда теперь, к кому? В квартире разгром, вялотекущий ремонт-долгострой... Какие французы?!

Денег ни гроша, придется снова занимать у Старицких, надо же их кормить-поить, эту «Нормандию — Неман», эту «Юманите». Делать стол, в грязь лицом не ударить, русское гостеприимство, хлеб-соль, миру — мир...

Чем их кормить? Они ведь там, в Парижах-Марселях своих, к трюфелям приучены, консоме, паштетам гусиным, лососине на вертеле... А в наших продмагах, мсье-мадам, шаром покати. Только спинка минтая. Сплошная спинка. Насквозь замороженные, унылые пегие плети, навечно примерзшие друг к дружке, трудно поверить, что когда-то эта обледенелая шершавая серая глыба была живой рыбешкой...

Черт бы побрал этих французов!

И Соня ожесточенно дернула на себя дверь углового арбатского гастронома. Здесь, в ле-

вом тупичке, в особом отделе, раз в неделю писательским женам, чадам, а то и самим инженерам человеческих душ, коли соблаговолят самолично пожаловать, выдавали доппаек, продовольственный заказ.

Раз в неделю государство прикармливало своих Короленок-Станюковичей, выдавало им, нерадивым, по печатному прянику в виде большого бумажного пакета. Короленки обычно тотчас принимались потрошить пакет, нетерпеливо выгребая оттуда неизменную баночку красной икры (140 г, Дальрыба), полкило безымянного сыра, полпалки сырокопченой колбасы, коробочку сливочной помадки. Это на сладкое. Чтобы у Короленок мозги работали как часы. Слопают помадку — и за «Войну и мир».

Соня подошла к заветному прилавку. Здесь ее должны были ждать, она звонила утром, униженно частая: «Тамар Семеновна, а нельзя нам в этот раз заказ получить пораньше? У нас нештатная ситуация, синим пламенем горим, к Сереже французы приезжают!»

— Приходите, — разрешила Тамара, царица Тамара, хочу — казню, хочу — помилую, хозяйка жизни. У нее в нагрудном кармане белоснежного, до стальной крепости накрахмаленного халатика ключи от продуктового рая, от гастрономического Эдема. И все советские писатели, совесть нации, «не могу молчать» — у Тамары в розовой, пухлой, сладко пахнущей лавандовым мылом горсти.

У прилавка Соню ждала Тамарина шавка, продавщица Зинок.

— Здравствуй, Зиночка. — Соня быстро обшарила взглядом прилавки: где бумажный пакет с икрой и помадкой?

— Пошлите со мной! — Зинок поманила ее за собой, впуская удивленную Соню в святая святых, за прилавок, открывая дверь в подсобку.

Соня послушно направилась следом. Надо же! Тамара снизошла до аудиенции. Что бы это могло означать?

Тамара ждала ее в своей светелке, уютной, чистенькой, в красном углу — портрет Ю. В. Андропова в дорогой рамке с золотой прожилкой. Портрет царица повесила над столом тотчас, как только начались елисейские чистки, как только вороватого директора главного магазина подвели под лубянский монастырь... Надо полагать, в конце всякого трудового дня Тамара хлопалась на колени перед бестрепетным ликом Ю Ве, осеняла себя троекратным крестным знамением, билась крепким лбом о половицы, заклиная генсека: «Попадай!»

— Жарко, — молвила Тамара в ответ на Сонино взволнованное приветствие. — Семь потов сошло. Че эт? Книжка?

И она брезгливо, двумя пальцами взяла из Сониных рук Сережину ахинею про минское подполье, сто восемьдесят страниц в обложке цвета солдатской кирзы с неизменным уркаганом — голова обвязана, кровь на рукаве.

— Это вам от мужа, — пролепетала Соня, ненавидя себя за интонации просительницы, за пришибленный взгляд. — Это его книга. Последняя. Там автограф.

— Это че? Про партизан? — Тамара небрежно бросила книжку на стол. — Я про партизан не читаю. Я сама тут как партизан, нам ОБХСС знаете какие засады устраивает? Разве угадаешь, на какой mine подорвешься? Ничего, Тома всегда выйдет из окружения.

Соня вымученно улыбнулась. Надо это перетерпеть.

— Так че у тебя? Французы? — Тамара сняла телефонную трубку, вставила крепкий перламутровый ноготь в отверстие диска.

— Французы. Как снег на голову. Синим пламенем горим, — кивнула Соня.

— Так снег или пламя? — хохотнула царица Тамара, энергично накручивая диск. — Они уж разок спалили Москву-то, французы! В восемьсот двенадцатом! Было дело?

— Было, — подобострастно подтвердила Соня.

— Все, хватит спичками играть. Больше мы им не позволим. Валентина! — крикнула Тамара в трубку. — Салями есть у нас? Салями надо? — спросила она у Сони.

Салями! И Соня поспешно закивала, лихорадочно прикидывая, сколько может стоять это сокровище, эта пища богов.

— Балычку тащи! — кричала Тамара в трубку. — Балычка возьмете? — спрашивала она у Сони, прикрывая трубку ладонью. — Чаю надо? Индийского, со слоном.

— А можно? — дурея от восторга, шептала Соня, привыкшая распечатывать стандартные пачки без названия, под номером двадцать один, и выгребать потом из груды бурой трухи, пахнущей не чайным листом, а картоном и пылью, узкие острые опилки. Голова шла кругом: еще бы, перед Соней с тяжким скрежетом приоткрылись врата Эдема.

— А кофе надо?

— И кофе... Нет, мне денег не хватит.

— В зернах? Растворимый?

— И тот, и другой, и третий, — в каком-то почти хмельном чаду кивала Соня, лихора-

дочно пересчитывая в кошельке десятирублевки.

— Какой третий-то, вы че? — захохотала царица, швыряя трубку на рычаг.

Все закрутилось винтом, какие-то люди входили и выходили из Тамариной светелки, что-то приносили, ловко, не проронив ни звука, выгружали из коробок и пакетов овальные, ласково поблескивающие банки с импортной консервированной ветчиной, красно-канаречно-изумрудные ротфронтские коробки со снегирем — заспиртованную вишню в шоколаде... А это индийский кофе в золотисто-коричневых широких банках... Это финский сыр «Виола» с соломенной дурой-блондинкой, щекастой, курносой...

— Денег не хватит, — бормотала Соня. О эта сладкая пытка! Взять — отказаться — уступить — взять! — У меня денег не хватит...

— А я в долг, — посмеивалась царица Тамара, зорко следя за тем, как все эти россыпи, золотые, шоколадно-копчено-коньячные, исчезали под слоями плотной оберточной бумаги. Молчаливые люди заворачивали банки и коробки в восемь слоев, туго-натуго. — Я в долг. Потом отдадите, берите!

Все плыло у Сони перед глазами. Нельзя так пытаться советского человека! После спинки минтая эдакое-то роскошество. Какая изощренная пытка. Все равно что ты ползешь по пустыне, погибая от жары и жажды, облизывая потрескавшиеся губы, а тут тебе разом вливают в глотку литр холодной воды. Можно и захлебнуться.

— Спасибо, — почти прохрипела Соня, глядя на два гигантских, до краев набитых жратвой пакета, стоявших перед ней на столе.

Безмолвные люди исчезли, прикрыв за собой дверь светелки.

— Я ваша должница. — Соня попыталась поднять оба пакета. Ох, как же она их поволочет-то? Ничего, дотащит. — Должница вечная.

Тамара улыбнулась ей царственно, лукаво поджав узкие губы. Соня выжидательно смотрела на хозяйку продуктового рая. Понятно же — Соню неспроста облагодетельствовали. Что-то ей нужно, этой лисице. Что? Дочку пристроить в ГИТИС? Контрамарку на первые осенние премьеры? И Соня выбила из себя, выдавила через силу это неизбежное:

— Как мне вас отблагодарить?

— Да ну вас! — отмахнулась Тамара.

И Соня поняла. Соня ее уже отблагодарила. Тамара насладились сполна. Зачем Тамаре контрамарки? Зачем ей фальшивые актерские страсти? Вот он, подлинный театр, «Человеческая комедия», Тамара здесь и режиссер, и зритель. Приходит затравленный проситель, только что в миллионный раз отобедавший спинкой минтая. А Тамара ему балык, икру, «Виолу». Хошь? Хошь? Хошь?! А это? Это? Это?..

И проситель сходит с ума.

Какое-никакое, а развлечение в Тамарин рабочий полдень.

— Спасибо, Тамара. — Соня подняла-таки свои пакеты. — Что бы мы без вас делали! Без королевы дефицита...

— Ой, да разве ж это дефицит? — Вот теперь Тамара была настоящей. Сползли царицына спесь и довольство с Тамариного нестарого еще, бестолково, не в меру нарумяненного лица. — Это все достать можно. При желании. Дефицит у нас с вами один.

— Это какой же? — без особого интереса спросила Соня.

— Мужик, — убежденно ответила Хозяйка Продуктовой Горы. — Настоящий. Мужик нынче пошел... — И она вздохнула, придвигая к себе Сережину книжку с партизаном-уркаганом в кровавых бинтах. — Пересортица. Брак. Все с просроченным сроком годности. Что, не так? Не права?..

...Минут через сорок Соня уже ковыляла через пустое театральное фойе, из последних сил волоча неподъемные пакеты.

— Софья, зайди ко мне.

Фридрих Герцевич Изаргашев был единственным, кому разрешалось называть ее полным именем. Вот это самое «Софья» Соня терпеть не могла. «Соня» — еще куда ни шло, но «Софья»! Веяло от этой «Софьи» чем-то старомодно-тяжеловесным, громоздким, атавистическим. Тотчас вспоминалась грибоедовская пьеса, Малый театр, пожилая молодящаяся премьерша, туго-натуго затянутая в тесный корсет... Или утрюмая Петрова сестрица-затворница, широкобровая стрелецкая невезучая царевна, ступающая по мужицки тяжело, основательно...

Нет, Соня терпеть не могла, когда ее называли Софьей. Только Фридриху разрешала. У Фридриха и эта дурацкая «Софья» выговаривалась легко, весело, сочно.

Соня доплелась до администраторской — Фридрих тотчас отобрал у нее сумки, присвистнув: «Батюшки-светы! Что там? Взрывчатка? Ну так наш Олеко Дундич уже передумал райком на воздух поднимать».

— Помирились?

— Угу. Заключение пакт о временном ненападении. Софья, я тебя отобью, — спокойно

и веско заверил ее Фридрих. — Никуда ты отсюда не уйдешь.

— Уйду, — возразила Соня, идя следом в зал. Фридрих тащил ее сумки, жарко ему, бедному, толстому, рубашка прилипла к плечам, седые завитки приклеились к потному смуглому затылку. — Уйду, Федя. Я и сама бы ушла. Ты знаешь.

Фридрих знал. Фридрих был другом. Он был единственным верным другом здесь, в этом полувертепе-полубогадельне. Он был единственным, кто понимал Соню, кто защищал ее и всегда держал ее сторону. Бесноватый воитель главреж раздражал Фридриха не меньше, чем Соню. Фридрих звал его за глаза то «Кибальчицем», то «нашим Кампанеллой», то «Робеспьером, мать его за ногу», то «опять наш Котовский супротив райкома шашку точит», то «вчера бодался наш теленок с Минкульгом».

Они вошли в полутемный зал и остановились у входа.

Посреди сцены, вытянувшись в цепь, стояли актеры, все, как один, в длинных домотканых растянутых тельняшках. Сверху, с колосников, ползла на них медленно спускаемая на капроновых тросах гигантская пегая сеть.

— Ужас какой! — ахнула Соня. — Зачем? Это же «Чайка»! Это же Чехов!

— Софья, это метафора, ты догоняй мозгами-то, ты же завит, — весело укорил ее Фридрих.

— Бывший, — поправила его Соня, глядя на хозяина зверинца. Хозяин расхаживал вдоль сцены, задумчиво грыз ногти, покрикивал на рабочих:

— Плавно! Плавно! Вира помалу!

— А почему они в тельняшках? — спросила Соня у Фридриха. — Они вчера в цивильном репетировали. В тельняшке у нас Фома Опискин был, «Село Степанчиково». У нас Достоевский был в тельняшке, не Чехов.

— Правильно, — согласился Фридрих. — Поэтому райкомовская фря и бушевала. У вас, говорит, Фома Опискин в тельняшке. Это, говорит, намек на Андропова. Андропов в речном флоте служил по молодости. Вот фря и решила: намек. Ну наш Дантон с Фомы тельняшку снял. Фому ему разрешили.

— Чего ж он на этих тельняшки напялил?

— Софья, ты село, — вздохнул Фридрих. — Село Степанчиково. Теперь ему «Чайку» зарубят, он только этого и добивается. Ищет скандала. Наш Желябов, Софья, без скандала и дня не проживет. А то ты не знаешь!

Желябов уже бегал по сцене, навьючивал сеть на недвижимую паству, расправлял складки. Актеры терпеливо переживали пытку. Соня наблюдала за ними с бессильным сочувствием.

— Ладно бы, они его боялись, — не выдержала она, — ладно бы, они у него служили, отработывали мзду. Нет, они его обожают. Они ему поклоняются. Чего уж страшнее-то...

— Секта, — заметил Фридрих. — Тоталитарная секта. Чудны дела твои, Господи. Пламенный борец с советским тоталитаризмом, а у самого не театр — казарма со шпицрутенами. Тебе здесь, конечно, делать нечего.

— А тебе? — Соня взглянула на него через плечо.

— Я соглашатель. — Администратор казармы невесело усмехнулся. — Я, Софья, человек компромисса.

Соня смотрела на него, словно прощаясь. Какое там «словно» — конечно же прощаясь. Она отсюда уйдет, Фридрих здесь останется. Значит, они расстаются.

Вопреки театральной молве, ничем, кроме дружеских уз, никогда они не были связаны. Не дружба даже — меньше или больше дружбы, это как посмотреть: они совпадали в оценках. Нынче это дорогого стоит.

Фридриху было — ни много ни мало — шестьдесят три. Рожденный в двадцатом, где-то у края выжженных солнцем басмаческих революционных степей, Фридрих соединял в себе три крови. Гремучая смесь: восток азиатский, восток кавказский, восток иудейский, библейский, семитский.

Мать Фридриха умерла родами, она была узбечкой. Отец — полуеврей-полуармянин («Кой дьявол сподвиг его ввязаться в эту бойню, Софья?! И ведь дослужился до комбрига! А дед и прадед — княжеских кровей, из Теров, пять доходных домов в Баку — проклинали папеньку и правы были, правы».)

Отец нарек сына Фридрихом в честь одного из основоположников пламенного учения, благоразумно оставил ему узбекскую фамилию матери-покойницы и сгинул где-то в кровавой воронке первых советских чисток.

«Детдом, война и мои университеты, Софья. Все по Пешкову. Все как у всех».

Соня поглядывала на него искоса, запоминая. Прощаясь.

Они сидели на откидных стульчиках во тьме репетиционного зала, у самого выхода, Фридрих курил, стряхивая пепел в выемку сломанного подлокотника. Хорошо, его не видел местный пожарник. Пожарник в театре был

третий человек после Кибальчича и Кати Канцерогена, пожарник никого не боялся, ходил по фойе в охотничьих сапогах, топал, как слон, ругался отборным матом, хватал статисток за бока — бог огня, свирепый и могущественный.

— Софья, останься, — попросил Фридрих. — Я без тебя тут с тоски помру. С кем я здесь буду за жизнь трепаться? Не с Канцерогеном же! Останься, я тебя отобью.

Соня покачала головой, отобрала у него недокуренную сигарету и загасила ее о спичечный коробок.

Фридрих протяжно вздохнул и скрестил смуглые руки на пузе. Забавно: Фридрих, с его узбекской фамилией, революционным немецким именем и еврейским местечковым отчеством, был совершеннейший армянин, стопроцентный. Армянская кровь оказалась сильнее, чем две прочие составляющие. Анонимная, никак не проявленная в ФИО, притаившаяся внутри, в глубине, в укрытии, как ядро грецкого ореха, спрятанное под прочной скорлупой, армянская Фридрихова четверть между тем давала о себе знать открыто и явно, она была победительницей!

И бледная смуглость кожи, и резкий кавказский нос с неизменной горбинкой, и темнокариые, глубоко посаженные глаза, почти черные, почти без блеска, бархатная восточная тьма, зрачок словно растворен в радужной оболочке, — все было армянским. Любой его соплеменник, завидев Фридриха у воскресных рядов Тишинского рынка, тут же заговаривал с ним на гортанном, певучем, прошитом звонкими шипящими, словно дорогая тесьма золотой нитью, наречии предков.

— Ладно, — подытожил Фридрих, вздохнув. — Я тебя трудоустрою. Есть одна шикарная вакансия. Софья, это подарок судьбы.

Три часа дня. До приезда французского деда оставались ровно сутки. Сейчас Соня спрыгнет с подножки электрички на дачную платформу, доволочет одну из двух сумок с дарами царицы Тамары до калитки под номером сорок семь по улице Грибной.

Здесь живут Сонины отец и мать. Святые люди. Идеальная теща. Не тесть, а мечта. Сонина соседка Эмма изредка, летними вечерами заходя к Соне на рюмку-другую смородиновой наливки (фирменный напиток, изготавливаемый Сониным отцом, Владимиром Павловичем в аптекарски точном соответствии с рецептурой), так вот, соседская Эмма, захмелев после первой же рюмки, говаривала, молотя по скатерти тяжелой ладонью:

— Сережка! В ноги им кланяться должен! Святые люди!

И Сережа согласно кивал, наполняя Эммину рюмку.

Святые. Что правда, то правда. Лет десять назад, да, ровно десять, Сонин отец решил как отрезал: «Соня, впятером в трехкомнатной не жизнь. Мы с матерью перебираемся на дачу».

Дача в Малаховке, скроенный попросту, без всяких пижонских выкрутасов, но основательный, крепкий, теплый зимний дом, была выстроена Сониным отцом во времена его силы и успеха, в начале пятидесятых.

Отец работал в оборонке, он был «бронетанковых дел мастер», что-то там изобрел еще до войны, что-то невероятно существенное, без чего впоследствии Т-34 не был бы

Т-34. Соня не вникала в подробности; впрочем, никто ее и не посвятил бы ни в какие подробности.

Военная тайна, строжайшая секретность. «Соня, детка, иди на веранду, у нас с папой взрослый разговор». «Соня, к папе приехали сослуживцы, они привезли чертежи, они работают, что ты молотишь по клавишам как безумная?» «Соня, запомни. Если у тебя на улице... или в школе... если кто-нибудь будет тебя расспрашивать про папу, про его работу, ты говори: "Мой папа — инженер". Все. "Мой папа — инженер". И сразу иди в класс. Или домой. Ты поняла меня? Умница. Можешь взять еще кусочек торта».

Соня шагнула на раскаленный перрон. Подлое солнце, взбесившееся, злое солнце, что же ты делаешь с нами? Вон идет какой-то полутолый мужик и поливает себя водой из литровой бутылки. Мудрое решение.

Соня поставила сумки на платформу и перевела дыхание.

— Дай помогу. — Это Ирка, соседка по даче, подружка-сверстница. — Ты из Москвы? А я в Москву. Пойдем, доведу до тропинки.

И она тотчас захлопала носом, свободной рукой (в другой Ирка тащила одну из Сониных сумок) полезла в карман сарафана, вытащила оттуда скомканный носовой платок.

— Ой, Со-онь! Беда!

— Что случилось? — испугалась Соня.

Иркина борзая шла рядом, вывалив наружу узкий бледный язык и обдавая Сонину ногу горячим частым дыханием.

— Я письмо получила от Мишки, из части, — пояснила Ирка, спускаясь вниз по ступеням. Дальше была тропинка, спасительная

тень, березняк. — Соня, их в Афган перебрасывают, скорее всего.

— Да ты что?! — ахнула Соня.

Ирка швырнула Сонину сумку в траву, не рассчитав силы броска. Ирка была существом импульсивным, одесситка, дитя Молдаванки, все этим сказано. Сумка упала набок, банка растворимого кофе, крабы, помадка, все, что Соня честно волокла матери в подарок, вывалилось из сумки, выкатилось на пожухшую от солнца, пыльную траву.

Ирка села в эту траву, закрыв руками зарешанное лицо. Борзая встала рядом с хозяйкой, обнюхала индийскую банку, отвернулась.

— Ой, Соня! — запричитала Ирка. Плевать ей было на то, что мимо, уставясь на них, к платформе шли дачники, а один дядька даже спросил у Сони, кивнув на банку с консервированной ветчиной: «Где дают? Почему?». — Ой, Соня! — стонала Ирка, — Я умру! Что делать?

— Ты точно знаешь, что в Афган? — спросила Соня, ползая по траве и сгребая в кучу все эти товары двадцать первой необходимости, заповедные яства. Мать будет счастлива, ради этого и выкроен один час на Малаховку из сегодняшнего жесточайшего графика. — Ты уверена, что в Афган? Он так написал?

— Он же не может прямо об этом написать! — выкрикнула Ирка сквозь слезы. — У них все письма вскрывают, военная цензура. Он пишет эзоповым языком. Он пишет: мама, у нас все время физподготовка, мы все время бегаем, я скоро буду как наша борзая. Бор-за-я!

— И что? — Соня с облегчением рассмеялась, без усилия поднимая Ирку на ноги. Ирка была легонькая, вечные пятьдесят восемь кэгэ,

вечная диета, кефир и творожное суфле без сахара, она еще желала нравиться, она еще замуж желала, держала себя в узде. — Ну у них физподготовка. И что? При чем здесь Афган?

— Соня! У нас какая борзая? — возмущенно выкрикнула Ирка, стуча себя по загорелому лбу костяшками пальцев и при этом звеня всеми пятью своими браслетами. Одесса-мама, эстетика Привоза. Никакие двадцать московских лет не вытравили из Ирки сорочьей приверженности к дешевым цацкам, пластмассовым клипсам. — Соня! У нас борзая афганская. Аф-ган-ская! Он пишет: я скоро буду как наша борзая. Это намек. Он в Узбекистане служит, а это рядом. Значит, их перебрасывают.

— Дура ты, — вздохнула Соня, отряхивая Иркин сарафан от жухлых травинок.

— Ты думаешь? — с надеждой спросила Ирка.

— Тебя лечить надо, Ирина, мать солдатская.

— Тебе хорошо. — Ирка вытерла мокрые щеки. — Твоему Сашке два года до призыва. За эти два года они наверняка оттуда войска выведут.

— Ой, Ира... Оттуда выведут — еще куда-нибудь введут. — Соня нагнулась, собираясь поднять с земли банку оливок.

— Оливки! — ахнула Ирка. — Соня, ты что, продуктовую «Березку» ограбила?

— На, бери. — Не раздумывая, Соня вручила ей банку. — Хватит ныть, иди на перрон, у тебя электричка через десять минут.

— Ныть?! — возмутилась Ирка, пряча оливки в нагрудный карман. Ирка шила себе сама, обожала карманы, по сорок штук на каждой тряпке. Сережа звал ее за глаза «кенгуру». — Это

я ною? Вот забреют у тебя сына в Афган, ты тогда меня...

— Не смей! — выдохнула Соня, похолодев от суеверного страха.

Ирка пристыженно замолчала.

— Не смей, — повторила Соня.

Афган, «духи», ограниченный контингент, Кабул, братская миссия. Странная война. Вроде есть, вроде нет, где-то далеко, на другом конце земли, разве войны такими бывают?

Да какая война? Жара, Малаховка, середина августовского дня, пришла московская электричка, мимо идут люди, смеются, пьют теплое пиво. Пугачева поет про миллион алых роз, вон у кого-то транзистор...

Какая война?

Но она есть, она идет, она не кончается. Сережа с Игорем по вторникам и четвергам ловят «голоса», потом курят на кухне, орут, костерят маршала Устинова, надеются на Андропова. Игорь говорит: «Он нормальный мужик. Вот увидишь, он это остановит. Не в маразме. Интеллигентный. Стихи пишет». «Гитлер тоже писал стихи!» — орет Сережа, а Наташа, Игорева жена, шепчет: «Спятели» — и включает пылесос-глушилку...

Война идет. Большая Эмма рассказывала: у них на работе, в Образцовой типографии «номер раз», одной женщине прислали сына в цинковом гробу. Вот что тут делать? Как ее утешить? Как ей в глаза смотреть? Правда, она уволилась. Она сразу же уволилась, ушла, и бабы типографские боятся ей звонить. Не потому, что подлые, бесчувственные, а потому, что страшно.

Война идет. Странная война. Война-невидимка. Будто пролитая ртуть притаилась под

рассохшимися половицами. Мы не видим ее. Мы не знаем о ней. А она нас все-таки убивает.

— Соня, прости меня! — взмолилась Ирка. — Но ты меня пойми, войди в мое состояние.

— Ладно, — вздохнула Соня, — прощаю.

— А оливки — они какие? — заискивающе спросила Ирка. — Их еще отваривать нужно?

— Ирка, не придуривайся. Ты же в портовом городе выросла, — попеняла ей Соня. — Ты что, оливок никогда не пробовала? Не верю.

— Соня, нас семь душ было в семье. Отец — инвалид, мать — прачка. Бурда из частика в томате, баланда — и все. А в Москве меня благоверный котлетами по шесть копеек кормил вплоть до развода! — возмущенно завопила Ирка. Это она умела, это Одесса, жемчужина у моря, — то слезы, то ярость.

— У тебя три минуты до электрички, — перебила ее Соня. — Беги. Потом расскажешь, какие они на вкус. Я тоже, знаешь ли... Разве что в детстве... Не помню. Не пробовала.

Охапка гладиолусов, бледно-сиреневых, с чернильным, почти черным бархатным дном, сливочно-белых и странного цвета, который Сониная матушка определяет как «оранж в тумане» — эти, оранжевые, Соня любит больше всего...

— Режь, режь еще, — говорила мать, идя за Соней вдоль дачной клумбы. — Режь! И вот эти, бордовые, тоже.

Соня алчно щелкала тяжелыми садовыми ножницами, а мать наблюдала за этим беззастенчивым варварским разбоем с каким-то непонятным азартом. Гори все огнем, забирай

последние, тогда уж все разом, и этот, и этот, и эти тоже...

Все. Пустошь. И обе женщины, старая и молодая, молча застыли над разоренной клумбой.

— Прощай, дорогой друг. — Соня сдернула с головы старушечью штапельную панамку, которую мать несколько минут назад нахлобучила ей на голову со скандалом, через не хочу: сейчас же надень, голову напечет и хлопнешься с солнечным ударом. Тридцать градусов в тени!

— Не кошунствуй, — сказала мать. — Пойдем.

На веранде отец колдовал у своего самоварчика. Как Соня ни отнекивалась, ни объясняла про цейтнот и надвигающиеся на Сретенку французские ветеранские полчища, без чая ее отсюда не выпустят.

Три дюжины гладиолусов опустили в старое цинковое корытце, Сонино купальное, детское.

Соня уже держала в руке чашку с дымящимся чаем, пахнущим смородиновым листом, и мятой, и душицей — отцовские сборы, папочкина затейливая рецептура...

— А сливки? — спросила мать, жадно и придирчиво разглядывая Соню. — Деревенские сливки, мы теперь у Нюры берем, у нее дешевле... Попробуй — чудо!.. Ты похудела.

Соня все поглядывала на корытце, на его пестрые, в темных подпалинах, цинковые бока... Плеск теплой воды, островки лопающейся мыльной пены, мыло попало в глазки... «Ничего, моя деточка, дай я прямою, не плачь!» Мамин голос, ласковые, мягкие руки. Янтарный блеск круглобокой целлулоидной утки, упавшей набок...

Это детство. Соне три года.

Сорок лет с тех пор прошло.

Как нас любят, когда нам три года!

Нет-нет, грех так думать, также, может быть даже сильнее, они любят ее и теперь, ее, старую, сорокалетнюю бабу, усталую, с подвядшей у глаз кожей, со складочками у ненакрашенных губ, то и дело нервно поглядывающую на часы: мама, через сорок минут электричка, господи, еще столько дел, я сегодня не лягу, наверное...

Они ее любят, отец и мать. И Сережа ее любит. Любит, любит, конечно. И Сашка, сын, любит тоже. Просто он сейчас дичок, голые провода, тронь — током ударит, так ведь это возраст такой, шестнадцать лет.

Они любят Соню, а Соня любит их. Но тогда почему такая тоска и тревога и так беспокойно на сердце? Почему?

— Нелепые все же цветы, — заметил отец, осторожно вынимая из корытца гладиолусы, заворачивая их в смоченную водой тряпицу. — Это даже не цветы. Это архитектура. Что ж вы, девушки, всю клумбу заломали? Не жалко?

— Володя, как ты не понимаешь? — Мать тотчас принялась помогать ему, выдергивая у него из рук бечевку. Мешала, как всегда. Суетливая, бестолковая. Отец терпел. Он всегда терпел. Он любил ее очень. — Ты представь, Соня расставит букеты по всему дому, это очень освежит интерьер.

— Интерьер, — хмыкнул отец. — Интерьер — это сильно сказано.

— Вот именно, — тут же согласилась мать. — В том-то и дело. Завтра приедут французы, что они увидят? Наши продавленные

кресла? Нашу кушетку облезлую? А так — цветы, цветы, цветы... Цветомаскировка.

— Францу-узы! — насмешливо протянул отец. — Тоже мне, событие! Сонь, ты смотри там не юли перед ними!

— Папа, даже если бы я захотела, у меня не получится, — сказала Соня, вставая из-за стола.

— Это верно, — согласился отец, он знал свою дочь, свою кровь, свою породу. — Верно. Но все же, знаешь... Нам это свойственно, русским. Герцен еще подметил: «Для русского человека знакомство с иностранцем — все равно что повышение в чине». Помни об этом.

— Папочка, обещаю. — Соня перекинула ремень сумки через плечо, осторожно приняла из отцовских рук пеструю цветочную громаду, торопливо перецеловала отца и мать, касаясь губами родных щек и губ, как они стремительно стареют, господи!

Если бы Соня видела их каждый день, это не было бы так заметно.

Да, но и они, наверное, думают так же, хотя мать никогда не скажет об этом отцу, отец — дочери. Промолчат оба. И оба подумают об одном: Соне уже сорок три, Соня стареет. У Сони грустные глаза. Усталые, грустные, сколько бы она ни смеялась, какой бы деловито-энергичной, бодрой, веселой ни старалась бы казаться...

— А смородина? — ахнула мать. — Вот же корзинка!

— Мамочка, в другой раз, мне бы эту клумбу до дома доволочь! — Соня уже спешила к калитке.

— А подарки? Соня! Наши подарки!

Соня остановилась посреди садовой дорожки. Подарки — это святое. Подарки ей вру-

чили тотчас по приезде. Уж здесь не забыли, что она новорожденная. Ворох милых, любовно, обдуманно выбираемых разных разностей. Самый главный подарок — двухтомничек Пастернака. Это же надо было запомнить еще весенние Сонины вздохи: «Так хочется пережить! Так хочется, чтобы он был свой! Где добыть?»

Добыли. У бывшего отцовского сослуживца, до сих пор мотающегося по Алжирам-Иракам, купили чеки. Отец отстоял гигантскую очередь в «Березку», толпа ломилась в двери, все сражалось за обладание финской безразмерной курткой, смешно раздутой, будто яркий пузырь, наполненный воздухом, она так и называлась: «дугая». В Европе, говорят, последний писк.

Отец, тщетно пытавшийся объяснить всей этой безразмерной толпе, что ему в соседний отдел, где книги, плюнул в конце концов, замолчал. Отстоял два часа, бледный от злости, растирающий ладонью больную левую ногу...

Это мать уж потом шепнула Соне на ухо. Зато теперь у Сони есть любимый поэт в мягкой обложке, двухтомничек, проросший в «Посеве». У нее есть свой Пастернак, вот только нужно будет отодрать эти нашлепки с надписью «Березка», чтобы ничего не напоминало о дугых куртках, о давке у ворот импортного распределителя.

— Вот, держи. — Мать вручила Соне пакет с дарами и еще раз приникла щекой к дочерней щеке. — Иди, Сонечка. Дай бог, чтобы завтра все было хорошо!

Отец стоял на веранде, подняв руку в прощальном приветствии.

У Сони сжалось сердце. Сжалось, сладко заныло... Бедные ее, любимые, обожаемые старики.

— Возьми мою горжетку! — крикнула мать ей вслед.

— Мама, какая горжетка? — Соня открыла калитку, прижимая к груди цветочный ворох. — Тридцать градусов жары!

— Тогда камею мою надень. Тебе идет. Все-таки французы... Господи, а потолок в ванной? Не пускайте французов в ванную, слышишь? У вас же там штукатурка ломтями висит! Французы увидят — ужаснутся. У них клошары лучше живут, чем у нас писатели.

...Соня вышла из лифта — и вскрикнула.

Какой-то незнакомый мужик, рослый, плечистый, в рабочей спецовке с рукавами, закатанными до локтей, стоял возле Сониной двери, тщательно ее ощупывая.

— Вы кто? — Жаль, руки заняты букетом, так бы сразу и врезала по загорелой бычьей шее. — В чем дело?! Я сейчас мужа позову!

— А его дома нет, — мужик, посмеиваясь, повернулся к Соне. — Не яришь, хозяйка. Ты мне спасибо скажи. Я ж тебе дверь починяю.

— Зачем? — растерянno спросила Соня, скосив глаза на ящик с инструментами, на рулон новехонького дерматина, на железную круглую банку, в которой тускло поблескивали шляпки гвоздей.

— Велено, — односложно ответил работяга и посторонился, впуская Соню в квартиру.

— А платить кто будет? — Она остановилась на пороге.

— Ма, не трясись, не мы! — Сын Сашка выглянул в прихожую, на ходу дожевывая бутерброд. — Смотри с чем!

— Осетрина? — изумилась Соня, глядя на нежнейшую, с золотистыми прожилками, рыхлую рыбью мякоть. — Откуда?

Голова у Сони шла кругом, мысли путались от усталости... Какая осетрина, откуда? На осетрину царица Тамара вроде не расщедрилась...

— Пошли, покажу, что в ванной. — Отобрав у матери букет, Сашка кое-как пристроил цветочный ворох на подзеркальнике. — Пошли, там потолок побелили. За час.

Соня послушно направилась следом за сыном, растерянно оглядываясь на работягу, колдующего над дверью. Дверь, понятное дело, давным-давно требовала хирургического вмешательства, каких-то экстренных мер. Последний раз ее приводили в порядок... Дай бог памяти... Да, на славный юбилей Великой Октябрьской, на пятьдесят лет Октября, отцу дали какую-то премию — колоссальные деньги. Хватило на ремонт, на шубу для матери, отец сам выбирал, шикарная шуба, а Соня с Сережей впервые съездили за кордон, в Болгарию. Совершенно бездарно съездили, Сережа там перепил «Солнечного бряга», чем-то отравился, трое суток валялся под капельницей...

В ванной на высокой шаткой стремянке стояла татарочка в низко, по самые брови, повязанной косынке, в спецовке, испачканной известью. Добеливала потолок.

Соня подняла голову и замерла, прижав руки к груди. Белизна! Сияние! Острый запах свежей извести.

— Вкусно пахнет, да? — спросил Сашка у нее за спиной.

— Вкусно... Потому что ты растешь. Кальций. Тебе кальций нужен, — пробормотала Соня, найдя на ощупь руку сына и легонько сжав.

Сын вымахал за это лето, дылда несусветная, в кого? Сережа — ниже среднего, Соня — ниже нижнего. А Сашка — высоченный, тоненький, нескладный, сутулился. (Сережа всегда лупил его ладонью по острым лопаткам: не горбись!) Сашка тайно страдал, делал какие-то секретные ежеутренние замеры на выцветших обоях, за книжным стеллажом.

— Объясни мне, пожалуйста, что происходит, — почему-то шепотом попросила Соня, глядя на расторопную татарку. — Кому это в голову пришло? Папа наконец раскошелился?

— Папа! — хохотнул Сашка. — Счас! Дождешься! — Сашка склонился к ее уху, и оттуда, сверху, со своих страусиных высот (вот ведь только вчера стоял на нетвердых толстых ножках, держась рукой за колесо коляски!), шепнул: — Это из органов.

— Из каких органов? — переспросила Соня.

Саша округлил светлые глаза: дескать, отсталая ты у меня, мать, совсем ты, старуха, плохая, и съязвил, гордясь своими познаниями, своим блестящим сарказмом:

— Из каких... Внутренней секреции.

Татарочка, почудилось Соне, тоже презрительно на нее взглянула. Взглянула — и запела, покачиваясь на своей шаткой стремянке, добеливая потолок.

— Так это из-за французов? — наконец догадалась Соня, надо же, все-то он у нее знает в свои шестнадцать, и про органы, и про секрецию.

Соня в его годы была абсолютной овцой, целиной непаханой. Ни про какие органы слухом не слыхивала. Она вдруг вспомнила, так живо, будто это было вчера, как явилась од-

нажды, сияя, домой. А мать сидела на кухне и плакала. «Мама! — закричала Соня, сдирая пальто. — Мама, кто такая Лидия Тимашук? Нам велели быть как она! Она кто?»

«Сука», — резанула мать; никогда до этого, никогда после Соня не слышала из уст своей церемонно-манерной, светской, благовоспитанной матери ничего подобного. Соня застыла с открытым ртом. Мать выскочила из кухни, вернулась через минуту, и красивое, распухшее от слез лицо ее было искажено гримасой страха. Она прижала к себе Соню, испуганно частая: «Забудь, забудь, я ничего не говорила! Она очень хорошая, замечательная, она герой, Соня, я ошиблась, да я вообще не знаю, кто она такая...»

Вот так. Лет через двадцать Соня все это припомнила, и мать ей рассказала, снова расплакавшись, что тогда, в тот зимний день, взяли дядю Нему, мужа маминой сестры, добрейшего дядю Нему, Наума Захарыча. Он учил Соню играть в шахматы и нарочно ей проигрывал, он был рентгенолог, его взяли по «делу врачей». А Тимашук на них наступала.

Сонин Сашка про эту Тимашук и слыхом не слыхивал, зато он знает про органы. Сережина наука. Хорошо это или плохо? Ну знает и знает, чего уж тут...

На кухне возле стола сидел, привалившись плотным загривком к стене, нестарый еще, белобрысый мужик в светлой рубашке. Стол был заставлен банками с импортной снедью, бутылками хорошего французского вина... А она-то кланялась в пояс царице Тамаре, унижалась, кланчила, денег назанимала... Дура. Родное ГБ обо всем позаботилось, развернуло хлявную скатерть-самобранку.

— Да здравствует Франция! — произнесла Соня вместо приветствия. — С ума сойти! Может, господа французы каждый месяц будут нас посещать?

— Не обещаю, — отрубил белобрысый, поднимаясь со стула и протягивая Соне руку: — Крапивин.

Господи, как он ей руку стиснул! Крепкая рука у наших доблестных органов, железная рука.

— Софья Владимировна. — Не удержавшись, Соня все же подпустила яду: — Товарищ Крапивин, а нам это тоже можно есть? Или это все исключительно для французских желудков?

— Вообще, особенно не увлекайтесь. — Крапивин прищурил бесцветные глаза. Под глазами мешки: то ли пьет, то ли печень. — На стол, разумеется когда французский дедушка придет, поставьте все. Но особенно не налегайте. — Выдержав паузу, добавил командным тоном, властно, жестко, вот они, интонации Комитета (будь ты неладен, французский дедушка, из-за тебя сейчас так муторно, так тошно). — Завтра к шестнадцати ноль-ноль чтобы и стол был накрыт, и сами при параде!

Мучение какое! Да, но зато потолок побелили. И дверь как новая.

— ...Будет этот ветеран нормандский, буду я, будет мужик из писательского секретариата... Ну, и пара гарсонов из «Юманите». — Крапивин вытер пот со лба. Жарко. — Вопросы есть, Софья Владимировна?

— Никак нет, — усмехнулась Соня, давя в себе предательское желание добавить к этому «никак нет» «ваше благородие». — Нет, товарищ Крапивин. Какие тут могут быть вопросы!

Сережа явился за полночь.

Полуживая от усталости, Соня только что легла. Поход к Тамаре, неподъемные сумки, электричка, генеральная уборка... Да еще очередь она успела выстоять за гусем, большая Эмма позвонила: «В «угловом» гусей выкинули, беги! Запечешь завтра для своих лягушатников».

Теперь Соня лежала, не чувствуя ни ног, ни рук. Это даже не усталость. Состояние, близкое к ощущениям бурлака, впрягшегося в лямку где-нибудь под Кинешмой, дотащившего баржу до Твери и рухнувшего замертво на речную гальку. От Кинешмы до Твери. Или наоборот. Соня несильна в географии.

Соня несильна в языках. Она лежала, пытаясь уснуть, в каком-то одурелом, обморочном, сонном бреде припоминая хоть что-нибудь по-французски... Чтобы хоть слово сказать им завтра, этому французскому полчищу, этому нормандскому нашествию, вероломно напавшему на Сонину Сретенку. В голову лезло черт-те что. Мерси-бонжур-сэ манифик. О-ля-ля... Де Фюнес в жандармской каске, с идиотской ухмылкой, с оловянным блеском в выпученных глазах: «О-ля-ля!» Еще какое-то опереточное «жамэ» вспомнилось... Что еще за «жамэ»? А! Это значит «никогда».

Вот Соня им завтра и скажет на прощание: «О-ля-ля, мсье, все было очень мило, манифик, мерси. Но больше, пожалуйста, жамэ, никогда, у меня болит спина, у меня до сих пор ноют руки от этих сумок, у меня теперь двести рублей долгу. Жамэ, комарад! Ариведерчи».

Сережа вошел в спальню, включил ночник и тотчас полез к ней, попытался обнять, обдавая коньячным духом, запахом дорогого Игорева табака из цеговского буфета:

— Сонь, ты спишь? Сонь, не спишь?

— Сплю, — пробормотала она и отвернулась, продолжая перебирать по инерции все эти «бонжур-ариве-дерчи», нет, «ариведерчи» — это итальянский. — Сплю. Где ты пропал?

— У Игоря.

О боже, у него серьезные намерения. Самые что ни на есть. До чего же это некстати! И как от него пахнет коньяком! Она и так устала, будто ее танком переехали. Что, еще и этот сейчас навалится, пьяный, потный, взлохмаченный, возбужденно-суетливый?

— Пусти! — Соня попыталась вырваться.

— Я был у Игоря... «Последнее танго» смотрел... Соня! Я его посмотрел три раза!

— Извращенец.

Соня выключила ночник, пытаясь оттолкнуть от себя мужа. Какой он тяжелый! Когда он пьян, он тяжелый-тяжелый. Как тяжело это все! Как тяжок этот супружеский оброк, это ярмо, эта безрадостная лямка, «Бурлаки на Волге», так было не всегда, когда-то все было иначе.

— Сережа, я прошу тебя, я устала! Сережа, Сашка услышит... Он не... он не... не спит.

Нет, муж снова включил ночник, ему нужен был свет, какой-то он сегодня другой, чужой, отталкивающе возбужденный. Ага, это он на-смотрелся своего подлого «Танго», ему теперь нужна вот эта подзарядка, тройная доза, мощная инъекция чужого плотского безумия. Какая все это мерзость!

Но легче перетерпеть.

Соня и терпела. Она только снова, на ощупь, не сразу дотянулась до выключателя, зацепившись рукой за шнур, едва не повалив лампу. Только бы не горел свет! Только бы не видеть

его лица, его блестящего от пота лба с высокими залысинами, его шеи, острого кадыка, почему-то этот кадык был Соне более всего ненавистен. И она выдала себя, не сдержалась, зло шепнув ему, добравшемуся до своей вершины:

— Тише!!! Тише, Сашка услышит.

Сережа уснул, а Соня долго стояла под душем, тупо глядя на свежевыбеленный потолок. Завтра отключат горячую воду. Так некстати!

Потуже затянула халат, вышла из ванной. Проверила, спит ли Сашка. Спит. И Сережа спит. Он так и не вспомнил про то, что ей срок три. Он не помог ей сегодня ни в чем. Он смотрел свое «Танго».

Он давно уже не спрашивает, что у нее на работе. Ну и Соня молчит.

Она вошла на кухню и, не включая света, села возле открытого окна.

Душно, даже ночью. Старые сретенские тополя темнеют в глубине двора. Пусто, тихо... Скоро осень. Кончится жара, истлеет, выдохнется это пекло, будет осень.

Далось ему это «Танго»! Старый, грузный, жалкий Брандо. Эта порочная Мария Шнайдер, почти бесплотная, с лицом развращенного ребенка, с глазами наркоманки... Кого она так напоминает?

И Соня вспомнила. Юную проститутку из Столешникова. Барахолка в дамском туалете, индийская юбка... Соня совсем забыла про юбку! Где она? Да как в сумку ее бросила, так о ней и забыла. Значит, там и лежит.

Соня кинулась в коридор, открыла сумочку, извлекла со дна ее пестрый мятый комок и вернулась на кухню, сжимая комок в руке. С ума она сошла, что ли? Все обиды двух последних дней словно материализовались

в этой юбке, в пloidчатом марлевом сгустке с витым шелковым шнурком, вправленным в пояс, с пластмассовыми розовыми камушками на концах, постукивающими в тишине.

Нет, эту юбку она носить не будет. Отдать ее кому-нибудь?

Нет, нужно ее выбросить, выбросить тотчас!

Соня затолкала марлевый ком в пустую коробку из-под торта и сунула коробку в мусорное ведро — решительно, быстро, ни секунды об этом не жалея.

*15 августа 1983 года*

— Сережа, приехали? Уже приехали?! О боже! Сережа, я опоздаю минут на сорок! Я никак не могу, я сдаю дела, Сережа! — кричала Соня в трубку, глядя на своего преемника.

Преемник расхаживал по крохотному Соминому кабинету, остановился у портрета Эрмана, неприязненно всмотрелся. Руку на отсечение — первый раз его видел.

— ..Да, представь себе, — продолжала Соня, — увольняюсь! Не забивай себе этим голову, это к лучшему, потом поговорим. Все, иди принимай гостей. Я такси возьму. — Она положила трубку.

Французы уже приехали! Они уже вошли в Москву, французы об руку с гэбистами. Уже вошли, Москва горит, пожар Москвы двенадцатого года... Горит, знамо дело: тридцать градусов в тени.

Ну ничего, ничего, стол накрыт, Соня со свекровью с раннего утра занималась сервировкой. Носились между комнатой и кухней как уторелые. Большая Эмма принесла потрясающие зажимы для салфеток. Сережа разбил

салатницу из маминого, еще довоенного сервиза, кузнецовский фарфор, мама на него молилась...

«Урод! — орала свекровь, она с сыном сроду не церемонилась, Сережа ее до сих пор побаивался, за глаза звал Кабанихой. — Урод, опять грохнул посуду, ей цены нет! Юля не переживет, давай клей обратно чем хочешь...»

— Это кто? — спросил Сонин преемник, ткнув пальцем в Эрдмана.

— Эрдман, — пояснила Соня, стараясь не выказать недоумения. Хорош завит, Эрдмана не знает! — Эрдман. Николай Робертыч. Замечательный драматург. «Мандат», «Самоубийца».

— Нам здесь «Самоубийц» не надобно, — заявил преемник, скрипя своими диковинными штанами из натуральной кожи, Соня такие впервые видела. — У меня здесь будет оптимизм и всеобщее ликование.

Преемник хлопнулся в кресло и закинул ногу на ногу, демонстрируя свои эксклюзивные портки. Кожа скрипела, собираясь в тонкие складки.

— У меня здесь будет...

— Такое ощущение, что вы не в завиты, а в главрежи сюда собираетесь, — перебила его Соня, глянув на часы. — Юрий, давайте мы с вами завтра договорим. У нас французы в гостях, очень важный визит, я должна...

— Французы? — оживился преемник и, понизив голос, спросил: — У них валюту можно купить? Я бы купил. И франки, и доллары.

Соня торопливо заталкивала в сумочку все, что еще не успела забрать из кабинета, — пару блокнотов, перспективные планы на грядущий сезон... Все, ящики стола первоизданно, девственно чисты. Пусть теперь этот

вьюноша в кожаных штанах забивает их чем хочет.

— А индийские драхмы не хотите?

Преемник захихикал, поерзал в кресле, скрипя кожей. Предложил Соне, косясь на узкое, умное, желчное лицо Эрдмана:

— «Самоубийцу» тоже забирайте. Я здесь буду оптимизм насаждать.

— Сафронова, что ли, собираетесь ставить? — спросила Соня, уже стоя на пороге.

— Сафронова? А кто это? — О таком оптимист в кожаных галифе тоже не слышал. — Это седой такой, с трубкой? «Ты помнишь, Алеша, дороги Тамбовщины»?

— «Смоленщины», — поправила Соня, заводясь понемногу. Он был победительно нагл, этот кожаный хлопок, вызывающе дерзок. Он упивался своей властью, невесть кем данной, кто он такой-то, черт его дери? — Вы Сафронова с Симоновым перепутали.

Преемник хохотнул, лаская ладонью свое кожаное колено.

— Как же, как же. «Ты жива еще, моя старушка? Жди меня, и я вернусь, маман».

— Вам в них не жарко, нет? — Соня кивнула на его портки. — Потом, может быть, я действительно недопоняла: вы сюда завитом пришли или главрежем?

— Я сюда пришел главлитом, — отпарировал преемник, — к заврежу. Ясно?

— Ясно. — Соня открыла дверь.

— А в штанах мне жарковато, пожалуй. — Преемник криво ухмыльнулся. Мефистофель из районного отдела культуры. Какие мальчики растут, Соня! Лет через десять они здесь таких дров наломают, только держись. — Жарко, жарко. Снять? Хотите? — Наглый, побед-

ный, щенячий оскал. — Жаль, у нас времени маловато. Вы ведь куда-то спешили, да?

Рядом с Соней, возле самой стены, стояла этажерочка. Верхние полки ее были уставлены дарами от благодарных зрителей. Соня сняла с полки первое, что под руку попало, — презент театру от тружениц ткацко-камвольного комбината, макраме в рамочке, мелкая вышивка по контуру: «Любите ли вы театр, как люблю его я? Белинский».

Преемник вовремя втянул голову в плечи — макраме пронеслось над его подлой башкой, упало на подоконник, прямехонько на стопку толстенных папок. Кожаный гад принес с собой папки. Надо полагать, они были набиты оптимизмом, пьесами оптимистов, таких же юных, наглых, затянутых в весело скрипящую кожу, как наган в португую. Ох, Соня, какая тут скоро начнется стрельба! Русская, русско-советская рулетка.

— Могла убить. — Преемник встал с кресла, подошел к подоконнику, взял рамочку в руки, прочел надпись. — Нет, — произнес он. — Я не люблю театр, Белинский.

— Сейчас вы должны у меня спросить: «А кто такой Белинский?» — подсказала Соня. — Это тот, который «Курочку Рябу» написал? Александр Сергеевич? Великий русский писатель, автор поэмы «Война и мир»?

И она вылетела за дверь, кляня себя за отсутствие тормозов, спасибо, папочка, твое наследство, твоя кровь. Могла бы не макраме запустить в мерзавца — шкатулкой малахитовой, она рядом стояла...

Теперь вперед по коридору, мимо гримерок... Французы уже сидят за столом... Сережа

произносит свои витиеватые нескладные то-сты...

Канцероген. Вот некстати! Катя преградила Соне путь, сурово спросив:

— Юбку купила?

— Пусти! — взмолилась Соня. — Катя, у меня французы!

Канцероген раскинула руки:

— Не пущу. Купила?

— Пусти! Нет, — соврала Соня.

— Мне не врут, — утрюмо предупредила ее Канцероген. — Я рентген. Я детектор.

— Ну купила, — призналась Соня, попытавшись проскользнуть под физкультурной, тренированной Катиной рукой. — Потом выбросила. Отпусти меня, я опаздываю!

— Молодец, — скуппо похвалила Соню Канцероген. — Ты становишься человеком. Ты купила, потом тебя совесть заела. Западло в одинаковых юбках ходить-то! Пойдем, тебя Таня подкрасит. За хорошее поведение.

Соня попыталась вырваться, да где там! Канцероген, движимая благими порывами, чувством признательности, проявляемым ею с тем же неистовым пылом, что и чувство праведного гнева, втокнула Соню в гримерку, силком усадила за гримировальный столик.

— Я на полчаса опаздываю, — простонала Соня. — У нас французы!

— У тебя французы. — Канцероген опустила на Сонино плечо стальную руку, руку Командора. — Кого они увидят? Ты глянь на свою рожу! Под глазами круги, башка нечесана...

— Почему это нечесана? — обиделась Соня, глядя на себя в зеркало. Да, она не выпалась. С шести утра на ногах. Да, не Брижит, не Мерилин. Но светлые ее, густые, коротко

стриженные волосы вымыты с вечера шампунем «Ален мак», Соня полчаса за ним отстояла в «Софии», взяла два последних флакона, победа! Волосы вымыты и уложены феном. Фен ей Сережа из Парижа привез, между прочим.

— Катерина, помолчи. — Танечка, гримерша, уже колдовала над Сониным лицом. Соня закрыла глаза, смирившись. — Сонечка, какая у вас кожа! Как у двадцатилетней!

Танечка — эта умела утешить, успокоить, сказать что-нибудь приятное. И руки у нее были легкие, быстрые, ласковые.

— Ладно врать-то! Как у двадцатилетней, — буркнула Канцероген. — Ей сорок три.

Канцероген всегда знала, кому из баб сколько. Маниакальная, патологическая память. Канцероген умудрялась вернуть к месту, громово, при большом скоплении народа: «Тебе, Лариса, шестьдесят два уже, не девочка», «Так как, Ираида, «полтинник» обмоем? Зажала «полтинник?»

— Катя, сорок три — это самый расцвет. Это «ягодка опять». — Танечка порхала вокруг Сони, та сидела, не открывая глаз. Прикосновения пуховки... Легкие движения кисточки, скользящей по усталым векам... Запах хорошей пудры...

Соня открыла глаза и, боясь взглянуть на себя в зеркало, посмотрела на разноцветные патрончики губной помады. Танечка перебирала их, бормоча:

— Эта, эта, эта... Нет, не то. Соня, вы посмотрите на себя! Все Жан-Пьеры попадают. О Жан-Полях уж и не говорю.

Соня подняла глаза. Как это они умеют?! Вот что значит профи, высокий класс! Ай да Таня, bravo!

Какие-то почти незаметные коррективы, неуловимые. Чуть-чуть румян. Глаза подведены слегка, очень деликатно. Тени у век странного цвета, почти бронзового, тоже — едва, самую малость. Но Сонины глаза, огромные, серо-голубые, очень славянские Сонины глаза стали еще выразительней. Что правда, то правда.

— Красотка, — признала Канцероген.

— Вот эта, пожалуй. — Танечка наконец выбрала помаду.

Снова закрыв глаза, Соня втянула ноздри клубничный, легкий, свежий аромат помады...

И тотчас к нему примешался, нахлобился запах дорогого мужского парфюма. Это Фридрих. Соня открыла глаза.

Фридрих склонился над ней, чмокнул в щеку:

— Я тебя подвезу.

— Спасибо, Феденька, спасешь! Я опоздала. Они уже полчаса сидят. — Соня обалдело взглянула на себя в зеркало: хороша! Яркий рот, может быть слишком яркий? Она бы никогда так не рискнула — насыщенный карминный цвет, такой победительный, почти агрессивный.

— А не слишком? — неуверенно спросила Соня.

— Дура, так и ходи, — велел Фридрих. — Фам фаталь. Роковая. Татьяна, продай ей помаду. Я покупаю.

— Ты зайдешь? — спросила Соня, когда они подъехали к ее дому.

— Что я, французов не видел? — буркнул Фридрих. — Я их, Софья, не люблю. Скупердяи, сутяги, пьянь. Скучнейший народец. Говорить

с ними не о чем. Две темы: деньги да бабы. Про деньги — где достать. Про баб — кому сбыть. Иди, Софья.

Соня сидела в машине, не торопясь выбраться на волю. Ей тоже не хотелось никуда идти. На душе гнусно, тошно. Этот кожаный наглец все еще стоит перед глазами.

— Что у нас за новый завлит, откуда? — спросила она. — Наглец редкостный! Какая за ним рука-то? Такое ощущение, что у него папа в ЦК, а мама в Совмине.

Фридрих не спешил отвечать. Он дышал тяжело, одышливо. Темные, с густой проседью, перец с солью, влажные кудрявые его волосы прилипли ко лбу. Жара. Он толстый, ему тяжело, задыхается.

— Почти угадала, — сказал он наконец, глядя на черную «Волгу», стоявшую возле Сониного подъезда.

Шофер и плотненький, корявенький человек в штатском курили у машины, травили, верно, развеселые байки, похохатывали.

— Угадала, — повторил Фридрих. — Почти. Я тебе, Софья, открываю страшную тайну. Знаешь, почему нашему Мейерхольду «Фому Опискина» разрешили? Сняли запрет? Знаешь?

— Нет. — Соня покачала головой.

— Они ему сказали: «Давай валяй своего «Опискина». С нашими, райкомовскими коррективами, конечно. Но вот тебе наш человек, наш райкомовский Буревестник. Черной молнии подобный. Он у тебя будет завлитом. Отныне будет тут реять. Гордо. Поняла?

— Поняла. — И все оборвалось у Сони внутри.

Ее сдали. За полторы копейки. Она сама разменная монета. Ее разменяли за милую душу.

Больно. Как больно, ну какие ей французы сейчас?!

— Я тебе ничего не говорил. — Фридрих смотрел в окно, на черную «Волгу». — Ладно, Софья, не журись. Все к лучшему. Я тебе нашел работу — сказка. Мечта! Давай иди, перетерпи своих Жан-Люков. Я за тобой заеду к семи, отвезу тебя на смотрины.

— Фридрих, может быть, тебе тоже из театра уйти? — тихо спросила Соня. — Тебя ведь тоже разменяют когда-нибудь, не ровен час...

— Я соглашатель, — буркнул Фридрих, доставая из кармана патрончик карминной помады, выкупленный у Танечки, надо полагать, втридорога. — Держи. Дарю. Тебе идет.

— Спасибо. — Соня открыла дверцу. Ей не хотелось терять Фридриха, не хотелось, чтобы он оставался в казарме, над которой теперь будет реять, расправив кожаные скрипящие крылья, этот райкомовский Буревестник, и она повторила с какой-то упрямой мольбой: — Фридрих, давай вместе уйдем! Что ты, работы себе не найдешь? Ты же сам говорил, тебя в четыре места зовут. Уйдем, ты ведь там взвоешь, под Буревестником-то!

— Я старый, — пробормотал Фридрих. — Мне лень. — Он повернулся к Соне. Его черные, узбекско-еврейско-армянские глаза блеснули насмешливо и грустно. — Он Буревестник. Я Пингвин. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Ничего, нормально. Это мой стиль, Софья. Моя стратегия. Иди, Софья. Тебя заждались.

Соня вызвала лифт. Какие французы? Выгнать всех, потушить свет, забиться в угол тах-

ты, лечь лицом к стене. Ее предали. Ее сдали. Разменяли, как медяк.

Нет, придется вымученно улыбаться, плести светскую беседу, любезничать с чужими людьми. «Коман сава?» — «Сава бьен».

Сава хреново, мсье-мадам. Такова советская ля ви. Вам этого не объяснишь, давайте лучше водочки хлопнем.

Соня открыла дверь. В прихожей пахнет чем-то горелым. Нет, печеным. Вкусный запах, дачно-пионерский. А! Это они картошку пекут. Надо же!

Из кухни слышались голоса — веселые, хмельные. Соня глянула на себя в зеркало — карминно-красные, темные, резко очерченные губы, растерянные глаза. Странно. Другая женщина. Сережа не узнает.

Мужики шумели на кухне, смеялись. Незнакомый мужской голос, низкий, хриплый, властный, грубоватый, что-то быстро говорил по-французски. Это Бернар, наверное, французский дед-ветеран. А кто им переводит?

Соня постояла, раздумывая, куда ей идти — на кухню или в комнату. Поразмыслив, направилась к комнате.

Вот тут-то он и вышел ей навстречу. Он вышел ей навстречу, он был выше на две головы, Соня подняла глаза...

Было довольно темно, в коридоре всегда полумрак, даже в солнечные дни...

Мужчина лет сорока, высокий, смуглый, стриженный очень коротко, стоял на пороге комнаты и смотрел на Соню.

Он смотрел на Соню, молчал, и... это самое главное, именно это Соня всегда потом будет вспоминать, такая смешная подробность, но очень важная... и глаза его медленно округ-

лялись, темные низкие брови ползли вверх. Что-то в этом было невзаправдашнее. Чрезмерное. Как на этюде по актерскому мастерству, Соня тысячу раз сидела на вступительных в ГИТИСе. Когда экзаменатор, позевывая, предлагает какому-нибудь юному обалдую из Мценска: «Вот представьте себе. Вы в первый раз видите женщину. И понимаете, что это судьба. Вот покажите нам это, попробуйте». И обалдуй таращит глаза, округляет их, брови ползут вверх. Он стоит окаменев, будто суслик на лесной ночной дороге.

И этот рослый смуглый брюнет — он точно так же стоял. И глаза у него были как плошки. А Соня знала, что никакой в этом нет фальши, никакого наигрыша, все правда.

Все правда. Через минуту он опомнится, встряхнется. Ему будет неловко. Он заговорит с Соней нарочито сухо, отчужденно. Да он и говорить-то с ней не сможет, он — ни слова по-русски, она — по-французски.

Ведь он же француз? Кто он?

Через секунду он будет другим. Но сейчас, но теперь он настоящий, он выдал себя. Все, ты себя выдал, не отпирайся.

— Сонька, наконец-то! Ты где пропадешь? — Сониная свекровь, Полина Ивановна, бой-баба, невероятно подвижная при своей полноте, поднырнула под рукой незнакомца, вынося из комнаты поднос с пустыми тарелками.

Незнакомец очнулся. Его расколдовали.

— Андре, вы ж вроде покурить хотели? — по-свойски спросила у него свекровь. — Во-он туда, на балкон.

Только теперь Соня заметила, что в правой руке незнакомец сжимает пачку «Житана». Со-

ня знала, что это «Житан», Сережа привез из Парижа два блока, потом не спеша смолил полгода, интересничал, выпускал дым через ноздри, шикарно затягивался, воображал себя Жаном Габеном.

— Спасибо, сударыня, — ответил незнакомец, глядя не на Соню — на свекровь. На Соню он теперь смотреть не желал, отводил глаза. Понятное дело, казнит себя за эти три минуты полного ступора.

— «Сударыня»! — передразнила его Полина, смеясь. — Сонь, слышь, как он говорит? Он так смешно говорит. Как в старое время.

— У меня нет хорошей практики, — пояснил незнакомец, искоса, быстро, с какой-то детской сумрачной опаской глянув на Соню и тут же отведя глаза. — Я еще коротко в Союзе. Мой русский — русский моей бабки. Да?

— Он наполовину русский — наполовину француз, — вставила свекровь, радуясь, что она уже все знает, в курсе всего, посвящена в детали. — Он из эмигрантов. То есть бабка из эмигрантов. Она русская, поняла? Да вы познакомьтесь! Андрюша, это Соня... Ничего, что я Андрюшей вас зову? По-нашенски, по-русски. Это Соня, невестка моя.

Последние Полинины слова потонули в шуме, гаме, ликующих воплях. Соня оглянулась: громогласная, веселая, изрядно подвыпившая мужская компания шествовала из кухни. Огромный пожилой мужик возглавлял компанию, безоговорочно ею верховодил. Никого больше и не видно было из-за широченных его плеч, борцовского обхвата лапищ. Так, мелькали иногда у левого его плеча, у правого локтя разгоряченные хмельные рожи гэбиста Крапивина, Сережи, еще какого-то дядечки...

Мелькали — и исчезали за этим богатырским живым заслоном.

И это старик-ветеран?! Что ж, если в сорок третьем Бернару было двадцать, то теперь шестьдесят всего-навсего.

— Софи! — радостно заорал Сережа, подпрыгнув и на миг выглянув из укрытия, из-за Бернарова геркулесова плеча. — Антре! Бернар, это моя жена, Сонька!

Бернар на мгновение остановился. В руках он держал противень с дымящейся печеной картошкой, золотистая рыхлая мякоть которой светилась из-под лопнувшей корочки, кориценовой, в угольных обводьях.

— А мы картошку печем! — ликующе завопил Сережа, снова исчезнув за грузной громадой. — Бернар вспомнил, как они картошку пекли на фронте, где-то под Вязьмой.

— Здравствуйте, — растерянно произнесла Соня. Больше всего ей хотелось сейчас оглянуться назад. Увидеть, проверить, стоит ли еще за ее спиной этот русский-французский с пачкой «Житана».

Бернар вручил Сереже противень. Соня понять ничего не успела: полотенцем, которым он только что держал противень, Бернар мгновенно и ловко опоясал ее талию, притянул Соню к себе.

— Он обожжется! — ахнула Соня, глядя на противень в руках мужа.

— Да он остыл давно, — засмеялся Сережа, он перебрал, и порядком. Вот и свекровь, скользнувшая мимо на кухню, шумно шепнула сыну на ухо: «Тормози, понял?»

Бернар произнес что-то на своем языке. Оценивающе, весело, быстро, нависая над Соней, глядя на нее сверху вниз маленькими бле-

стящими круглыми глазами. Сам медведище — и глаза как у медведя.

— Он говорит: красотка. Настоящая русская красавица, — перевел Крапивин. Надо же, Крапивин парле по франсэ, кто бы мог подумать!

— А где этот... как его... переводчик? — закричал пьяный Сонин муж, наклонясь к подносу и дурашливо надкусывая горячую обугленную картофелину. — Где Андре этот ваш?

Соня оглянулась. Андре не было. Ушел. Курит свой «Житан» на Сонином балконе. Стоит на Сонином балконе, в Сониной спальне, положив ладонь на горячую, прогретую солнцем железную балконную решетку. Курит, смотрит на Сонин старый маленький двор, на Сонины тополя, на Сонину Сретенку.

Странно, ей приятно об этом думать.

Ей приятно думать о нем, представлять, как он там стоит и курит, ей нравится, что он здесь, близко, рядом, он сейчас вернется, пусть даже он больше не взглянет на нее ни разу, и ничего не скажет ей, и сядет от нее далеко...

Все равно, все равно — скорее бы он возвращался.

Соня сидела за столом, кивая словоохотливому Бернару, принужденно смеясь, передавая Крапивину селедочницу («Сонечка, вы где? Очнитесь! Я же оливье просил!»), обжигаясь злосчастной картофелиной, которую Бернар, сидящий рядом, поднес к ее губам с очаровательной (будь он неладен!) бесцеремонностью пожилого инфант-террибл: «Кожу-у-урка!» — а Крапивин переводил, подливая себе коньячка... Как он не боится захмелеть, им же нельзя! Они же вместо коньяка заварку хлещут, если верить черно-белым широкоформатным шпионским фильмам...

Уже сидя за столом, Соня все время ждала его, то и дело поглядывала на дверь. Она даже попыталась выйти из комнаты под благовидным предлогом:

— Полин Иванна, давайте я вас подменю у плиты!

— Сиди! — отрезала свекровь.

— Си-ди, — весело повторил Бернар и развернулся к Соне, огромный, грузный, разгоряченный.

Он взял Сонину руку в свою лапищу, накрыл ее сверху огромной ладонью и что-то сказал на своем языке, очень ласково, любовно.

— Переведите же, — попросила Соня, втайне надеясь, что сейчас все вспомнят о человеке с пачкой «Житана», о переводчике, и уповая на то, что кадровый полиглот Крапивин не осилит длинную фразу.

— Он говорит: у русских женщин очень мягкие руки.

Это голос переводчика. Это голос Андре. Значит, он уже в комнате. Не нужно оглядываться. Сейчас он сам подойдет к столу, сядет... Он сядет напротив, вот же его место, стул рядом с Крапивинным пустует, значит...

Соня подняла глаза. Андре сел напротив. Теперь он смотрел на нее спокойно и прямо, не отводил глаз, он как-то договорился сам с собой, что-то решил для себя, стоя там, на Сонином балконе, глядя на Сонины тополя.

У него синие, абсолютно синие, яркие, васильковые, таких не бывает, совершенно синие глаза.

— Бернар, ты мою жену не соблазняй!

Это кто сказал? Это Сережа. Смеясь, стуча вилкой о рюмку. Что значит «не соблазняй»? А, это он потому так сказал, что Бернар до сих

пор сжимает Сонину ладонь в своих ладонях. Сониная рука — в печи, в духовке, у Бернара огромные, горячие, медвежьи лапы... Но это ничего. Пусть.

Синие глаза. Неужели такие бывают? Вот же, бывают.

— Бернар говорит: такие мягкие руки были у его Нади, — переводил Андре, пристально, без улыбки глядя на Соню. — Он хочет выпить с вами. Только с вами. В память о Наде.

Соня слушала и кивала, не слыша, не понимая ни слова. Если она и думала сейчас о чем-то... Да нет, ни о чем она не думала. Ей только хотелось стереть эту чужую, карминно-красную помаду со своих губ. Губы пересохли, они горели, Соне казалось, что они выдают ее. Да что они могут выдать?

Андре подумает, что она накарсила их для него, для того, чтобы ему понравиться.

Как он может об этом подумать, если час назад Соня еще не знала, не ведала о его существовании?

Чьи-то руки мягко развернули Соню влево. Кто это? А, это Бернар. Протянул ей рюмку с водкой, что-то сказал.

— В память о его Наде, — перевел Крапивин. — Выпейте не чокаясь.

Соня послушно выпила водку, не чувствуя ни запаха ее, ни крепости, ни вкуса.

— А про хозяина забыли, — пьяно пробормотал Сережа, ставя на диск проигрывателя пластинку.

Я волнуюсь, услыша французскую речь,  
Вспоминаю прошедшие годы... —

запел Бернес про «Нормандию — Неман».

— Хо-хлу-чка... — по слогам выговорил Бернар. Его маленькие медвежьи глаза теперь печально блестели, он подпер багровую щеку багровой же ручищей, и правый глаз почти утонул в складках толстой, грубой, медвежьей кожи.

— Она была хохлушка, его Надя. Украинская, да? Так? — перевел Андре. Не нужно смотреть на Андре, Соня, смотри на Бернара! — Бернар говорит, что он видит вас и вспоминает Надю.

«Вспоминает»! И, не выдержав, Соня взглянула на переводчика.

Узкое смуглое лицо, очень красивое. Очень ненашенское, ничего-то здесь не осталось от русской бабки. Ничего, кроме этого странного русского языка с нелепыми вкраплениями старинных, давным-давно вышедших из обихода словечек. «Вспоминает»!

Нет, иногда он путал и русские слова, чуть-чуть их искажая, почти всегда понимая, что дал маху, страдальчески хмуря при этом темные, широкие, низкие французские брови, сводя их к узкой переносице. Там уже морщинка залегла, и не одна. Но все равно он моложе. Он моложе Сони. Ему лет сорок, может быть даже меньше.

— Надя была подавальщицей. Так? Подавальщи-ца. В обеденной для летчиков. Так? — Он переводил, а Соня мысленно автоматически его поправляла, меняя «обеденную» на «столовую», заставляя себя вслушиваться в слова Андре, слышать их.

— Вот мне ты ни черта об этом не рассказывал, — обиженно вставил пьяный Сережа, глядя на Бернара.

— Ты же писал военные мемуары, не любовные. — Крапивин отвел Сережину руку от

графина с настойкой. Ага, родные органы не дремлют, они начеку.

Бернар снова схватил Сонину ладонь, сжал ее, вспомнив о чем-то важном, и разразился пылкой тирадой, едва не опрокинув на пол пу-стую тарелку.

Полина успела выдернуть тарелку из-под его пудового локтя. Полина вообще была сегодня на высоте, ангел-хранитель этого странного, нескладного застолья, его тайный церемониймейстер. Она бесшумно появлялась, внося и водружая на стол какие-то нескончаемые пироги, холодцы, салаты, и тотчас исчезала — быстрая, сосредоточенно-деловитая.

— Бернар говорит: его Надя даже приучилась делать луковый суп, — переводил Андре. — И она пела. Она чудесно пела. И она была очень... Как это... Милосердна. Да?

«Милосердна». Ветхий, полузабытый анахронизм. Просто Писемский какой-то. Соня усмехнулась, глядя на этого недорусского-полуфранцуза. И он на нее смотрел, пристально, исподлобья. Ничего в этом взгляде не было мужского, оценивающего. Ни намек на возможный флирт, на немой сигнал, на эти привычные извечные позывные, всегда мгновенно и безошибочно считываемые обоими, нет! Нет, Андре смотрел на Соню сумрачно, напряженно, словно силясь что-то понять. Узнать ее, Соню. Именно — узнать.

— ...Слышишь меня?! Соня! Эй, очнись! — раздался Сережин голос. Сережа стоял рядом, наклонясь к ней и положив руку ей на плечо. — Бернар приглашает тебя на танго. Сонька, ты сегодня какая-то... Она не выпалась, Бернар. У нее на работе проблемы. Андре, переведи! Она устала.

Бернар... Руки Бернара... Облапив Соню, он пытался поднять ее со стула, огромный, шумный, в белой рубашке, прилипшей к потному телу, с рукавами, закатанными до локтей.

Сережа искал пластинку.

— Строк? Да? Пойдет? — крикнул он. — Сонька, а где у нас аргентинские, помнишь?

Краем глаза Соня отметила, что и Андре поднялся... Бернар что-то говорил ей, держа ее руки в своих жарких лапах. Сейчас они будут танцевать, а Андре что? Будет ходить за ними по пятам? Переводить? Он же переводчик.

Скорее бы он ушел.

Соня устала. В самом деле устала. Сил никаких нет, пусть он поскорее уходит, этот Андре с его синими глазами, сумрачным взглядом исподлобья, с его нелепым русским, «сударыня», «обеденная», «милосердна», «воспомянуть»...

Пусть он поскорее уходит. Он ведь все равно уйдет, так уж лучше бы поскорее.

— Бернар говорит... О, я не знаю... — Андре запнулся. — Следует ли мне перевести... Серж, Бернар спрашивает: помните ли вы, как он вошел вас в Париже на пип-шоу?

— Пип-шоу?

Какое мерзкое, смазанное, скользкое словцо! Лучше бы он вовсе его не произносил. Это тебе не «милосердна». Да, но ведь он переводчик. Он обязан. И Соня спросила:

— А что это?

— Стриптиз, — пояснил Крапивин, вяло перебирая пластинки и поглядывая на часы. — Бордель. Полнейший разврат, Сонечка. Заложил француз вашего благоверного! Это ж надо!

— Бернар! Провокатор! — заорал Сережа, шутливо замахнувшись рукой на хохочущего

Бернара. — Соня, не верь! Соня, он обожает эти мелкие провокации!

Поднимаясь, Соня задела локтем полупустую рюмку, стоявшую на самом краю стола. Рюмка полетела вниз, остатки коньяка выплеснулись на Сонину светлую юбку, какое счастье! Можно наконец выйти из комнаты, есть предлог.

Крапивин все чаще поглядывал на часы. Пора закругляться, слава богу. Уходите. Андре, уходи.

Весело и зло глядя на мужа, Соня сказала:

— Скажи спасибо этой рюмке. Иначе не миновать бы тебе, милый друг, мордобоя.

Зайдя в ванную, Соня прикрыла за собой дверь. В ванной еще пахло свежей известью. Так, кран на полную мощность. Горячей воды уже нет, с утра отключили, сволочи... Соня склонилась над умывальником.

Сильная струя ледяной воды обдала ее фонтаном брызг. Теперь и блузка мокрая, и лицо.

Она подняла глаза, увидела себя в зеркале. Вампирские темные губы на бескровном, бледном лице.

Они еще смеются там, в комнате. Слышно, как они хохочут. Когда же они уйдут?

Дверь приоткрылась. Соня вздрогнула и выпрямилась, увидев в зеркало, что он вошел. Прикрыл за собой дверь. Сделал шаг к Соне и остановился.

Мама была права, когда сказала вчера, как в воду глядела: «Не пускайте французов в ванную!»

Вот, мама,пустила.

А он и разрешения не спрашивал. Да он и не француз. Он почти русский.

Соня крепко закрутила кран, обернулась и спросила:

— Вы... Вы руки хотите помыть? Пожалуйста.

Нужно было бы отойти от раковины, но Соня продолжала стоять, привалившись к раковине спиной и молча глядя на Андре.

Она сразу же успокоилась. Все встало на свои места.

Так и должно было быть. Так и должно было случиться. Как он правильно поступил! Он и должен был войти сюда. Войти, молчать, смотреть на нее. Здесь им никто не мешает.

Вот так и стой, и смотри, это только кажется, что время тянется долго-долго. На самом деле — секунда, минута. И ничего в этом нет неприличного, странного, предосудительного.

Разве есть что-либо предосудительное в том, что мужчине и женщине необходимо смотреть друг на друга? Смотреть друг другу в глаза, не произнося при этом ни слова?

Если им обоим необходимо, то кто их за это осудит?

Да что им людской суд? Пустой звук. Они ничего не слышат.

— Соня, ты где?

Очнувшись, Соня выскочила из ванной, закрыв за собой дверь, спрятав Андре там, схоронив от бдительного ока свекрови.

Мужчины уже поднялись из-за разоренного стола. Бернар шел навстречу Соне, застегивая тесный жилет, опуская вниз, к могучим запястьям, рукава закатанной до локтей рубашки.

— Сонечка, нам пора, — виноватой скороговоркой выпалил Сережа. — Ты не сердишься,

Сонек? Да чушь собачья, Мулен Ружик безобидный... Туда детей водят. Они одетые были, в бикини.

— Кто, дети? — ядовито уточнил Крапивин.

— А где Андре? — спросил Бернар по-французски, и это совсем не сложно было понять.

— Он курит, — нашла Соня. — Кажется, на балкон вышел.

— Я здесь.

Соня оглянулась. Андре стоял у нее за спиной, в дверях комнаты. Он был непроницаемо спокоен. Суховато и учтиво он произнес:

— Прошу простить, пожалуйста. Я готов.

...Еще не кончился бесконечный душный августовский день. Останкино. Семь часов вечера. Жара.

В Останкинский пруд вместились пол-Москвы. Плещутся там, в лягушатнике, хохочут, визжат. Какой-то мужик с бутылкой «жигулей» в руке ходит вдоль кромки пруда, орет с надеждой, очень бодро:

— Лена! Лена-а! Ты не утонула? Мож, ты утонула, Лена?

Фридрих приехал за Соней почти сразу же после того, как ушли французы. Сережа ринулся их провожать, а Соня, не простившись с гостями, спряталась в спальне. Свекровь ей потом попеняла:

— Как тебе, Соня, не совестно? Что люди подумают? Шмыг в комнату, и дверь на засов! Все гулянье псу под хвост. Некрасиво!

Свекрови ведь ничего не объяснишь. Ей же не скажешь: «Полина Ивановна, я боюсь с переводчиком глазами встретиться. Вот с этим, который Андре».

Свекрови не объяснишь. И себе ничего не объяснишь, и не надо. Было и было. Да не было ничего.

— Давай сюда паспорт, — распорядился Фридрих, подведя Соню к бюро пропусков.

А, это они уже в святая святых. Советская телеимперия. ЦТ. Шприц для идеологических инъекций. Соня теперь будет здесь служить. Фридрих по дороге все ей объяснил, все рассказал: про сказочную удачу, про единственную вакансию, лакомый кусочек, все московские эмансипе за это место передрались бы, перегрызлись, перетопили бы друг друга в останкинский пруду за милую душу, оскверняя шереметевские заповедные уголья ненормативной лексикой, у них теперь принято, у эмансипе, матом ругаться.

Так что Соне сказочно повезло, ее берут младшим редактором сменных программ. Не куда-нибудь — в программу «Время»! У Фридриха здесь друг — большой начальник.

— Софья, оклад двести ре! Рокфеллерова ставка! Ты бы хоть спасибо сказала старику.

— Спасибо, спасибо, Феденька, — говорила Соня, идя за Фридрихом бескрайними останкинскими коридорами, пока он безошибочно разматывал-распутывал эти лабиринты. Уверенно шествовал, пузом вперед, южный человек — везде дома, везде хозяин...

Кто-то с ним поздоровался с лакейским подобострастием. Фридрих снисходительно, с барской ленцой кивнул в ответ. Потом шепнул Соне:

— Кто это? Я его не знаю.

— Это он на всякий случай. Он думает, что ты здесь большая шишка, — догадалась Со-

ня. — Честь тебе практически отдает — как старшему по званию.

— Стой здесь, — приказал Фридрих и исчез за массивной начальственной дверью.

Соня прислонилась к белой стене. Все здесь белое — стены, двери, таблички на дверях. Как в больнице. Ну да, шприц. Шприц для инъекций. Многократно продезинфицированное, стерильное, прошедшее санобработку, безукоризненное орудие для борьбы с идеологическим противником.

Соня теперь будет здесь служить. А ей все равно где. Она очень устала.

Она будет здесь служить-жить-поживать.

А он будет жить отдельно от нее. Так, как и жил раньше, жил всегда, прожил сорок лет, проживет еще столько же. На другой земле, в благословенном краю, в своем неправдоподобном, сказочном, нереальном Париже.

Соня ничего не знает про этот Париж. Гарсон, шансон, Елисейские Поля, шербурские зонтики, дожди, зеленая, изумрудная трава, аккуратно подстриженные газоны, сливки к кофе, устрицы, Анук Эме с косульими глазами, француженки, у него красивая жена, молодая, ей лет двадцать семь... И две девочки, маленькие. Откуда Соня об этом знает? Почему она в этом уверена? Надо будет потом спросить, проверить.

Да как она проверит-то, дура набитая, она больше не увидит его никогда. Ни-ког-да...

Дверь открылась. Сияющий Фридрих вывалился из кабинета, приобнял Соню за плечи:

— Софья, знакомься. Андрей Иванович. Андрей, это Софья, рекомендую.

— Здравствуйте, Андрей Иванович. — Соня протянула руку молоджавому дядьке лет ше-

стидесяти, вышедшему в коридор вслед за Фридрихом, ловя себя на том, что ей приятно произносить его имя. Ей лишний раз хотелось произнести имя Андрей.

Андрей — это почти Андре. Какое красивое имя, самое мужское из всех мужских! В нем и сила, и мягкость. Оно звучит уверенно и кратко.

— Пошли в аппаратную, — дружелюбно предложил Соне телевизионщик. — У нас через десять минут эфир на «Орбиту». Посмотришь, как это бывает. На практике.

— Софья, я в театр. Тебя потом домой отвезут, я договорился. — Фридрих чмокнул Соню в щеку, вглядываясь в ее глаза внимательней, чем обычно.

Он уже понял, почувствовал: что-то с Соней творится неладное. Понял, но не спрашивал ни о чем — не тот случай, не время, не место. Он лишь слегка коснулся Сониного носа: мол, держись, не унывай!

На прощание он сказал своему дружку:

— Андрей, два условия. Не клеить. Не вербовать. Нарушишь хоть одно — зарежу.

Это называется режиссерской аппаратной.

В режиссерской аппаратной, маленькой комнате, перед бесчисленными мониторами, за пультом сидели человек пять. Десятки экранов, как пчелиные соты. Вон знаменитая Шатилова, вон всесоюзный душка Кириллов, а здесь — поля и урожай, здесь — КамаЗ, автомобильная вотчина, какой-то кремлевский ревизор явился сюда с инспекцией, он суров, он недоверчиво косится на шеренгу новехоньких грузовиков... Это братья киргизы, это братья узбеки, хлопковое поле... Каспий, рыба, консервный завод...

Голубые экраны, как голубые, аккуратно нарезанные лоскутья — из них здесь сшивают ежедневное типовое одеяло. Казарменное, под которым не согреешься. Но телевизионщики шили это скучное одеяло весело, толково, лихо.

Соню посадили на стульчик возле стены. Она сидела, наблюдая за режиссершей выпуска, за людьми в наушниках. Другие люди с осатанелыми, потными лицами врывались в аппаратную с какими-то листками, вылетали обратно, получив от командирши краткое цеу, хлесткий нагоняй, нещедрую хвалу, приправленную ядом...

Соня вслушивалась в диалоги. Пулеметные очереди коротких фраз, профессиональный сленг, все пропитано циничным цеховым юморком.

Нет, это не Сонин театр с его келейным казарменным духом.

Здесь весело, здесь — жизнь.

Дикторов здесь называли «он» и «она», это Соня сразу уловила. Кириллова режиссерша ядовито-любовно величала «мущ-щ-щина».

Режиссерша, нестарая еще баба в мини, еще очень даже ничего, сидела, забросив ногу на ногу, в наушниках, верховодила всеми, хохмила, покрикивала — королева жизни!

— Внимание на шапку! Мото-ор! Мы в эфире, пошли, ребяташки... Оставьте мне тело мущ-щ-щины! Не режьте мне, изверги, Игорьька! Олег, Болгария по первому стоит! Новороссийск понадобится, вместо киргизов пойдет! Каким пунктом седьмой?... Минск будет шестнадцать «А»! Так, шестнадцать — заставка! Ребятки, не укладываемся... Игорьь! — Это Кириллову, в эфирную аппаратную, рядом: — Посмо-

три, что ты можешь выбросить на ходу. Универсиаду — в помойку. Ребята, культуру режем! Культуру — в помойку! Что у нас там? Музей Островского? Рихтер? Мордовский балет? Островский пусть закаляется. Рихтера оставь, мордву на завтра... Они нам завтра спляшут свой мордовский краковяк... Так, ребята, уходим! Там есть захлест? Вот это он закрывает?..

«...Новыми экспонатами пополнилась на днях экспозиция мемориального музея Николая Островского...» — Знаменитая теледикторша натасканно улыбалась Соне с экранов мониторов, дама без возраста, в извечной своей униформе — алый пиджак, белая блузка.

— Спорт режем! — распорядилась режиссерша, мать-командирша, голова всему. — Наум, спорт режешь, только пловчихи и мини-футбол.

Наум Дымарский, спортивный вещала, импозантный красавец в седирах, уже появился на мониторах. Он поправлял широкий пижонский галстук и нервно откашливался в кулак.

— Вроде пронесло, — пробормотал Андрей Иванович, стоявший рядом с Соней. — Чисто вошли — чисто уходим...

Соня подняла на него глаза — лоб, переносица, впалые щеки его были усеяны крупными каплями пота. То ли от жары, то ли от напряжения.

— Аня, спорт! — Режиссерша перебросила ногу на ногу и вытянула платочек из-под манжета кофточка.

Здесь всегда жарко, наверное. И осенью, и зимой. Получасовая телекоррида. Массовый выброс адреналина, короткая яростная атака, венчаемая меланхолическим заморским шлягером «Над Ла-Маншем мокрый снег».

Над Ла-Маншем мокрый снег, а здесь у всех ладони мокрые. И лбы, и спины. Пекло. Боевая готовность. Кровь кипит в жилах.

— ...Аня, спорт!

— ...Чисто уходим...

И дикторша, бедняжка ясноглазая, тоже живой человек, со всеми бывает:

«С новостями спорта вас сегодня познакомит Николай... — Она еще улыбалась, но улыбка деревенела, склеивала ее ярко накрашенные губы. — ...Островский».

— А-а-у-у-й!!!

Общий вопль отчаяния и скорби. Смертный крик взмыленной, мокрой, обессиленной стаи, честно добежавшей до финиша, — вот он, в шаге, в полуша...

И рухнули в полушаге от него. Багровыми потными мордами — в бурый, пахнущий тальком и резиной, пыльный песок беговой дорожки.

— Сглазил! — Андрей Иванович сплюнул и выматерился в сердцах.

Но теперь они уже хохотали. «С новостями спорта... Николай Островский...» Какие-то юнцы катались по аппаратной, корчась от смеха. Пожилая редакторша выпуска сползла по стенке, закрыв лицо руками:

— Аня! Сука! Счас нам главный покажет... как закалялась сталь!

— ...чтобы не было мучительно. За бесцельно, — процедила режиссерша и крикнула в микрофон: — Игорь, режь погоду! Москва и Ленинбург!

Она сдернула наушники с примятых темных волос, влажно блесневших, — жара, пекло. Температура прямого эфира, температура кипения, белого каления, сто сорок по Цель-

сию. Но уже звучит «Над Ла-Маншем», «Ливерпуль—Манчестер», несоветская колыбельная советской новостной программы.

Мокрый снег, Ла-Манш, Париж..

— Пойдем. — Андрей Иванович протянул Соне руку.

Париж, Андрей, Андре. Мокрый снег. Там, наверное, прохладно. Дождь идет. Может быть, он уже завтра туда вернется, прилетит домой из Москвы, чужой, постылой, жаркой. Обнимет своих дочерей...

— Соня! Ты слышишь? Мы на «ты», да? Пойдем ко мне, поговорим. Потом я тебя представлю руководству.

...обнимет дочерей. И жену. Они его встретят в аэропорту. Как же он называется? Орли? Ле-Бурже? Его жена припаркует свой «пежо» на автостоянке в Ле-Бурже. Смешно. Как много французских слов осело в памяти!

— Соня, стой! Это нужно переждать, пережить, как стихийное бедствие.

В студийном коридоре Андрей Иванович легонько подтолкнул ее к стене и встал рядом. И вся эфирная стая — режиссерша, редактора, мальчики с монтажными листами, зареванная дикторша, Кириллов, вытирающий ей слезы бумажной салфеткой, — все они стояли здесь же, рядом, повернув, как по команде, головы вправо.

Из глубины коридора, из распахнутых дверей сановного кабинета только что вылетел Главный Начальник. Хозяин эфира. Теперь он приближался к своей стае, почему-то держа в руке учрежденческий стул. Он держал его за массивную ножку, стул был увесист, а начальник крепок и дюж.

— Убьет! — прошелестела дикторша одними губами. Щеки у нее были в черных подте-

ках — это тушь, паршивая советская тушь, уж дикторшам центральным могли бы выдать по патрончику импортной водоустойчивой.

— М-мать твою! — огласил останкинские белоснежные своды громовой начальственный рык. Не замедляя шага, начальник швырнул стул на пол.

— Убьет, выгонит, — простонала дикторша.

— Отобьем. — Кириллов скомкал в руках бумажную салфетку.

Два молодцеватых секретаря, сопровождавших разъяренного босса, подняли стул, едва не столкнувшись гладкими молодыми лбами.

Хозяин эфира выдернул стул у них из рук и продолжил свой путь, потрясая стулом, неотвратимо приближаясь...

— М-мать твою!

Стул снова полетел наземь. Секретари нагнулись к нему, соревнуясь в сноровке.

Двери кабинетов и аппаратных бесшумно приоткрывались. Чьи-то лица, искаженные страхом, снедаемые любопытством, на мгновение высывались из узких щелей и тотчас исчезали: чур меня, минуй нас пуще всех печалей и барский гнев...

— М-мать твою! Где она?! Где выпускающий?!

...и барская любовь.

Стул снова рухнул на стерильный пол общесоюзной дезинфекторской.

— ...Я им сейчас покажу, мать твою, Николая Островского! Счас увидят у меня Павлика Морозова! Гулю Королеву!

Он был уже совсем рядом. Громовой рык, зверская рожа, галстук съехал набок, крепкая, поросшая рыжим мхом лапа снова сжала ножку стула.

Соня вышла вперед. Терять ей было нечего, она здесь никто, ничто. Ей ничего не страшно.

— Запороли эфир, выгоню всех, к сучьей матери! — орал Хозяин. — Покажу вам Александра Матросова!

Вот-вот. Амбразура. Соня закрыла собой полумертвую от страха дикторшу и сказала, глядя в хозяйские очи, мутные, с расширенными зрачками:

— Да будет вам. Они всей стране настроение подняли. Минуты на три как минимум. Вся страна смеется.

— Выгоню, — затверженно повторил Хозяин эфира, тупо глядя на Соню.

Соня отняла у него стул, поставила на пол и села. Эфирная стая понемногу отклеивалась от стен, жадно наблюдая за Соней и Хозяином.

— Им премию нужно дать, — добавила Соня. — Три минуты всенародного ликования. Это мало кому удастся, разве что Райкину.

— Это кто? — спросил Хозяин, глядя на Сонины ноги.

— Это у нас... — заблеял Андрей Иванович. — Даже не знаю... Планировали на... на... Встань! Встаньте, Софья, как вас... На младшего редактора сменных... Теперь, конечно, вряд ли мы...

— Смелая, — миролюбиво отметил Хозяин.

Андрей Иванович замер с открытым ртом. Соня встала, и тотчас хозяйские секретари рванули стул на себя, еще чуть-чуть — разодрали б его пополам.

— Зачем же младшим? — Хозяин уже остыл, выпустил пары и теперь рассматривал Соню с любопытством. — Уж не молодка. Редактором ставь, сменным редактором. Давай приказ готовь, я подпишу. На дневной выпуск.

...Все никак не кончится, не кончится этот бесконечный бредовый день.

Теперь обмывали Сонину победу, чествовали Соню — укротительницу монаршего гнева, отмечали Сонино вступление в ряды. Сидели плотным кружком вокруг столика в вечернем останкинском баре.

Соня слушала, кивала, отвечала, соглашалась, пила вместе со всеми теплое шампанское из кофейных чашек...

Ей хотелось домой. Лечь и уснуть. Она смертельно устала.

И ей не хотелось домой. Не хотелось видеть Сережу, не хотелось открывать дверь в ванную, где несколько часов назад этот французский русский...

Да не было никакого французского русского, нужно забыть об этом, ничего не было! Забыть. Так будет вернее и проще. Над Ла-Маншем мокрый снег, а в Москве плюс двадцать девять, девять часов вечера. Все.

— Софья Владимировна?

Соня подняла голову.

Мужчина ее лет, среднего роста и какой-то... неспортивный, узковат в плечах, немного сутулится. Еврей. Африканского, арапистого, негроидного разлива. Лиловый негр — вот такого оттенка кожа. Бриться приходится по пять раз на дню, все равно к вечеру весь в щетине. Губы в пол-лица, вывороченные, крупные, бледные. Глаза навывкате. Голос низкий, роскошный брутальный рык, хрипотца потомственного курильщика.

Кто таков? Не слишком ли много для одного дня?

Не слишком ли часто она сегодня оборачивается на незнакомый мужской голос? Слиш-

ком, слишком. Но ведь это такой день. Такой день раз в жизни случается. И не во всякой жизни.

— Да, это я, — кивнула Соня, зачем-то вставая.

— Вадим. — Незнакомец протянул ей руку. — Мы можем выйти на пару слов? Рая, — он наклонился к режиссерше, — прости, солнышко. Я ее на пару минут украду. Верну в целости. У нас приватный разговор.

Соня вышла за ним в коридор. Не оглядываясь, Вадим двинулся вперед, и Соня покорно пошла за ним мимо белых дверей с белыми табличками. Ее ведут знакомить с руководством. Она ни минуты в этом не сомневалась.

Сколько здесь лестниц, лифтов, сколько развилок, поворотов, и все белое, белое, белое... Глаза болят. Почему он остановился на лестнице?

— Я от Андре, — негромко сказал Вадим.

Так не бывает. Соня зачем-то спустилась на две ступеньки вниз и тут же вернулась обратно.

Так не бывает. Андре, о котором она помнила каждую минуту, каждую секунду все эти несколько часов. Андре, с которым она десятки раз простилась, мысленно простилась навсегда. Андре, которого, как ей уже казалось, и не было вовсе, не человек — фантом, растаявший в изумрудной глянцевой дымке, аэрофлотовско-интуристовской, рекламной... Андре, Андре, Андре... Этот Андре никуда не делся.

Он в Москве. Он еще здесь. Он сработал на редкость оперативно. Он прислал Соне гонца.

Этого не может быть! Так не бывает. Здесь подвох. Здесь опасность. И Соня произнесла быстро и четко:

— От какого Андре? Я никакого такого Андре не знаю.

Вадим едва заметно поморщился. Соня его разочаровала. Он и не скрывал этого.

— Вы меня извините, — сухо вато отчеканил он, — у меня времени в обрез. Мне велено передать, я выполняю. Он вас будет ждать завтра в три часа дня у Главпочтамта на Кирова, у главного входа.

Здесь подвох, подвох... Все советские страхи, о которых Соня и не ведала, над которыми сама бы посмеялась, не случись этого с нею теперь, все они жили в ее бедной душе.

— Хорошо, допустим. — Вцепившись в перила, Соня смотрела на Вадима. Умное желчное лицо. Еврей. Ну и что с того, что еврей? Она же не антисемитка, у нее лучший друг — Фридрих. А, так ведь это Фридрих ее сюда привел. Сговорились... Бред! — Хорошо. Допустим, я знаю Андре. Мы сегодня познакомились. Но как он... Как он узнал, что я здесь, в Останкине? Как вы меня нашли?

— Элементарно. — Вадим пожал плечами, не скрывая раздражения, демонстративно поглядывая на часы: дескать, дура ты, баба, перестраховщица. — Андре позвонил в ваш театр. Придумал какой-то нейтральный предлог. Ему сказали, что вы там больше не работаете, что вы как раз отправились в Останкино. Устраиваться редактором в информашку. Тогда Андре позвонил мне. Я его приятель. Я здесь работаю, на иновещании. Он попросил, чтобы я передал вам его просьбу.

— Я вам не верю, — объявила Соня. В голове у нее все смешалось — страх и радость, смутный страх и неистовая, растущая с каждой секундой радость: он здесь! Он в Москве! Он ее ищет. Он назначил ей встречу.

Но Соня упрямо повторила:

— Я вам не верю. Это шантаж. Мне что, милицию вызвать?

— Тогда уж сразу гэбэшников, — усмехнулся Вадим, брезгливо кривя полные бледные губы. — Возьмите, я тут все записал на всякий случай. — Он вынул из кармана пиджака вчетверо сложенный листок бумаги и вложил в Сонину руку. — Между прочим, улика против меня, — едко добавил он. — Вещдок. Знал бы, что вы такая законопослушная, левой рукой написал бы.

И он сбежал вниз по лестнице, больше не сказав ей ни слова, даже не попрощавшись.

Соня развернула листок. Мелким аккуратным мужским почерком, ни запятых, ни точек, как в телеграмме: «Завтра три часа дня Главпочтамт у главного входа».

*16 августа 1983 года*

Глухой ровный гул. Соня в самолете. Куда она летит? Где Сережа, Сашка?

Она летит одна. Куда? Зачем?

Рядом с ней, в соседнем кресле, сидит незнакомый мужчина. Глаза его закрыты, он спит и ровно дышит во сне. У него азиатское, скуластое маленькое лицо, тонкие губы плотно сжаты. На коленях лежит газета, это «Санди телеграф», Соня знает.

— Это за первое число? — спрашивает она и тянет руку к газете. — Вы позволите?

Почему она ведет себя так бесцеремонно? Зачем задает ему этот вопрос, он же не слышит ее, он спит.

— Да, конечно, — отвечает он, не открывая глаз. — Но вы не успеете. Мы падаем.

— Мы падаем?

— Да, — повторяет он без выражения, на одной ноте, по-прежнему не открывая глаз. Видно, как дрожат его желтоватые тонкие веки. — Мы падаем. Падаем. Да.

Соня проснулась и резко села на постели. Рубашка — хоть выжимай. Балконная дверь открыта настежь, комната залита солнцем. Полдень. Знойное марево.

Возле кровати стоял Сашка, встревоженно уставясь на Соню:

— Мать, ты здорова? Ты даже не стонала... Ты как-то вскрикнула жутко. Все в порядке, да?

— Выйди, — коротко велела Соня.

Сашка вышел, и она вскочила с постели. Скорее под душ! Черт, вода же холодная, горячую отключили. Ничего, ничего, вот пусть тебя холодным душем окатит, ледяной водицей обожжет.

Двенадцать часов дня. В три часа он будет ждать Соню у Главпочтамта. Это рядом, на Кирова, пятнадцать минут ходьбы.

Она никуда не пойдет. Разумеется, не пойдет.

Сашка сидел на кухне и терзал тупыми ножницами треугольный бумажный пакет, пытаясь открыть сливки.

— Ты ел? — спросила Соня, войдя. — Дай я открою. У тебя репетитор во сколько?

— В четыре. — Сашка посмотрел на нее с любопытством. — Мать, ты халат наизнанку надела.

Соня поставила разогреваться котлеты, стараясь не смотреть на часы. Сколько всюду часов! Сережа любит, повешал везде, справа — дурацкие, с пошлейшей кукушкой, безъязыкой дурындой, всегда некстати, невпопад с оглу-

шительным треском выскакивающей из своего логова.

Половина первого. Слева еще одни часы, под гжель, Сережа обожает гжель...

Двенадцать тридцать две. Соня никуда не пойдет, ни к какому Главпочтамту.

Она сняла сковородку с огня и отрывисто произнесла:

— Сам положи.

— Ты куда-то едешь? — крикнул Сашка ей в спину.

— Нет. — Соня уже стояла в комнате у открытого платяного шкафа и трясущимися руками перебирала свои тряпки.

Она только попросит этого Андре, чтобы он оставил ее в покое. Нет, не попросит — прикажет. Чтобы больше никогда... Все это не имеет смысла. И зачем вмешивать чужих людей? Какой-то Вадим, ядовитый, недобрый, себе на уме...

Можно надеть вот эту юбку. И эту блузку... Но еще два часа в запасе, даже больше.

Как хорошо, что Сережи нет дома! И вчера, когда Соня добралась до дома в половине одиннадцатого ночи, муж уже спал. Он устал. Он много выпил.

Французы. Французик из Бордо. Куда она собралась?! Она ополоумела. Ей сорок три года. Она замужем.

— Как котлеты?

Соня вернулась на кухню, уже переодевшись: светлая юбка, светлая блузка, новые лодочки, купленные у Ирки по случаю.

Сашка поперхнулся чаем:

— Ты чего вырядилась? Ты же никуда не собиралась вроде бы. Ты куда?

— Я никуда. — Соня надела фартук, крепко-накрепко затянув завязки узлом. — Я сейчас бу-

ду суп варить. Борщ. Тебе во сколько к репети-  
тору?

— Ты уже спрашивала. — Сашка смотрел на нее сострадательно, как на больную. — Какой еще борщ? Когда ты борщ-то варила? И свеклы у нас нет.

— А зачем нам свекла? — тупо спросила Соня, глядя на часы с полоумной кукушкой. Соня сама теперь была вроде этой кукушки с испорченным механизмом: все невпопад, все нехвата-  
ти. Но время кукушка показывала верно. Без пяти час. — Свекла зачем?

— Мать, борщ — это свекла, — вздохнул Сашка. — Мать, посмотри на меня. Ты в себе? Может, валерьянки выпьешь?

— Я в себе, — ответила Соня и вышла в коридор. Туфли немного жали, она еще ни разу их не надевала. Ничего, как-нибудь доковыляет до Главпочтамта. Уж за два-то часа дохромает до улицы Кирова.

Она открыла входную дверь. Французик из Бордо. Ей сорок три года. Она замужем. У нее сын. Вот это она и скажет Андре. Так и скажет: «Мне сорок три. Я замужем. Что вам от меня нужно?»

— Мать! — окликнул ее Сашка.

Уже стоя на лестничной площадке, Соня оглянулась.

— Ты фартук-то сними, — насмешливо посоветовал сын. — Дай я тебе помогу, ты сама вряд ли его развяжешь.

Час двадцать пять. На уличных часах, у перекрестья Сретенки и Бульварного, — час двадцать пять. Еще полтора часа.

Какая жара! Проклятая жара, когда она кон-  
чится?!

Что же делать?

Соня стояла посреди Сретенки. Туфли жали, блузку эту Соня надела совершенно необдуманно, синтетика, помесь нейлона с поролоном, кожа не дышит, жарко, жарко... Что же делать?

Если она сама не в состоянии с собой справиться, если она, взрослая, старая баба, не в состоянии себе запретить, приказать: «Не ходи! Не смей!»... Если она сама не в состоянии, пусть ей тогда поможет кто-нибудь... что-нибудь...

Вон мимо, от площади Дзержинского, еле-еле ползет сорок восьмой троллейбус. Надо быстро перейти через улицу, успеть к остановке, вскочить на подножку и уехать отсюда подальше. Куда там идет сорок восьмой? На ВДНХ? Уехать на ВДНХ, сесть там где-нибудь посреди этой всесоюзной мичуринской грядки, хоть у фонтана «Дружба народов», прямо на горячий, нагретый солнцем бортик. Снять тесные туфли, опустить ноги в теплую зеленую воду и неподвижно сидеть два часа. Остывать. Успокаиваться. Тупо смотреть на позолоченную бабу с копной и с серпом.

А этот, с синими глазами, постоит-постоит у Главпочтамта и тоже уйдет.

Никакой дружбы народов у нас с тобой, Андре, не получится. Не надейся. Сэ домаж. Очень жаль, но — никакой.

— Сонь, а я тебе только что звонила! Сашка сказал, ты ушла. Я тебя в окно увидела.

Это Ирка. Выскочила из своего коммиссионного, она здесь завсекцией, здесь они с Соней и познакомились пару лет назад. Дачное соседство — это потом уже Соня устроила, сосватала Ирке мазанку по случаю.

— Соня! — ликующе сообщила Ирка. — Он не в Афгане! Я вчера письмо получила.

О ком это она? А, о сыне.

— Слава богу. — Соня приобняла ее, и они пошли рядом.

В Иркином магазинчике, знаменитой сретенской скупке, было тихо. Бабы сосредоточенно перебирали уцененное шмотье с чужого плеча. Резко пахло дешевыми духами, ветхой вискозой, старыми шубами, облезлыми лисами, старушечьей цигейкой.

— Ира, закрой меня где-нибудь, — внезапно попросила Соня. — У себя в кабинете, что ли. На час. И не выпускай, даже если я тебя попрошу.

— Пошли, — кивнула Ирка, не удивившись. Она сегодня была веселая, легкая, на подъеме. Сын невредим, он в безопасности. — Пошли, запру, как скажешь. Я тебя даже связать могу на радостях, хочешь? К батарее тебя прикую, птичку мою. Бога ради! — И она счастливо рассмеялась, ведя Соню в свой кабинетик.

В кабинете у Ирки вечно толклись какие-то пожилые перекупщицы, на столе всегда лежал польский журнал «Урода» за восьмидесятый год... Он и сейчас тут валялся, а вот перекупщиц, слава богу, не было.

Соня опустилась на стул. На казенных настенных часах четырнадцать двадцать. Через сорок минут Андре подойдет к Главпочтамту. Будет ждать ее, Соню. Не дождется.

— Не передумала? — Ирка подбросила связку ключей на ладони. — Закрывать?

— Закрывай, — кивнула Соня.

— Но расскажешь потом зачем?

— Расскажу. Закрывай. И уходи. Через час откроешь.

— Мадри-ид! — протянула Ирка, повнимательней приглядевшись к подруге. Соня сидела перед ней, обхватив ладонями плечи, бледная, собранная, сама на себя не похожая.

Ирка закрыла дверь и ушла.

Четырнадцать тридцать четыре. Журнал, что ли, полистать? «Урода». Вся жизнь твоя, Соня, уроды. И сама ты уроды. Он уже стоит под колоннадой старинного московского почтамта, рассматривает узорные стены китайской пагоды, чайного магазинчика, где раз в неделю Соня покупает свежемолотый кофе, двести граммов, не больше. Такое наслаждение — осторожно приоткрыть тонкий шуршащий пакетик и вдохнуть...

А других никаких наслаждений ты, уроды, не знаешь.

Четырнадцать сорок две. Соня вскочила со стула. Что, в дверь кулаком молотить? Сначала — закрой меня, потом — отвори немедленно? Стыдно. Что же делать?

Окно открыто. Этаж первый — не расшибешься. Оконный проем затянут тонкой проволочной сеткой.

Размышляя, Соня выдвинула, один за другим, разошедшиеся ящики Иркиного старого двухтумбового стола и на дне самого нижнего ящика нашла огромные портняжные ножницы.

Остервенело, с каким-то ожесточенным азартом она принялась рвать в клочья проволочную сетку тупыми тяжелыми ножницами. Ирка ее убьет.

Четырнадцать пятьдесят.

Соня прыгнула вниз, на пыльную срезенскую траву, выгоревшую от солнца, и высо-

чила на Сретенку. Пересекла ее на красный свет — гори все огнем.

Надежда Константиновна Крупская, бронзовая Надя, замерла посреди бульвара, преградив Соне путь. Соня решительно обошла ее справа. Теперь — бегом, опрометью, иначе не успеть!

Андре стоял у ступеней центрального входа. Мимо шли люди, поднимались по ступеням, кто-то нечаянно толкнул Андре, он отошел в сторону. Взглянул на часы.

— Женщина, что вы встали посреди улицы?

Соня вздрогнула. Она стояла посреди узкого тротуара, и людская толпа огибала ее справа и слева. Очнувшись, Соня отошла к стене китайского чайного магазинчика. Ее отделяло от Андре шагов тридцать. Полоса тротуара. Полоса проезжей части, залитая солнцем. Больше ничего.

Андре огляделся по сторонам. Увидел Соню, улыбнулся ей и осторожно приподнял правую руку ладонью вверх.

Соня кивнула ему и пошла вперед по своей стороне улицы, на мгновение обернувшись к Андре и приказав ему глазами и еще одним кивком: следуй за мной.

Она шла вперед, пробиваясь сквозь толпу, — в этот час здесь всегда людно. Она шла к площади Дзержинского, натываясь на чьи-то спины, едва не въехав лбом в допотопный плотняный зонтик, который какая-то старушенция воздвигла над головой. Божий одуванчик пытался спастись от пекла.

Соня оглянулась — Андре послушно шел за ней по противоположной стороне улицы. Со-

не подумалось: всякий выделит его взглядом, всякий безошибочно определит: белая ворона.

На нем были настоящие джинсы, какой-нибудь «Левис», Соня не знала названий, это Сашкина спархия. Сашка мечтал о настоящих, американских, донашивая польские, с боем купленные Соней в магазине «Рабочая одежда», три часа в очереди, номерок на ладони «78», как у лагерницы. Чернильный карандаш, Соня потом неделю его отмывала...

На Андре были настоящие джинсы и джинсовая рубаша. Но дело было не в том, как он одет. Он по-другому держал спину, у него была другая походка — свободная, слегка разболтанная, вольная, вразвалочку. Так у нас одни кавказцы ходят, но они все равно совки, они тутошние, они все равно на привязи, в общем загоне. А Андре жил на воле.

Вот он и шел по улице как свободный человек, как европеец, купивший билет... Ну не в зоопарк, не надо обижать родные осины. Не в зоопарк — так в кунсткамеру. Шел себе, не теряя Соню из виду, но успевая при этом рассматривать толпу, усталые, будничные лица, разношенные сандалии, ситцевые сарафаны в серый горошек, блеклых расцветок, цвета горохового киселя, цвета гречневого отвара...

Он смотрел по сторонам доброжелательно и сочувственно. Соню это задевало. Он изучал вывески: «Рыба», «Кулинария», «Домовая кухня», «Пуговицы»... Соня шла вперед, то и дело оглядываясь на него, красивого, рослого, в этой светлой просторной диковинной рубашке с расстегнутым воротом, и ей хотелось крикнуть с дурацким вызовом: «Да, рыба! Да, кулинария! Да, пуговицы! И что?!»

Она резко перешла улицу и, свернув в переулок, оглянулась. Андре следовал за ней, сохраняя дистанцию шагов в пятнадцать.

Послушный какой, не нарушает правил игры.

Армянский переулок... Как здесь тихо! Ни души. Совсем рядом — людское море, давка, потные спины, автомобильные сигналы, пыль, теснота, гомон голосов...

Здесь тихо. Слышно, как стучат Сонины каблуки по асфальту. Уже почти четыре. Люди попрятались от жары. Сонное, знойное марево. Густой, жаркий воздух московской сиесты. Кажется, можно его резать ножом, этот воздух, как масло, он будет лениво расслаиваться на блестящие рыхлые сливочные слои.

Соня вошла в телефонную будку и, сняв трубку, повернулась к Андре. Тот замер на противоположной стороне улицы, выжидательно глядя на Соню. Она еще раз огляделась. Ни души. Тогда она сделала ему осторожный знак рукой — иди сюда.

Андре пересек улочку. Чем ближе он подходил к Соне, тем быстрее поднимались со дна ее бедной души прежние раздражение, прежний страх. Что она делает?! Это плохо кончится, нужно остановить, пресечь все это немедленно!

Андре подошел к ней вплотную. Впервые Соня видела его так близко при свете дня, и этот ослепительный солнечный свет был великодушен к Андре.

Но этот свет был безжалостен к самой Соне.

Да, так ей казалось, и сейчас она думала только об этом. Вот красивое мужское лицо, выразительное, смуглое, загорелое. Это не подмосковный дачный загар. Это Ницца, ка-

кой-нибудь Биарриц, Канны, Лазурный Берег... Вспоминай эти звонкие титулы чужой жизни, неведомой, недостижимой, вот он стоит! Он — оттуда.

Он смотрел на Соню. Яркий дневной свет был безжалостен к ней, к ее морщинкам, подвядшей у глаз, бледной коже, к шее, трудно назвать эту шею безукоризненной, эту кожу — молодой и гладкой, правда?

Вслух Соня жестко произнесла:

— Я проверяла, нет ли за вами «хвоста».

— «Хвост»? — Андре оглянулся назад и хлопал себя ладонью по пояснице. — Был, да. Я его отрезал. Не очень удобно летать Эр Франс. Ничего, будет расти новый.

Шутник. Резвится. А ты чего злишься? Не заводи себя! Вот как он на тебя смотрит. Это честный мужской взгляд. У него праздник. Ты пришла — он этому рад. Не порти ему праздник. Твоя душа стиснута страхом, как ноги — этими тесными новыми лодочками-колодками.

— «Хвост» — это по-русски «шпион». — Соня старалась не смотреть в его смеющиеся глаза. — Следить. Слежка. Вы понимаете?

— О! Вы опытный конспиратор. — Андре осторожно отобрал у нее телефонную трубку и опустил на рычаг.

— Я думаю, у вас опыта побольше. В этом отношении. Зачем вы ко мне того типа подослали в Останкине? У вас везде свои люди, да? — Произнося все это, она сама себе была отвратительна, но остановиться не могла.

— Это Вадим, — удивленно пояснил Андре. — Мой... Как это... Мой кореш. Да? Я подумывал, что я сам не могу звонить в твою работу... Твой дом. — Он не обиделся, он все по-

нимал. Или не все, но так или иначе пытался ее успокоить. Вот он осторожно коснулся ладонями Сониных плеч. Какие у него горячие руки!

Она чувствовала жар его ладони так, будто плечи ее были обнажены, будто между его кожей и ее кожей нет этого плотного синтетического заслона в мелкий косой рубчик...

Соня дернулась, будто ее ударило током:

— Что вам от меня нужно?!

— Соня... — Андре убрал руки. — Соня, мы можем пойти... Ресторан? Кафе? Бистро?

— Вам мой отец нужен, да? — перебила его Соня. — Вы меня вербовать собираетесь, правда? Мой отец работает в «ящике»...

— Где?! — искренне изумился Андре. — Бедный! — И он сочувственно поцокал языком. — Я надеюсь, это большая коробка? Ему там не тесно? Ему достает кислород?

— Достает, достает. — Соня вышла из будки. Надо возвращаться. Пора уходить.

Уходить... Ну и куда она ковыляет на измученных, закованных в румынские колодки ногах? Она бежит от себя самой. Далеко не убежит.

— Это русский метод, да? — Андре не отставал от нее ни на шаг. Ему надоело собственное послушание, дистанция четыре метра. — У вас сажают работать в бочку, думают, будет умный, как Диоген?

Такси! Какая удача! И Соня с такой решимостью и силой выбросила правую руку вперед, что ей могли бы позавидовать все доблестные солдаты вермахта, салютующие своему Адольфу.

Такси промчалось мимо. Андре заговорщически подмигнул Соне:

— Этот не остановится. Это наш агент. Он помчался... как это... кинуть шифровку в Интерпол.

— Прекратите меня преследовать! — Соня повысила голос. — Вы кто? Что вы делаете в Москве? Почему вы не уехали с этим... как его...

— С Бернаром, — помог ей Андре. Синие прованские глаза его смотрели на Соню мягко, сострадательно, насмешливо.

Ему было жаль ее. Он все понимал. Наверное, его предупреждали, его инструктировали: эти русские, они всегда боятся подвоха. Они боятся. Даже если она перед тобой в чем мать родила, — знай, Андре: на ней смиренная рубашка, рубашка-невидимка, и рукава у рубахи завязаны сзади, узлом на спине. Морским узлом, крепким.

— Я в Москве два месяца, — пояснил Андре. — Я репортер... журналист. Я здесь работаю корпункт «Юманите». У Бернара захворал его переводчик. Бернар просил меня о посильном одолжении. Я переводил. Бернар уехал. Я остался.

«Захворал»! «Посильное одолжение»! Привет от русской бабушки-эмигрантки.

— Ты мне понравилась, — очень просто и искренне продолжал Андре. — Ты вошла — я тебя увидел, подумал: знаю давно. Всегда. Ждал. Я тебя узнал. Это странно. Я не могу отвязать... избавить себя. Это напасть. Да? Напасть.

Соня молчала. Он сделал неправильное ударение, Соня мысленно его поправила. Как ни скажи, куда ни ударь — страшное слово. Бабушкино старое русское слово. «Напасть». Чума, мор, хворь, война, гибель. И выхода нет,

и надежды на спасение. Одна чернота впереди, тупик, тупой удар в глухую стену.

— Уходите, — решительно произнесла Соня. — И больше не ищите меня, даже не пытайтесь.

Наконец рядом остановилась машина.

— Бедная Соня! Ты тоже живешь в ящике, как твой бедный папа, — вздохнул Андре, достал бумажник и наклонился к таксисту.

Интересно, чем он будет с ним расплачиваться? Франками? Бабушкиными керенками? Нет, у него полно советских рублей. «Юманите», аккредитация.

Уже сидя в машине, Соня оглянулась назад.

Андре стоял там, за пыльным стеклом, и смотрел ей вслед. Улыбнувшись, он обрисовал руками большой воображаемый ящик и показал, как она там, внутри, сидит, согнувшись, свернувшись, обхватив дрожащие колени. Как эмбрион, как недочеловек.

Сережа, полуголый, в майке и тренировочных штанах, сидел на кухне и стучал на пишущей машинке. Свои большие белые плоские ступни (плоскостопие — и армейская лямка не натерла Сережину интеллигентскую выю) он поставил в таз с холодной водой.

— Жара, — пояснил Сережа, подняв глаза и увидев Соню. — Погибаю. Ласты держу в холодной воде. Я туда льду нарубал из морозильника... Где ты была? В этом ЦТ своем?

Соня молча стояла на пороге кухни, не решаясь войти.

— Ты не казни меня взором-то! — неожиданно взорвался муж и снова забарабанил по многострадальным, облезлым клавишам, кося близоруким глазом в черновик. — Да! Я был!

Я был на этом чертовом стриптизе. И что? Это же не бордель. Я писатель! Какой-никакой... Я пошел с точки зрения познавательной. Да мне смотреть на них было противно... Прекрати дуться... Какие-то древние, дряблые шлюхи...

Господи, о чем это он? А, это он о вчерашнем. Он думает, будто жена молчит и глазами боится с ним встретиться, потому что Бернар вчера проговорился, брякнул про пип-шоу. Да Соня и думать об этом забыла!

Вчера — это другая жизнь. Другой век. Доисторическая эра.

Но Сережа еще там. Он живет в том, доисторическом измерении. Им теперь друг до друга не докричаться, не дотянуться. Их уносит в разные стороны, разносит стремительным мощным течением.

Прощай, Сережа.

Но он же сидит рядом, всего в пяти шагах, стучит на своей дохлой машинке и просит простить его, забыть о пожилых французских стриптизерках, не гневаться, не дуться.

Он здесь — и его уже нет.

Прости, Сережа.

Соня развернулась и направилась к входной двери.

— Ты куда? — крикнул муж ей в спину.

— В театр, — не оглядываясь, ответила Соня. — Дела сдавать. Меня там ждут к восьми, я договорилась.

Час пик. Температура кипения. Московское метро, московская духовка. Все крышки захлопнуты, двери задраены, заслоны — наглухо.

«Осторожно, двери закрываются», — и люди стоят спина к спине, сплюсненные друг с другом.

Бедные люди! Отпусти их на волю, московское пекло! Смилуйся над ними, государыня московская сушь-жара! Пожалей их, безжалостный август, они хотят на волю, в прохладу, к серому облачному небу сентября. Пошли им дождь, огненный август, пощади их!

Губы их пересохли, кожа горит и вздувается волдырями, вон как у дядьки, стоящего впереди, — короткая мощная кирпично-красная шея облезла, кожа полопалась, свисая какими-то белесыми лоскутьями. Ужас!

Вагон тряхнуло, и Соня уткнулась лицом в эту чужую облезлую шею, сзади на Соню напирали чьи-то потные, горячие полуголые тела. Давильня. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция “Проспект Маркса”».

Душно. Кружится голова. Всего только час назад Андре был рядом. Он в Москве. Он здесь. Что же делать? Если бы он улетел, исчез, растаял, унесенный в облака Эр Франс, было бы легче. Соня поплакала бы, повспоминала... И успокоилась. Но он рядом. Он здесь. Господи, что же делать?

На «Проспекте Маркса» в вагон ввалилось еще человек тридцать. Могучий пресс, сплетенный из живых беспомощных тел, впечатал Сонино живое, беспомощное тело в человеческое месиво, уплотняющееся с каждой секундой. Чьи-то затылки, плечи, локти, животы и спины... Соня глухо вскрикнула. Потом ее окутала темнота, голоса поплыли, их заглушал протяжный, ровный, тоже уплывающий, уже почти неслышный звон...

Соня куда-то падала, медленно, в темноту, в пустоту, на самое дно... Тело легкое, невесомое, оно тает, растворяясь в этой ласковой,

теплой, ватной тьме... Это совсем не страшно. Она падает.

«Мы падаем»...

Желтолицый азиат из Сониного сна. Да как же она о нем забыла? Кто он?

«Мы падаем, вы не успеете. — Его тонкие желтые веки дрожат. — Мы падаем. Еще долго. Но вы не успеете».

— ...А я в метро сейчас сознание потеряла. Жара, давка. Хлопнулась в обморок, представляешь?

— Сонька, не пугай меня! — Фридрих обнял ее, затормошил, придиричиво оглядел. — Ты бледненькая.

Потащил через театральный вестибюль к себе, в администраторскую. Тут у Фридриха колдовские восточные травы да специи, бадьян, тимьян, барбарис. Фридрих в этом дока. Восточная кровь, что ж вы хотите? Он в свои шестьдесят три, когда иной его сверстник славянин ковыляет в собес, по-стариковски семеня, опираясь на палку, — Фридрих в свои шестьдесят три еще орел, еще о-го-го, мужская статья, мужской взгляд, никакого нафталина.

— Пей, Софья. И коньячку полтинничек. Не помешает.

— Меня Буревестник ждет, — возразила Соня, сжимая ладони на горячих боках чашки с травяным настоем. — Я ему дела сдавать должна.

— Подождет, пей. Я звонил в Останкино, Андрею. Тебя берут, ты вписалась. Молодец. Будешь сменным редактором на дневном выпуске. День работаешь — два дня свободны. Малина! Лафа! Я бы сам не прочь.

Соня сделала глоток, другой. Горячая, густая, пряная, душистая влага. Сейчас она Фридриху обо всем расскажет. Она должна кому-то рассказать, попросить совета. Она совсем запуталась, она не знает, что делать. Фридрих — друг. Фридрих — могила.

Но он ее не поймет. Он не знает, что это такое — обжечься о чужой взгляд. Сойти с ума, потерять голову, метаться, мучиться, думать только об одном человеке, желать его увидеть, бояться этой встречи пуще смерти...

Фридрих не знает. Фридрих поздно женился, всю жизнь прожил душа в душу со своей Аллой Петровной. Он ей верен. Так не бывает, но это правда. Уж в театре-то знают, здесь стены стеклянные, ни разу за двадцать-то долгих лет этот черноокий красавец, на южных травах настоящий, бадьян, тимьян, барбарис, этот сладкий рахат-лукум, такой веселый, глаза блестят, все его любят, души в нем не чают... Ни разу, никогда. Никаких актрис. Те и сами не прочь, одна, говорят, еще до Сониного прихода в театр, лет десять назад (Канцероген рассказывала), говорят, даже травилась. Слегка, не всерьез, для интриги. Но травилась. А лукум несгибаем.

Соня поставила пустую чашку на стол. Он ее не поймет. Но она ему все равно расскажет. Кому, если не Фридриху?

— Я хотела бы с тобой...

— Софья, смотри! — перебил ее Фридрих, опуская вниз «молнию» на легкой (пижон — мейд ин Ю Эс Эй, в худшем случае — ин Объединенное Королевство) полотняной курточке.

Боже! Держите меня трое! Под курткой у Фридриха — тельняшка, настоящий матросский тельник.

— Ну как? — Фридрих ликующе заржал. Он уже предвидел эффект, это его вызов, веселый легкий пинок главрежу, сейчас он это обнаружит. — Ничего, а? Работает? Они тельники сняли, а я надел.

Он хохотал, качаясь на шатком стуле. Дурила, ему седьмой десяток, а он обожает эти пацанские розыгрыши, эти хохмы. Жарко же в ней!

— Смешно, — кивнула Соня. — Фридрих, мне нужно с тобой посекретничать.

— Знаешь, почему райкомовская фря велела с Фомы Опискина тельняшку снять? Она это как намек расценила политический.

— Ты рассказывал. Фридрих, мне нужно с тобой поговорить, это очень...

— У нас Андропов, оказывается, в речном флоте служил. В младенчестве.

— Фридрих! Я хочу с тобой поговорить. Это очень серьезно.

— Потом, чуть позже, обязательно.

Он поднял Соню со стула и снова куда-то поволок, он сегодня был веселей, чем обычно, говорливей, суматошней.

— Сейчас будет актерский показ, там все соберутся, и главный, и кодла, и Буревестник твой... Какие-то ребятишки показываются, то ли из Щуки, то ли из Щепки... Желают к нашему людоеду в труппу, самоубийцы, камикадзе... Софья, пошли, я там при всех тельняшку обнаружую!

— Я главному на глаза не хочу показываться, — слабо отбивалась Соня.

— Наплюй! Кто он тебе теперь? Где он? Ты у меня под небеса взмыла, седьмое небо вокруг, ты что? Наплюй!

И Фридрих впихнул Соню в репетиционный зал. Здесь уже собралось все стадо. Здесь

обожали присутствовать на летних актерских показах. Развалиться в креслице, нога на ногу, эдак многоопытно скептически щурясь: ну-ка, ну-ка, кто там бродит по сцене? Кто там дрожит, путает слова, чему вас учили, милость-сдарь, пять лет в орденоносном имени Трудового Красного Вымени? Кто вас натаскивал? Проф такой-то, дважды лауреат, как же, знаем... Увы. Для героя-любовника у вас ножки коротковаты, а характерных у нас что собак нерезанных. Разве что восьмой поднос выносить в четырнадцатом составе.

Фридрих ткнул Соню в бок: готовься! На них неотвратимо, неспешно надвигался главреж. Столь же неспешно, как в замедленной съемке, Фридрих потянул вниз «молнию» на курточке, обнажая треугольник полосатого тельника. Треугольник медленно рос, вздымаясь на круглом Фридриховом пузе.

Главреж вплотную приблизился к Фридриху. Побагровел. Процедил:

— Сними.

— Здесь? — спросил Фридрих.

Труппа, облепившая ряды партера, сдавленно заржала. Главреж метнул суровый взгляд вправо, влево... Труппа притихла, но кто-то все же не мог успокоиться и хрипло хихикал, прячась за спинками кресел. Восстание рабов. Бунт на корабле.

— Сними! — рявкнул главреж, казня администратора гневным взором.

— Леонид, пощади актрис! — взмолился Фридрих. — Я стар. Я толст. Я неаппетитен.

— Ничего. Они и не такое видывали, стерпят, — отрубил главреж.

Покорно вздохнув, Фридрих скинул курточку на Сонины руки.

Партер рухнул. Дружный хохот потряс театральные своды. Последний раз здесь так неистово ржали лет двадцать назад, когда легкомысленный предшественник теперешнего главрежа потчевал непритязательную публику кабареточными скетчами, то-то было веселье...

Фридрих обнажился по пояс. Грузное его тело сплошь, от покатых полных плеч до мохнатого пуза, было аккуратнейшим образом расчерчено, опоясано ровными темно-синими полосами, разлиновано под матросскую тельняшку. Привет товарищу Андропову и его речному флоту. У матросов нет вопросов. Знай наших. Как умеем, так и развлекаемся.

— Я тебя выгоню, — пообещал главреж.

— Ты меня не выгонишь, — возразил Фридрих. — Кто тебе тогда кассу удержит? Выгонишь — через день обанкротишься.

— Мы с тобой, Федя, при развитии социализме живем, — заметил главреж. — У нас банкротства исключены. У нас плановая экономика.

— Вспомнил! — хмыкнул Фридрих. Соня в этот момент натягивала на него тельник, успев выпачкаться синей краской. Краска не желала сохнуть на влажном от пота, грузном теле администратора. — У тебя тут, посреди недоразвитого социализма, локальный очаг развитого капитализма, Леня.

— Локальный, — согласился главреж. — Летальный.

— Летальный! — вдруг заорал Фридрих.

Соня ошарашенно покосилась на него. Сегодня она его не узнавала: разве это глупый пингвин? Это лев с разверстой пастью!

— Летальный, — уже спокойнее повторил Фридрих. — Все твоё славное предприятие, Ле-

ня, обречено на летальный исход. Вот по-  
помнишь меня лет через восемь.

— Ты чего добиваешься, я понять не могу? — почти добродушно поинтересовался главреж. — Ты на что нарываешься, Федя? По-моему, ты хочешь, чтоб я и тебя за порог выставил. Ну да, вы же у меня... — И он соединил насмешливым взором Фридриха и Соню, застегивающую «молнию» на куртке администратора. — Вы ж у меня попугаи-неразлучники. Я вас...

— Хватит! — рявкнул Фридрих.

— Ты мне глотку...

— Хватит, я сказал!

Один Бог знает, чем бы это кончилось, если бы...

— Господа-а-а! — Низкий, надтреснутый, капризный женский голос.

В наступившей тишине все взглянули на сцену. Это старорежимное, какое-то белогвардейское, шансонеточно-киношное «господа» прозвучало диковато. Даже в стенах этого вольнодумного райка.

— Какая красивая, — прошептала Соня, не удержавшись.

— Господа, у нас через час в «Современнике» смотрины. Поторопитесь, пожалуйста.

Юное создание, тонкое, маленькая змеиная головка на длинной змеиной шейке. Змея — и пластика змеи, и норов. Восточная женщина, гибкое узкое тело, глаз не оторвать. Юная красотка прошлаь взад-вперед, небрежно придерживая рукой длинный широкий пояс, края которого медленно ползли за ней по сцене. Змея!

— Господа, мы опаздываем...

Как она тянет слова! Они лениво скользят, плывут за ней, будто края пояса. И сама она

скользит по сцене, как змея по горячему песку. Кто она? Узбечка? Таджичка?

— Она таджичка, Федя? — взглянув на Фридриха, спросила Соня и осеклась.

Нет, ни о чем сегодня Фридриху рассказывать нельзя, не имеет смысла. Фридрих ничего не услышит, Фридрих приговорен. Фридрих пойман в силки.

— Фридрих! — Соня дотронулась до его плеча.

Не слышит. Смотрит на юную змею. Змея медленно скользит по сцене... Если она сейчас спустится в зал, выскользнет в фойе — Фридрих молча, замороженно пойдет следом. Если она откроет тяжелую входную дверь и выйдет на раскаленное от солнца Садовое кольцо, Фридрих будет неотступно следовать за ней. Он будет идти за ней по раскаленному добела кольцу, как по вольтовой дуге. Будет идти, пока не сгорит.

Он тоже сошел с ума, старый, осторожный, многоопытный Фридрих.

И Соню он не слышит. Он стоит в узком проходе между рядами партера. Все уже давно расселись по местам, главреж развалился за своим режиссерским столиком, лениво спрашивая трех юнцов, стоящих на сцене, эту восточную красотку и двух ее однокурсников: откуда? Чей курс? Чем порадуете? Отрывочек из Рощина? Что еще? Арбузов? Вот, давайте из «Тани».

— Да что с тобой, Федя?! Очнись! Давай сядем.

Вздвогнув, Фридрих наконец перевел на Соню одурелый, растерянный взгляд.

— Она таджичка?

— Узбечка, — глухо ответил Фридрих.

Вон оно что. Это память крови, голос крови. Его узбекской матери, которую он никогда не видел.

Фридрих снова взглянул на юную женщину с маленькой змеиной головкой и низким властным голосом.

Он тоже сошел с ума. Здесь что-то не так. Что с ними происходит?

Это взбесившееся солнце, августовское солнце восемьдесят третьего года. Какое-то особое, опасное излучение, радиация. Они облучены.

Внезапная вспышка — и ты приговорен. Кровь твоя отравлена, мозг поражен, сердце задето. Ты уже не принадлежишь себе. Ты уязвим и жалок, вот как Фридрих сейчас, бедный Фридрих, Федя, давай же наконец сядем, уже погасили свет, дай мне руку.

Какая у него горячая, слабая, безвольная рука!

*20 августа 1983 года*

— Ну миленький, пожалуйста, хороший мой, быстрее, быстрее! — Судорожная женская мольба, обморочный стон сквозь стиснутые зубы. — Милый, что тебе стоит? Я тебя прошу-у-у!

Соня стоит в останкинской телетайпной, переминаясь с ноги на ногу, подпрыгивая от нетерпения и не сводя напряженного взгляда с узкой белой страницы, медленно-медленно, самоубийственно, неслышанно, непростительно, возмутительно медленно выползающей из зева студийного телетайпа.

— Быстрее, быстрее! — закликает Соня телетайпную ленту, а телетайп издевается над ней, показывая длинный белый язык.

Программа «Время» уже в эфире.

Величаво-торжественный Игорь Кириллов (если бы телезрители знали, какой он хохмач и прикольщик при выключенных-то камерах! Соня здесь четвертый день, Соня уже знает) читает текст правительственного сообщения. Свежайший государев указ, с пылу с жару. Постановление об усилении трудовой дисциплины и правопорядка. Ужо товарищ Андропов снимет отцовский ремень, огреет всех железною пряжкой...

— Ура! — Выдернув наконец страницу номер четыре, Соня выскакивает из телетайпной, несется по студийному коридору... Она знает: Кириллов там, в прямом эфире на всю страну, притихшую у «Рубинов», «Зенитов», дочитывает страницу номер три. А дальше-то что?

Четвертой у него нету. Кириллов, опытный боец, закаленный в останкинских битвах, тянет время, растягивает паузы между фразами. Медленно, как бы задумчиво, как бы глубоко осмысливая многозначительный подтекст каждого государственного слова, да что там слова! — каждой гласной, каждой согласной, не говоря уж о знаках мягких и твердых, — он неспешно, скупно роняет:

— Мы должны... — Пауза. — Пресекать... — Мхатовская пауза. — Любые проявления... — Практически по складам.

Влажная, мелко дрожащая ладонь Кириллова между тем нашаривает четвертую страницу... Ее нет! Ее еще нет!

— ...безответственности... — обреченно продолжает Кириллов.

Четыре мхатовские паузы, соединенные в одну. Он заполняет долгую цезуру казняще-взыскующим взором ленинской мощи и глу-

бины: дескать, внемли, паства! Трепещи и кайся!

— Безответственности, — повторяет Кириллов. О спасительная идея! Теперь он будет повторять каждое слово, как бы вдалбливая, вбивая его в непутевые головы нерадивых сограждан. — И разгильдяйства! Раз-гиль-д-яй-ства!

О мученик! Полжизни за страницу номер четыре! А Соня между тем, добежав до аппаратной, влетает в нее, подвернув ногу.

— Какая? Четвертая? — осатанело крикнул режиссер выпуска, глядя на страницу теле-тайпной ленты, которую Соня сжимает в руке.

— Четвертая, — прохрипела Соня, переводя дыхание.

— Давай в эфирную! На карачках! Живо! — И режиссер крикнул в микрофон, алчно глядя на страдальца Кириллова: — Валя! Только голову его! Крупно!

Зажав листок зубами, Соня опустилась на четвереньки и поползла вперед по жесткому ковровому настилу. Больно, все равно что голыми коленями по наждачной бумаге...

Она ползла по эфирной аппаратной, направляясь к дикторскому столу, за которым сидел бедняга Кириллов, распинаяемый телекамерами на глазах у всей страны. Он давно уже прочел по второму разу государев указ, он уже дважды озвучил все эти «меры по борьбе». Теперь он боролся с самим собой. Еще минута — и Кириллов закатится истерическим хохотом на весь Союз нерушимый: он же видел боковым зрением, тренированным зорким оком, как ползет к столу новая редакторша, держа во рту вожденную страницу номер четыре.

— Ита-ак, — громово произносит Кириллов, приблизив ладонь к краю стола, — мы продолжаем знакомить вас... — он нетерпеливо шевелит пальцами, — с текстом правительственного сообщения...

Соня осторожно задрала вверх голову с зажатым в зубах листком. Только бы не попасть в кадр... Оп! Дрожащие пальцы Кириллова стремительно выдернули из Сониного рта листок с нежно-опаловым оттиском Сониных губ, Сониной губной помады...

Спасены! Режиссер выпуска мелко перекрестился, беззвучно шепча одному ему ведомую молитву.

— Пар-р-раграф номер семнадцать! — сочно, раскатисто, триумфально возглашает спасенный Соней Кириллов.

А Соня в это время сидела на грубом ворсе коврового покрытия у Кириллова под столом. Сидела, по-турецки скрестив ноги, правая лодыжка ныла, кожа на коленях стерта до крови...

За толстым, звуконепроницаемым стеклом аппаратной режиссер выпуска показал ей большой палец. Победа!

Кивнув, Соня беззвучно рассмеялась и тут же увидела, как из-за режиссерского плеча выглянул Вадим, гонец от Андре.

Над Ла-Маншем мокрый снег. Никуда не деться от Андре.

«Мы падаем?» — «Падаем, падаем. Еще не сейчас. Еще не скоро».

Вадим ждал ее у телетайпной. Стоял у дверей, исподлобья глядя на Соню, медленно идущую к нему.

Гонец от Андре. Четыре дня от Андре ни слуху ни духу. Четыре дня — это срок. Соня уже

уверилась в том, что француз отстал. Она и во-  
все о нем не думала.

Она только о нем и думала. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Просыпаясь, отрывая голову от подушки, погружаясь в душное марево еще одного жаркого дня... Стоя у плиты, невпопад отвечая Сереже, отсчитывая сыну деньги на репетитора, покупая сливы у метро, неумело торгуясь с пожилой подмосковной плантаторшей, осоловевшей от жары и недосыпа... Глядя на себя в темное стекло вагона метро, вручая новехонький пропуск безмолвным бойцам вневедомственной охраны, как им жарко, беднягам! Они стоят, закованные в свои вневедомственные латы, и пот струится по их багровым юным рожам, пока они изучают Сонин пропуск, шевеля губами, подетски повторяя: «Редакция информационных программ». А Соня стоит у дверей пропускника, у круглой вертушки, и думает об Андре, об Андре, об Андре...

Это как наваждение. Неотвязная мука. Андре, Андре, Андрюша. Нет тебя четвертый день, и слава богу. А сама тревожно озирается по сторонам, вглядывается в незнакомые лица, оборачивается на каждый стук в дверь, на шаги за спиной, на низкий мужской голос: может быть, это Вадим? Что ж он не идет, не несет весточки от Андре, где он?

А Вадим стоял у телетайпной и ждал Соню. Она медленно шла к нему. Сутуловатый, узкоплечий, в щеголеватом ненашенском пиджаке с замшевыми заплатами на локтях. Понятное дело, иновещание, они там все немножечко Эренбурги: иноземная сладкая жизнь на халяву, за русский счет. Счета оплачены МИДом, Лубянкой, Кремлем. Хорошо устроились.

До Вадима оставалось шагов пять.

А ведь он принес очередную записку. Взять или нет? Она же хочет ее взять, хочет, хочет, хочет увидеть Андре. Она ведь только о нем и думает.

— Уходите отсюда, — быстро проговорила Соня, проходя мимо гонца к дверям теле-тайпной.

— Да что вы как маленькая! — вспыхнул Вадим, и его без того смуглое лицо потемнело от злости. — Что вам, три года, что ли? — Он достал записку из кармана пиджака, всем своим видом, насмешливым голосом, презрительным взглядом давая Соне понять: что ты ломаешься, что ты цену себе набиваешь? Тебе цена две копейки в базарный день. — Возьмите.

— Я вас не знаю, — сказала Соня, стараясь не смотреть на этот вчетверо сложенный листок бумаги.

Вадим ее презирал, ее это задевало, и больно. Но что, ей оправдываться перед ним? Пытаться объяснять ему, чужому человеку, что ни черта она не ломается. Ей страшно. Ей сорок три года. Она жена своего мужа. Дочь своей матери.

«Соня, девочка, есть вещи, которые нельзя переступить. Просто нельзя, и все. — Это мамины слова. Соня их помнит. — Просто нельзя, и все. Если это понять, почувствовать сердцем, то это навсегда. Все искушения тебя минуют. И это не аскеза! Напротив, это залог душевного покоя. Мира в душе. Соня, это самое главное, поверь!»

— Так вы берете или нет? — Вадим протягивал ей записку, сатанея от растущего раздражения. — Черт подери, что мне, больше всех нужно? Возьмите!

— Нет. — Соня вошла в телетайпную и закрыла за собой дверь, дважды повернув ключ в замке.

В ранних августовских сумерках Сонин маленький сретенский двор, двор-колодец, похож на глубокий кувшин, до краев наполненный теплым, густым топленным молоком. Выкипает, почти уже выкипел, еще один жаркий летний день.

Семь часов вечера. Там, наверху, кто-то — все знают, кто — чуть-чуть убавил огонь. Теперь все кипит на слабом, медленном огне. Золотой закатный воздух, истома. Дымящееся топленное молоко. А над ним тонкая сквозная рваная пенка. Это облака.

Соня пересекла свой двор по диагонали, прошла мимо дощатого колченогого стола, зацепив беглым, усталым взглядом доминошников, человек семь. Знакомые дворовые мужики, полуголые, в майках, в расстегнутых рубашках... Сделав по инерции еще несколько шагов, Соня остановилась, похолодев, несмотря на жару.

Он сидел там, среди мужичья. Это его спина. Это его широкие плечи, смуглая шея, темные волосы, смешно взъерошенные, наверное, он их теребил, когда нервничал, проигрывая... Он что, режется в домино с дворовыми мужиками, с шоферней, со слесарями?! Да быть этого не может!

И Соня резко оглянулась.

Андре только что поднялся с лавки. Он стоял у доминошного стола, смотрел на Соню и широко улыбался. В общем, вполне глуповато улыбался, чего уж там... С ума сойти!

— У-у, зараза, — простонал его напарник, дворовый обалдуй дядя Федя. — Обратно продулесь! Зараза! Прибалт, снимай часы.

Андре не раздумывая снял с запястья дорогие часы с плоским стильным циферблатом и бросил их на стол, не отводя от Сони счастливого взгляда.

— Сдаюсь! — сказал он и поднял вверх руки.

Кому он сдавался? Соне? Он смотрел на нее, улыбаясь. Он был счастлив. Странно, но Соня ему почти завидовала. Свободный человек. Европейец. Захотел увидеть ее — пришел, сел с простецкой мужской компашкой в домино стучать. Назвался прибалтом, дабы оправдать акцент и инородность облика. В два счета освоил немудреные правила русской дворовой забавы. Дождался Соню. Увидел, смотрит на нее, любит ее. Счастлив.

Вот Соня так не умеет. Не умеет она жить легко, радостно, не подавляя своих желаний. Это или есть, или нет. Это в крови. Этому не научиться.

— Ну ты даешь, прибалт! — одобрительно заржали мужики. — Широко! Садись. Давай по новой.

Соня направилась к дому... Нет, нельзя. Что, она его домой приведет? Бред! Приведет, скажет мужу: «Вот, Сереженька, это наш новый французский друг. Дети разных народов, мы одною мечтою живем. Это Андре, Сережа. Он продулся в домино. Наливай ему вино».

Соня остановилась и повернула назад. Теперь она неуверенно шла обратно к улице. Андре следовал за ней, соблюдая классическую дистанцию. Ага, у нас уже свои традиции складываются. Он идет позади на расстоянии двадцати шагов. Что делать? Куда идти? На Сретенку?

Большая Эмма вошла во двор, остановилась, наклонилась к своему чаду, подтягивая ему сползшие гольфы. Сейчас она выпрямится, увидит Соню и Андре.

И Соня зашагала к соседнему дому. Рванула на себя дверь подъезда. Господи боже! Ведь Сережа или Сашка могут увидеть ее из окна! Влетев в полутемное парадное, она прижалась к боковине допотопного, старинного лифта.

Андре вошел следом. Соня еще не видела его, но поняла — он.

— Вы что, домой ко мне заходили? — спросила она в пустоту.

Андре еще не было рядом. Ну где же он? Где?

Вот он. Синие смеющиеся глаза. Сейчас, в полумраке, они кажутся почти черными. Темные волосы взъерошены — как Соне хочется их пригладить! Нет, просто дотронуться до них. И коснуться ладонью его щек и губ...

— Вы с ума сошли? Вы были у меня дома?!

— Не бойся, я не умопомешанный, — заверил ее Андре, наклоняясь к ней и обнимая.

Свободный человек. Хочет обнять — обнимает. А Соня хочет к нему прижаться — и резко отталкивает его от себя.

— Я не умопомешанный.

— Вот в этом я не уверена.

— Я делал звонок. Телефон. Никто не ответил.

— Уходите отсюда, пожалуйста! — взмолилась Соня, вжавшись спиной в железную панцирную сетку лифта. Кто-то уже спускался вниз, лифт медленно полз к первому этажу, по-стариковски скрипя. Сейчас их увидят. А вдруг это Сережин знакомый с пятого этажа? — Уходите!

— Ты не хотела говорить с Вадимом. — Андре снова положил ладони на Сонины плечи. Большие горячие ладони, попробуй их снять. Свободные ладони свободного человека. — Ты его от... как это... отторгала. Я сам пришел. Я хочу тебя видеть. Я не могу тебя не видеть. Что делать?

Дверцы лифта открылись. Соня сбросила руки Андре со своих плеч и ринулась вверх по лестнице, едва не сбив с ног пожилую женщину с собакой. Та удивленно посмотрела Соне вслед. Еще бы!

Соне сорок три, а она ведет себя как влюбленная восьмиклассница.

Второй этаж... Третий... Здесь Андре ее догнал, развернул к себе. Очень сильные руки, свободные руки свободного человека... Что он делает? Вот его глаза, совсем рядом, они смеются. Андре легко поднял ее и посадил на высокий пыльный подоконник, шершавый, в лохмотьях облупившейся краски.

— Пустите! — Соня уперлась ладонями ему в грудь.

— Я хочу тебя видеть, — упрямо повторил Андре, стоя рядом, совсем близко. — Я должен тебя видеть. Что мне делать?

— Терпеть, — не задумываясь ответила Соня.

— Зачем? — удивился Андре, беря ее руки в свои. — Вы, русские, всегда терпите. Моя бабка тоже русская. Я русский... как это... На четвертку.

— На четверть.

— Она говорила... как это... — Он досадливо поморщился, припоминая, и у Сони сладко оборвалось сердце, ей это нравилось, она это помнила. Помнила эту его гримаску, и то, как его широкие темные брови ползут к смуглой

переносице, высекая на коже глубокую вертикальную складку. Вот сейчас бы поднять голову и коснуться губами этой складки...

— Пустите меня!

— Она говорила... Секунду... Бабка говорила: «Бог терпел, и нам повелел».

— Велел. Пустите!

— Соня, я не бог. Я терпеть не буду.

— Пусти! — Соня попыталась соскользнуть с подоконника, но Андре ловко вернул ее на место. Удерживая Соню одной рукой, он полез в карман и достал бумажник. Зачем это, интересно?

— Ты на нее похожа. На бабуку. Мою русскую бабуку.

А, это он собирается предъявить Соне какой-нибудь выцветший дагерротип. Как они сентиментальны, эти французы! Носят у сердца ветхие портреты своих прародительниц, успевая при этом охмурять русских дур, рукой припечатывая к подоконнику их дрожащие колени.

— Я похожа на твою бабуку? Я похожа на русскую бабушку, да?

И Соня истерически расхохоталась. Она похожа на русскую бабушку. Она и есть русская бабушка. Сорок три, пятый десяток. Она сидит на пыльном подоконнике чужого дома, а на ее коленях лежат руки почти незнакомо-го мужчины. Лифт снова ползет вверх. Сейчас кто-нибудь выйдет на лестничную площадку, увидит, опознает, пристыдит.

— Вот это точно, Андре. Я похожа на русскую бабушку. Знаешь, сколько мне лет?

— Ты неверно понимала! — Он снова полез за своим злосчастным бумажником. — Ты похожа на нее молодую. Вот здесь она консервовка...

— Консерваторка, — поправила его Соня. — Мне сорок три. А тебе?

— Тридцать восемь. — Он все же достал маленькое блеклое фото. — Вот. Мать моей матери. Ее папа имел оружейный завод. Как это... Тула...

Он произнес «Тула» почти как «Тулуза». Даже самоварно-пряничное, короткое, как обрубок, простоватое славянское слово обретало в его устах заграничный флер, особую прелесть.

— Похожая на тебя. Да?

— Ни капли, — возразила Соня, пытаясь поднырнуть под его рукой.

Он не отпускал ее, и эта осторожная полуборьба-полуигра, цепочка быстрых коротких прикосновений все больше и больше занимала обоих. Как дети! Дети разных народов, мы мечтою о мире... Что за чушь лезет в голову!

— Пусти! Тоже мне... внук оружейницы... Стрелок... латышский... Почему они тебя прибалтом называли? — Соня наконец вырвалась. — Эти, во дворе?

— Я должен был прилгать. — Он снова обнял ее. — Мой плохой русский... — Сейчас он ее поцелует. — Моя хорошая... русская.

Соне сорок три года. Ее целуют первый раз в жизни. Так получается. Приходится это признать. Прости. Прости, Сережа. Первый раз. Это правда. Прости, ты ни в чем не виноват.

Но и Соня не виновата.

«Мы падаем?» — «Падаем, падаем. Еще не скоро».

Горячие, жадные губы. Свободные губы свободного человека. Бред!

Бред, бред. И лифт грохочет. Но это где-то совсем недалеко. Бог с ним, с лифтом. Бред. Блаженство. Безумие. Божество.

«Соня, девочка, есть вещи, которые нельзя переступать. Просто нельзя, и все».

И все. И все, мама.

Все.

— Потрясающе! — Ирка всплеснула руками. — Нет, ты это придумала!

Но Ирка понимала, что Соня ничего не придумала. Скорее, Соня недоговаривает. Утаивает половину. Чтобы у Сони роман? У Сони, свежее-перезамороженной, у Сони-чистоплюйки, у Сони роман?!

— Только посмей кому-нибудь проболтаться, — прошептала Соня, уже казня себя за длинный язык, за бабскую непростительную слабость. Явилась к Ирке в магазин, заперлись обе в накуренном Иркином кабинетике, среди «Урод» и «Кобетт», и Соня ей всё, всё, всё... Почти всё.

— Потрясающе!

Когда Ирка волновалась, ее акцент становился еще отчетливей. Когда Ирка волновалась, а она волновалась сейчас, то курила свою «Стюардессу» одну за другой и грызла ногти, красные в белый горошек, под «мухомор», уже давным-давно не модно, а ей нравится. Одесса, невытравляемый Привоз.

— Потрясающе! Француз! Что тебя останавливает, понять не могу? Он же тебе нравится! — Певучая южная скороговорка с прыгающими гласными, быстрые короткие фразы, лепящиеся друг к другу, как крепкие, золотисторыжие крымские луковицы в плотно скрученной связке. — И что? Что было дальше? Он тебя поцеловал, и?..

— Что — и? — буркнула Соня. — Говори тише. Я вырвалась и — домой. Отдышалась —

к тебе пришла. Не могу Сереже... — Господи, зачем она говорит об этом Ирке? — Не могу Сереже... — А кому еще? — Не могу Сереже в глаза смотреть, — чуть слышно договорила Соня.

Она сидела в кресле возле окна, того самого окна, с которого совсем недавно сдирала проволочную сетку, рвала ее в клочья, исцарапав в кровь руки. Потом уж домахватила — ладони в свежих ссадинах. Что делать?

— Что делать? — выдохнула Соня. — Может быть, это вербовка. У меня отец в «ящике» работал, ты знаешь...

Она несла чушь, сама себя презирая. Выбивала из себя ритуальные заклинания жителя резервации: «Болтун — находка для шпиона», «Не болтай!»... Тетка в тугой косынке, приближившая корявый крестьянский палец к плотно сомкнутым губам... О наши страхи! Наши глупые, наши неслучайные, наши генные страхи!

Там, далеко-далеко, во мгле вековой, свист татарского кнута, кованый сапог опричника, занесенный над уткнувшейся в половицу головой прапрапрадеда... И страшная короткая птичья аббревиатура ЧСИР, и «десять лет без права переписки», и «есть ли родственники за рубежом?»...

— Какой еще «ящик»? — возразила Ирка. — Кому он нужен со своим «ящиком», когда это было?!

Ирка ничего не боялась. Дитя Молдаванки, вольная южная кровь, одесская оторва, портовый город, ворота в мир. По морям, по волнам спешат, плывут в Одессу-маму веселые туземцы... Стамбул, София, Марсель... Лихие хмельные матросики, белый китель, фуражка с кокардой. Пятидолларовая купюра, скомканная

во влажной ладони, русско-болгарский разговорник под подушкой... «Мама, дай мне тридцать рублей на аборт. Я договорилась»... Родительская порка, слезы...

Ирка ничего не боялась. Ирка знала все про русско-французскую любовь. И про русско-болгарскую. Все, что нужно знать. С подстрочником. С прямым переводом, с синхронным. «Ваш город очень красив». — «Мое имя Стефан». — «Как пройти на Приморский бульвар?» — «Все очень хорошо. Это прекрасный вечер». — «До свидания. Мы встретимся вновь. Доброго пути».

— Может, они через меня к Сереже подбегутся? — предположила Соня. — Он, знаешь, тоже... Не самый последний писатель.

— Угу. Предпоследний, — кивнула Ирка. — Все французские спецслужбы гонятся за твоим Сережей высунув язык. Он им откроет страшные государственные тайны. Времен партизанской войны восемьсот двенадцатого года. Соня! — Ирка гневно возвысила голос. — Ты посмотри, до чего ты себя довела! До чего ты себя довела, если ты, красивая сорокалетняя баба, просто не веришь, что можешь кому-то понравиться!

— Только посмей кому-нибудь проболтаться, — затверженно пробубнила Соня.

Дверь приоткрылась. Гнусная рожа Валентины Иннокентьевны, знаменитой московской фарцовщицы, кормящейся при кордебалете Большого, при девочках из моисеевской песни-пляски, осторожно просунулась в щель.

— Ирэн! — просипела Валентина, лет тридцать назад посадившая связки — художественный свист, сольный номер от Москонцерта, досвистелась. — Что я тебе принесла, детка!

«Карина», нижнее белье, ГДР. Тридцать комплектов.

— Валентина, выйди, жди! — шикнула на нее Ирка.

Валентина неохотно прикрыла дверь.

Ирка перевела на подругу вдохновенный взор и воскликнула, глуша несправедную зависть благородным желанием благословить Соню на перемену участи:

— Соня! Позволь себе раз в жизни! Красивую! Короткую! Ни к чему не обязывающую страсть!

— Ира, я так не умею, — вздохнула Соня. — Я ненавижу, когда никого ничего ни к чему не обязывает.

— Тогда живи со своим партизаном, — пригвоздила ее Ирка. — В своей землянке. Так и помрешь, не узнаешь, что такое любовь.

Фарцовщица Валентина, наглая, как двести койотов, снова открыла дверь, втащила в комнату неподъемные торбы, заговорщически сипя:

— Ирэн, я ждать не могу, мне еще к Славе Зайцеву и на Кузнецкий. Ирэн, посмотри, прелесть какая, по дешевке отдаю, девочкам деньги нужны. «Карина»! ГДР по фээргэшной лицензии. Дитя! Это писк!

— Сколько хочешь? — хмуро поинтересовалась Ирка, по-хозяйски, со знанием дела перебирая шуршащие пакетики с Настоящим Женским Бельем. Это тебе не фабрика «Черемушки», корявая грубая сбруя, кокетливый мятый бантик криво, зато намертво вшитый в толстенный шов...

Соня смотрела на Ирку, на старую силную тетку, на этот блестящий кружевной ворох... Какой еще Андре? Свободный человек, прише-

лец с другой земли. А Соня — она отсюда, «Кулинария», «Рыба», «Путовицы». Черемушкинский лавсан с начесом, комиссионка, «Карина» из-под полы, спасибо шустрым быстроногим девочкам из моисеевского хоровода...

— Ладно, не томи. Сколько? — Ирка на-пряглась в ожидании оглашения суммы.

— Ну я не знаю... — задумчиво протянула Валентина, индифферентно глядя в потолок — Девочки недоедали... Девочки все суточные на «Карину» тратили. Девочки сидели на «Леще в томате», Рита Рыжая кипятильником пол-Познани спалила... Аня, ты знаешь ее, у которой разные глаза, Аня в голодный обморок упала в Потсдаме. Прямо посреди гопака. Мрак!

— Сколько? — нетерпеливо повторила Ирка.

— Ну я не знаю... Славочка очень хорошие деньги предлагает.

— Славочка сам, что ли, «Карину» носит? — хмыкнула Ирка.

— Ирэн, дитя, не язви! Тебе не идет, — нахохлилась Валентина. — На Кузнецком все оптом берут. Но ты знаешь, как я тебя люблю, Ирэн, какая у меня к тебе слабость.

— Я пошла. — Соня поднялась из кресла.

— Сиди. — Ирка решительно сбросила шуршащую грудку в выдвинутый ящик стола. — Ладно, Валь, сейчас поторгуюсь. Что у тебя еще?

— Ну тут... — Валентина наклонила голову к расстегнутым торбам. — Чего ж еще... Много чего. Девочки натолкали... От себя отодрали с мясом... Любят меня... Ты знаешь... Последнее с себя снимут. Душевные девки-то... Вот... — Валентина понизила сиплый голосок до едва

различимого шелеста: — Презервативы импортные. На Кузнецком с руками оторвут.

— Чего-о?! — И Ирка взвыла от хохота, откинувшись на стуле. — Валентина, я от тебя умру! Презервативы! В коммиссионном!

— А кто тебя, дитя, заставляет их на прилавки выкладывать? — обиделась Валентина.

— Ой, умру, держите меня! Презервативы! В скупке! Подержанные! Бэу!

— Вот на Кузнецком... И у Славочки... С руками...

— Ой, я умру-у, Сонька, дай мне воды! Валентина, ты чудо!

Соня молча вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь.

Все, дуры-бабы, опошлили. Зато ей в два счета напомнили, где она живет. Откуда она. Ты, Соня, из Советской Уцененки. Из Общесоюзной Скупки.

Соня вышла на вечернюю Сретенку. Бронзовая Надя, Надежда Константиновна, замершая посреди бульвара, печально и сочувственно смотрела на Соню.

Ах, Надя, Надя... Что будет, то будет. Соня похожа на русскую бабушку. Он бабушку вспомнил. Все по Фрейдю, все по науке. Плевать ей, на кого она там похожа! Хоть на прабабушку, хоть на прадедушку, хоть на внучатого племянника троюродной золовки. Только бы увидеть его снова. Только бы увидеть его завтра!

И вовсе она не из скупки. Она со Сретенки. Хватит самоуничтожаться, хватит мучить себя, в узел завязывать!

Надо выпрямиться, поднять голову. Вот Сретенка. Девятый час вечера. Душно. Тихо. Сонный троллейбус ползет к Мещанским. Окна домов распахнуты настежь, слышно, как

кто-то, сбиваясь, перевирая ноты, играет полонез Огиньского. Скоро сентябрь, и неотвратимо надвигаются на невидимого маленького школяра Гедике, Черни, Майкопар.

Откуда-то тянет дымом — под Москвой горят леса.

Соня шла мимо темных витрин. Вот «Тюль», вот «Дары природы»... Ну что ты, Природа, опомнись, Природа! Разве ж это дары? Крашеный воск, муляжи антоновских яблок, пыльная целлулоидная тыква с проволочным кургузым хвостиком — разве это твои дары, Природа?

И Соня улыбнулась, глядя на себя в черное стекло. Она не из Скупки.

И это не Скупка. Это Сретенка. Это Москва. Дары природы... Вот и Соне вручен ее Дар. Запоздалый, но щедрый. Надо принять его. Нельзя его отвергать.

Нельзя себя мучить. Хватит. Довольно.

*21 августа 1983 года*

Натыкаясь на чьи-то тела, она металась по салону. Больно ударилась бедром о подлокотник кресла. Кто-то налетел на нее сзади, оттолкнул. Соня упала в проходе между рядами кресел, закрыв голову руками... Удар в бок... Нет, они не нарочно!

Они тоже мечутся, наталкиваются друг на друга. И вжимаются друг в друга, крепко-накрепко приникают друг к другу. Обезумев от страха, теряя последние силы, крича и плача, молясь на чужом языке, причитая и воя, люди обнимают друг друга так судорожно, так истошно, будто хотят напоследок срастись с чужим телом, слиться с ним, тоже дрожащим от ужаса, спрятаться под заслоном чужой, трепещущей, еще живой, еще теплой плоти.

Тогда не так страшно будет умирать. Смерть будет мгновенной, общей. Ты сливаешься с чужой плотью, ты ввинчиваешься в эту горячую, стонущую, сотрясаемую смертным ознобом кучу-малу, ты зарываешься в нее, заворачиваешься в нее, тогда не так страшно!

И Соня встала, держась рукой за подлокотник, за спинку кресла. Вцепилась в чью-то руку, прильнула к чьему-то телу, обхватила руками чужие плечи, вжалась мокрой от слез щекой в чью-то щеку, успев рассмотреть только узкий, приплюснутый нос, раскосые азиатские глаза с расширенными от ужаса зрачками, бледную смуглую кожу с желтоватым отливом.

Незнакомец тоже обнял Соню и прижал ее голову к своему плечу.

Соня открыла глаза.

Звонили в дверь.

Соня вскочила с постели, содрав с мокрого тела ночную рубашку, мокрую — хоть выжимай! Опять — хоть выжимай, Жара. Полуденный зной.

Что за ужас ей снился? Это все от жары. У кого-то бессонница, а у Сони кошмары.

В дверь продолжали звонить. Значит, ни Сережи, ни Сашки нет дома. Накинув халатик на голое тело, Соня отправилась в прихожую.

Маленький черноголовый пацанчик в огромной, с мужского плеча, куртке с эмблемой «Олимпиада-80» стоял за порогом. Цыганенок. Из тех, кто ежедневно крутится у метро «Колхозная», возле «Форума», там у них гнездовье, в извилистых узких переулках между Сретенкой и Цветным.

— Ты Соня? — недоверчиво спросил цыганенок.

— «Вы» надо старшим говорить. — Соня потуже затянула пояс на халатике. — Да, я.

— Давай трешку, — хмуро потребовало таборное вольнолюбивое дитя, с обезьяньей сноровкой почесывая грязный затылок.

— Зачем? — изумилась Соня.

Цыганенок вздохнул, очень по-взрослому, по-мужски оценив презрительным взглядом Сонину безмозглость, Сонины куриные мозги, Сонины неуместные вопросы. Смешно, но грязное уличное дитя тотчас напомнило ей холеного барственного Вадима, который смотрел на Соню точно так же.

Цыганенок вынул из кармана безразмерной олимпийской куртки узенькую голубую полоску бумаги, и Соня мгновенно все поняла.

— Он ведь тебе заплатил уже, совести у тебя нет, издоимец! — Но она все же открыла сумочку, стараясь не поворачиваться спиной к гонцу, — сопрет ведь что-нибудь тотчас. Андре, балда французская, нашел кому довериться! — Вот твои три рубля. Отдай билет.

Цыганенок пересчитал рублевки, засунул их в карман куртки и вручил Соне узкую голубую полоску, билет на дневной сеанс в кинотеатр, пропуск к Андре. А если бы Сережа был дома? Если бы Сашка открыл дверь?

— Он мне наказал только тебе отдать, без посторонних, — будто прочитав Сонины мысли, сказал цыганенок и кубарем слетел вниз по лестнице.

Захлопнув дверь, Соня опустилась на стул. Кинотеатр «Форум», шестнадцать часов, двадцать первое августа. Ряд девятнадцатый, место третье. А второе, надо думать, у Андре. Или первое. Рядом. Девятнадцатый — это поч-

ти в конце. Так, в темноте, рядом, колено к колену, ну повернись ко мне, найди мои губы... Взрослые люди, как старшеклассники, которым податься некуда, обняться негде, не целоваться же в Сонином подъезде!

Надо идти. Какой жуткий сон, он уже второй раз Соне снится... Салон самолета, давка, чужое азиатское лицо. «Мы падаем. Падаем, падаем...»

В дверь снова позвонили. Вздвогнув, Соня молниеносно спрятала билет в карман халата. Это, наверное, Сережа пришел. Или Сашка. Вот как им в глаза смотреть?

Вчера же смотрела. Вернулась от Ирки, разогрела им ужин. Потом Сережины партизанские саги вычитывала, исправляла ошибки. Сережа, даром что видный партизанский писатель, в грамматике несилен, на деепричастных оборотах подрывается, как его партизаны — на заминированном совхозном поле...

Звонят неотрывно, настойчиво. Вот открыть бы сейчас дверь и сказать сразу, с порога, решившись: «Сережа, я тебе...» Что «я тебе»? Неверна? Изменила?

«Сережа, я падаю». — «Мы падаем?» — «Падаем. Да».

И Соня открыла дверь.

— Ты совсем, что ли? — выпалила Канцероген, возмущенно округлив светлые, круглые, ненакрашенные глаза. Канцероген вообще не красилась — аллергик. Видимо, ядом своим гремучим не только чужих травила, но и себя саму тоже. — Совесть есть у тебя? Пять минут звоню! Ты что, спала, что ли?

Соня молчала, обалдело глядя на незваную гостью.

— Поехали. — Канцероген подбросила на ладони ключи от своего бессмертного, закаленного в горнилах неисчислимых аварий «жигуленка». — Живо, живо! Они тут рядом, на Второй Мещанской. Он ее из актерского общежития забирает.

— Кто? — спросила Соня. — Кого, куда?

— Фридрих! — заорала Канцероген, сжав ключи в ладони. — Эту суку узбекскую, Матлюбу! Он из дома ушел! Алла в истерике! Они комнату сняли! Соня, он спятил на старости лет. Соня, спасай его! Кто, если не ты? Вразуми его, Соня!

Время еще есть, она успеет. Она успеет на дневной сеанс, ряд девятнадцатый, место третье.

Вот и Фридрих тоже сошел с ума. Это все солнце. Солнце взбесилось, и все походили с ума. Всего-то четыре дня прошло. За эти четыре дня Фридрих успел, одурев от своей несусветной, внезапной страсти, уйти из семьи, бросить все, все порушить — а, гори все огнем, сам черт теперь ему не брат. Три восточные крови, как три воедино сплетенных бикфордовых шнура. Подпали — и рванет! И рвануло.

Канцероген неслась как угорелая, взнуздав своего ветерана. Ее неукротимая развалюха, израненный, но стойкий «жигуль», с исцарапанной, свирепой мордой, с подбитой фарой, мчался по проспекту Мира, наводя ужас на окрестные автомобильные стада. Те шарахались в сторону, безошибочно чуя: даром что дряхл и увечен — убьет. Сам испустит дух, но убьет, пощады не жди.

Канцероген летела к Рижскому. Там, в переулках, в актерском общежитии, жила эта самая подлая Матлюба, юная актерка.

— Соня, ты должна ее помнить, ты же была на показе... Он спятил. Она его в два счета охмурила. Когда?! Где?! Ладно, это недолго, это несложно... Но ведь он ни-ког-да... ни с одной! А тут эта змеюка восточная... Главреж ее зарубил, в труппу не взял. Сонь, она такая же актриса, как я рудокоп!

Соня сидела рядом с Катей. Мысли путались, почему-то лез в голову жуткий предутренний сон. Мы падаем. Это все солнце...

— И что ты думаешь? Фридрих к главрежу: «Или ты ее берешь, или я ухожу из театра». Главреж ему: «Иди ты к дьяволу! Ты меня довел уже». Фридрих хрясь ему на стол заявление об уходе! Алле своей в ноги бухнулся: «Прости, я последняя сволочь. Я вас всех обеспечу до конца дней, и тебя, и сына, и внука. Но, — говорит, — Алла, я ее люблю, это безумие, я понимаю. Но хоть день, да мой! Хоть час, да с нею!»...

Вот, Сонь, дом впереди. Подъезжаем... Они вещи выносят... Соберись с мозгами, придумай речь...

Темно-красный кирпичный дом. Актерская общага. Окна нараспашку. Двор залит солнцем.

У машины Фридриха, возле открытого багажника, стояла Матлюба. Она нетерпеливо постукивала узкими смуглыми пальцами по крыше машины. Гладкие блестящие волосы убраны в тугой узел на затылке. Длинная змеиная шейка, хищный резкий профиль. Юбка до пят, это стиль — темные длинные юбки, пестрые платки да шали. Тонкий платок с продуманной небрежностью переброшен через плечо, завязан у талии, неправдоподобно, балетно узкой. Тоже мне Кармен! Не хватает бумажного розана да черного завитка на высоком упрямом лбу.

Подлая Кармен, что же ты сделала с нашим старым, нашим веселым, нашим ленивым, нашим добродетельным, нашим чадолюбивым Фридрихом?

— Вылезай, — приказала Соне Канцероген, тормознувшая свою бодрую развалюху метрах в двадцати от машины Фридриха. — К ней не подходи. Поднимайся на второй этаж, сорок первая комната. Он там вещи собирает. Алла, жена его, в театр звонила, дала наводку. Рыдает. Ну ее можно понять. Иди взывай к нему. Ты друг, у тебя получится.

Соня молча смотрела на узбекскую Кармен. Зачем он тебе, змея-удавка? Он старый. Он больше не служит в театре. Квартиру он оставит жене, не посягнет ни на один квадрат, Соня Фридриха знает.

Зачем он тебе, удавка? Ведь удавишь!

И тут появился Фридрих. Он вышел из распахнутых дверей общаги, в одной руке неся какой-то баул, а другой придерживая за круглую, смугло-розовую коленку черненькую глазастенькую девочку лет шести, сидевшую у него на плечах. Через правое плечо Фридриха был переброшен ремень какого-то неведомого Соне, громоздкого восточного музыкального инструмента, похожего на огромную мандолину. Мандолина висела у Фридриха за спиной, ритмично похлопывая его при ходьбе по широкой пояснице. Девочка смеялась, что-то быстро лопоча, по-хозяйски обхватив шею Фридриха маленькими цепкими руками.

— У нее еще и чадо, — с ненавистью процедила Канцероген. — Спятил! Соня, иди вправляй ему мозги. Иди, я... — И Канцероген пробормотала, запнувшись: — Я в машине останусь. Я боюсь.

Чтобы Канцероген чего-то или кого-то боялась? Быть не может.

Соня продолжала неподвижно сидеть, глядя на Фридриха с почти завистливым, жадным интересом. Фридрих молодец. Он сильнее, чем Соня. Он полюбил — и ушел. Да, но... Но его и эту юную дрянью... Почему «дрянь»? Она что, ревнует ее, что ли?.. Его и эту самую Матлюбу связывает близость, а Соня и Андре... Там еще ничего не произошло.

Нет, все уже произошло. Он вышел, увидел Соню, Соня подняла на него глаза. И все произошло. Главное произошло. Это и есть измена.

Но Соня молчит, разогревает мужу котлеты, прилежно вычеркивает лишние знаки в десятичных оборотах, переворачивая страницы Сережиных партизанских черновиков. А Фридрих пришел к жене, сказал: «Я сволочь. Я обеспечу. Я уйду». Собрал вещи — и за порог.

Соня гордилась им. Соня ему завидовала. Соня смотрела на него с восхищением, окрашенным горечью, — она теряет Фридриха. Уже потеряла, навсегда. Соня смотрела на него как сообщница на сообщника.

— Ты выйдешь или нет? — Канцероген толкнула ее в бок. — Что ты сидишь? Он уже багажник закрывает.

— Не выйду, — ответила Соня. — Давай заводим мотор. Уезжай, пока они нас не заметили. Ничего я ему вправлять не буду. Он сам знает, что делает.

Соня смотрела на Фридриха. Это был другой, незнакомый ей мужчина. Легкий, быстрый, сияющий, помолодевший. Вот он закрыл багажник. Вот он осторожно и любовно, как

маленькое восточное божество, усадил дочь Матлюбы на переднее сиденье — как на трон. Как на царские носилки. И пристегнул ее ремнем, будто балдахин поправил.

— Иди, я тебя прошу, — простонала Канцероген. Она больше не требовала. Она униженно просила о помощи. Ей-то что, ей, театральной надсмотрщице, бесчувственной фурии?

Соня молча покачала головой, не сводя глаз со своего ненаглядного Фридриха Герцевича. Счастливый! Сообщник. Они всегда с полуслова понимали друг друга. Они были похожи, они и теперь, не сговариваясь, решились на опасное, запретное путешествие. Вот только Соня шла по своей новой дороге на ощупь, крадучись, прячась в темноте, как вор, как злоумышленник. Фридрих же шагал по своей при свете дня. Открыто.

— Соня, выйди. Что тебе стоит? — прошептала Канцероген, глядя на Фридриха, который выносил из дверей общежития узкий, длинный, свернутый в тугой рулон ковер с восточным орнаментом. Рулон весело подрагивал у него на плече.

Матлюба стояла возле машины, на том же самом месте. За эти полчаса она не проронила ни слова, не шелохнулась. Она просто молча наблюдала, невозмутимо и властно глядя на Фридриха. Как статуя. Как повелительница. Освобожденная женщина Востока. Вот он, Восток, не хрестоматийный, а подлинный. Здесь все не так, как мы привыкли думать. Здесь властвует женщина, здесь мужчина подчиняется ей и служит.

— Соня-а, выйди! Они уедут сейчас. Выйди, прошу тебя!

— Нет, дорогая. Давай трогай свою колымагу. Поехали.

Фридрих подошел к Матлюбе. Что, он и ее на руки возьмет? Как он на нее смотрит! Обожающе, молитвенно. Нет, Матлюба сама села на заднее сиденье. Ноги ее, носки туфель, выглядывающие из-под складок юбки, еще стояли на земле, на пыльном горячем асфальте. Тогда Фридрих наклонился к земле, взял маленькие ступни в свои руки и осторожно переместил ноги своего божества на днище машины. Захлопнул заднюю дверцу, сел за руль и рванул машину с места.

Прощай, Фридрих. Вот тебе, Соня, урок. Последний урок Фридриха.

Урок?! Что, все так просто? Так легко? А сорокавосьмилетняя Фридрихова Алла, всю жизнь за ним как за каменной стеной? Стена то рухнула в мгновение ока. Рухнула, осколки летят в Аллу, дай бог, чтобы она успела закрыть лицо руками. Белыми мягкими руками женщины, никогда не знавшими труда. Женщины, жившей в холе да неге. Каково ей теперь? Что с нею будет?

Соня взглянула на притихшую соседку. Канцероген плакала.

Если бы бронзовая Надя, бессменный часовой Сретенских ворот, зарыдала бы вдруг во весь свой бронзовый голос, утирая бронзовые слезы бронзовым платочком с монограммой в виде серпа и молота, герба и стяга, Соня удивилась бы не в пример меньше. Плачущая Канцероген — это аномалия. Такого не может быть.

— Ты что? — ахнула Соня. — Катя! Ты плачешь?

Канцероген неумело рыдала, уронив голову на руль. Наверное, она плакала впервые в жизни. А как же, тут тоже нужен навык.

— Ты что? — обомлело повторила Соня. — Зачем ты?.. Что ты?..

Канцероген пробубнила сквозь судорожные всхлипы что-то невнятное.

— Что? — переспросила Соня. — Я не поняла. Что?

— Же... г-го... блю... го... — прорыдала Канцероген. — 3-за-а-аа-мжж не... пшл! 3-з... метрд-теля! И-из... а-а-а-вещкой!

Соня безошибочно перевела этот бессвязный вой, уже ничему не удивляясь. Уж если Канцероген любит... Уж если Канцероген любит Фридриха... Любит. Не пошла замуж за метрдотеля из «Советской».

Все сошли с ума. Это солнце.

Соня дотронулась до Катиного дрожащего плеча.

— Не плачь, — сказала она. — Это все солнце, Катя. Мы все немножко спятили. Ничего, это скоро пройдет. Довези меня до «Форума». Слышишь?

Уже оттремели барабанной дробью черно-белые «Новости дня». Уже кино началось, а Андре все не было.

Соня сидела дура дурой, третье место, девятнадцатый ряд. Справа — пусто, слева — пусто. Может, он вообще не придет? Может, он издевается над ней, русской бабушкой, уже вытравляющей седину двухпроцентной перекисью водорода? Седину — перекисью, бес — в ребро.

Соня вспомнила о Фридрихе. Все равно в нем, сегодняшнем, счастливом, влюбленном,

было что-то жалкое и беспомощное. Все равно, как ни сияй, как ни сбегай вниз по лестнице упругим, молодым шагом, неся на одном плече узбекское чадор, на другом — узбекский ковер, все равно ты уязвим и слаб, когда ты влюблен и немолод.

Фридрих старше своей гладковолосой черноокой красотки лет на сто. Соня старше Андре на пять лет. Русская бабушка. Нет, Соня не хочет быть жалкой, слабой, уязвимой.

Но, думая об этом, она уже трижды вынимала пудреницу из сумочки и придирчиво, тревожно всматривалась в свое отражение, едва различимое в полутьме. Она плохо выглядит. Жарко. Она не выпалась.

Большие теплые ладони закрыли Сонины глаза. Ладони почему-то пахли свежей типографской краской. Соня вздрогнула, дернула головой, уже понимая, что это он.

Андре стоял сзади, в двадцатом ряду. По-мальчишески легко перемахнув через ряд, он сел рядом с Соней, оглушительно стукнув откидным сиденьем.

Соня взглянула на Андре и вновь ощутила это странное, почти болезненное кружение сердца. Сердце кружится, оно в движении, ты будто на высоких качелях: взлет — падение, взлет — падение. Ты взрываешься вверх, упиваясь свободой и силой полета, и ухаешь в сладкую бездну.

«Мы падаем?» — «Падаем, падаем. Да».

— Это тебе, — прошептал Андре.

Он сидел совсем рядом, глаза его весело блестели. На колени ей он положил цветы, и Соня поняла, почему его руки пахли свежей типографской краской. Темно-красные, роскошные подмосковные августовские розы были завернуты в подмокшую газету.

— Прости, я опоздал. Я был в предместье. Там купил эти цветы.

— А вы когда-нибудь работаете? — Соня еще пыталась язвить, держать оборону. — Вы вообще работаете когда-нибудь? Такое ощущение, что бездельничаете с утра до вечера.

— Я как раз работал. — Андре попытался обнять ее. Соня вырвалась, придерживая рукой розы, лежащие на коленях. — Я работал. Потому что я и опоздал.

— Поэтому, — привычно поправила его Соня. — По-моему, все-таки бездельничаете в основном. Может, у вас там уже коммунизм? В вашей коммунистической газете «Юманите»? — Она еще хваталась за спасительный сарказм как за последнюю соломинку, но все ее выдавало — и учащенное дыхание, и счастливые глаза. — У вас там уже коммунизм, да? Никто не работает. Все получают свою гарантированную порцию франков. Бродят по улицам. Бездельничают. От нечего делать клеят русских дур.

— Клеят? — удивился Андре и решительно обнял ее. Розы мешали им обоим. Длинные колкие стебли лежали у него на коленях, бутоны, завернутые в газетный лист, — у Сони. — Клей? Такой способ любви? Садомазохизм а-ля рюс? Очень хорошо. Мы сейчас покупаем клей. Я тебя наклею к себе очень сильно. Чтобы не сбегала от меня.

— А как ты меня потом от себя отдирать будешь? — вырвалось у Сони.

Вот теперь она была честна перед собой и перед ним. Она сказала Андре «ты». Она больше не поминала мужа, сына, не бубнила трусливо: «Я пришла сюда только за тем, чтобы...» Она перестала цепляться за эти жалкие уловки.

Глядя ему в глаза, Соня добавила:

— Я ведь могу очень сильно к тебе приклеиться. Как ты меня потом отдирать будешь? По живому будешь резать? Ты понимаешь меня?

Андре молчал, виновато глядя на Соню. Он все понял. Понятливый.

И тут в зале зажегся свет. Еще минуту по засвеченному, разом вылинявшему полотну экрана метались блеклые, едва различимые тени. Потом экран погас, и створки темно-серого плюшевого занавеса, по-театральному шурша, сомкнулись посреди белого полотнища.

— О, прекрасно! Пойдем, пойдем! — Андре вскочил и протянул Соне руку. Он дрожал от радостного нетерпения. Все на лице было написано. Французы! Восхитительная непосредственность. — Соня, вставай-ся! Пойдем. Тут недалё-око... Одна квартира.

— Никаких квартир, — отрезала Соня.

Андре нехотя сел. Теперь его лицо было искажено гримасой нескрываемой досады.

В зале между тем творилось нечто невообразимое. Возмущенная публика, на добрую треть состоящая из окрестной мелкоты, на треть — из праздного сретенского старичья, на треть — из зрелых мужиков, забредших сюда кто с пивом, кто с подружкой, возмущенная публика хлопала крышками сидений, отчаянно, всласть, по-соловей-разбойничьи свистела. Кто-то хрипло вопил: «Портачи! Кинщика на мыло!» — какая-то старушенция в детской панамке радостно выкрикивала, дрожа от предвкушения скандала, как старая полковая лошадь при первых звуках походной трубы: «Верните деньги! Сволочи! Произвол! Я в Моссовет пойду к Гришину!»

— Соня, что это есть? — с живейшим интересом спросил Андре.

— Советский сервис, — пояснила Соня, плотнее заворачивая в газету чуть подвявшие, поскучневшие розы. — Он ненавязчив. В отличие от тебя.

— Не понимаю. Переясни, — потребовал Андре.

— Тих-ха! — громово рявкнул кто-то, перекрывая свист, грохот падающих сидений, вопли праведного гнева.

И все замолчали. Минута — и воцарилась тишина. Русский человек — он кожей, чутким памятьливым сердцем мгновенно отличит окрик чиновного вертухая от любого иного повелительного возгласа.

Четверо молодых мужчин, неуловимо похожих друг на друга, невысоких, крепко сбитых, коротко стриженных, в темных казенных костюмах с повязками дружинников на рукаве, вышли из-за кулис и встали перед онемевшим залом, рассыпавшись ровной, поделенной на равномерные интервалы, цепью.

— Соня, кто это? — удивленно спросил Андре.

— Твоя русская бабушка сказала бы «охранка», — пояснила Соня.

— Да?! — изумился Андре. — Зачем? Может, за мной? Да, Соня?

За ним? Дикость какая! Соню обжег страх. Страх за Андре. Она схватила его за руку, поднялась с сиденья, не выпрямляясь, согнувшись в три погибели. Розы упали на пол, рассыпавшись по тусклому желтоватому линолеуму.

— Пошли, — шепнула она. — Пригнись! Будем отступать огородами...

— О-го-родами? — переспросил Андре, совсем сбитый с толку. — Мы идем в оранж... Оранжерейную?

— Всем оставаться на местах! — рявкнул один из четверых мужиков с повязками на рукавах, очевидно главный. — На места! Живо!

Народ, попытавшийся было выскользнуть в задние двери, замер и покорно вернулся обратно. У задних дверей, впрочем, тоже стояли дружинники. Западня.

Растерянно оглядевшись, Соня опустилась обратно на сиденье, все еще сжимая руку Андре.

— Всем предъявить документы, удостоверяющие личность! — потребовал главный.

— Это за мной? — повторил Андре, сев рядом с Соней.

— Ну если ты действительно резидент какой-нибудь Интеллидженс сервис, — пробормотала Соня, снедаемая страхом. Страхом за Андре. Что происходит? Бред какой-то.

— Тогда я иду... как это... капиту... капитулировать. — Непонятно было, шутит он или нет. Держится молодцом, улыбается.

— Сиди уже. — Соня намертво вцепилась в его руку. — Сиди, капитулянт.

— Это обвала, Соня? У вас это принято?

— Облава, — поправила Соня, согнувшись, поднялась и потащила его за собой по проходу.

Те четверо уже шли по первым рядам. Люди послушно протягивали им паспорта, пропуска, студенческие билеты...

Вот она, дверь под зеленой табличкой «выход». Если угрюмый мужик, караулящий дверь, хоть на пару минут отойдет в сторону, можно успеть выскользнуть.

— Ваши документы? — доносилось справа и слева. — Так. Почему не на работе сейчас? Где работаете? Двадцатая автобаза?

— Да у меня выходной! — отбивался пойманный с поличным. — Я посменно! Проверьте! Звоните!

— И позвоним, — веско обещали ему. — И проверим.

Соня тихо, но упрямо тащила Андре к выходу. Караульный, стоя спиной к ней, разговаривал с билетершей. Еще один дезертир, подросток лет четырнадцати, перепрыгнул через соседний ряд, налетел на Соню, невольно с неожиданной силой толкнул ее в бок. Соня осела на пол, не устояв на ногах, ударившись бедром о подлокотник кресла... Когда это было? Это ведь было уже...

А, это сон! Она упала, ударившись о подлокотник. Сон в руку. Но там был салон самолета...

Андре схватил подростка за руку, встряхнул его, что-то быстро, гневно сказав по-французски. Импульсивный. Захлестнула эмоция — заговорил на своем языке.

— Тихо! — испуганно оборвала его Соня, поднявшись на ноги. — Он же нечаянно, отпусти его. И говори по-русски! Не хватает еще, чтобы они поняли, что ты...

Все. Пропали. Дружинник, стоявший у дверей, прервал разговор с билетершей, обернулся на шум голосов.

— Так. В чем дело? А ну на место сядьте. — Он повысил голос. — Документы ваши! — И он направился к Соне и Андре.

— Соня, мы незнакомые с тобой, — быстро сказал Андре. — Ты меня не знавала. Я сам иду на него.

— Стой! — Соня снова схватила его за руку, плохо понимая, что сейчас выгоднее для Андре, что безопаснее: быть с ней или сделать вид, что они незнакомы? Она сейчас плохо соображала. Она знала только, что будет рядом с ним. Не отпустит от себя ни на шаг.

— О-ой, да это ж наши! — весело протянула билетерша.

Дружинник перевел на нее удивленный взгляд. Билетерша, молодая бойкая баба, протянула Соне руку, напористо, быстро говоря:

— Это наши, товарищ. Иди, иди сюда, Люда! Это наши. У нас работают. Электрик и кассирша.

— Почему не при исполнении? — недоверчиво глядя на Соню и Андре, спросил дружинник.

— Так у них выходной.

Еще минута — и билетерша уже вела Соню и Андре к выходу из зала, по-свойски подталкивая обоих вперед и шепча:

— Я вас узнала... Вас Соня зовут? Вы нам вечер организовывали от театра. Весной. Я еще в ДК «Каучук» работала. Актеры приезжали...

— Спасибо вам. — Соня, не удержавшись, поцеловала ее в щеку.

— До сих пор вспоминаю. — Билетерша вывела Соню и Андре в пустое фойе.

У дверей, ведущих на улицу, на Садовое, забитое машинами, плавающее от солнца, стояли два опричника с красными повязками на рукавах.

— Та-ак. — Билетерша замедлила шаг. — На этих точно подорвемся. Не выпустят. Звери.

— А что происходит, голубушка? — церемонно спросил у нее Андре, сместив ударение в своем ветхозаветном бабушкином «голубуш-

ка» с первого «у» на второе. — Человек не имеет права смотреть фильм? Это криминал?

Билетерша прыснула от неожиданности. И, уводя их в сторону, вбок от главного входа, поинтересовалась:

— Откуда голубок будет? Финн, что ли?

— Южневее, — улыбнулся Андре.

— Зимбабве? — Билетерша открыла своим ключом какую-то дверь в глухом закутке под лестницей.

— Посевернее, — хмыкнул Андре, первым заглянув в большую комнату, где вдоль стен были расставлены афиши, рекламные щиты, все эти «Скоро на экранах», «Неделя болгарского кино», «Чингачгук — Большой Змей». — Благодарствую. — Он нагнулся к билетерше и поцеловал ее в загорелую гладкую щеку. — Я могу покупать эту комнату на час?

— Сорок минут, — покачала головой билетерша. — Потом андроповские соколы отвоят, я вас выпущу.

— Это у нас, Андрюша, борьба за дисциплину, — вздохнув, наконец объяснила Соня. — Это товарищ Андропов с прогульщиками борется. Шмонает по баням, по киношкам... — И добавила, дождавшись, когда билетерша оставит их наедине, плотно прикрыв за собой дверь комнаты: — Только это не для «Юманите». Это, милый, для «голосов» вражьих.

— ...Андре, пожалуйста, не нужно! Андре, пожалуйста!

— А как ты меня окликала? Повтори! «Андрю-ша». Говори так. Да?

Растрепанные, тяжело дыша, они бестолково топтались по комнате, на узком пяточке свободного пространства. Спотыкались, налетая

на громоздкие щиты с названиями фильмов, с кустарными портретами кинозвезд. Он обнимал ее, она не очень-то сопротивлялась, и вот они кружили по комнате, кружили и кружили. Нелепый, странноватый танец.

— Пусти! Ты что, не можешь понять, что это...

— Соня...

— ...это оскорбительно для меня.

— Давай снимем номер.

— Какой номер?

— У меня нельзя... Посольство... Пост... Как это... Я живу при постпредство... Везде глаза... уши...

— Какой номер?! Ты вдумайся! Что ты мне предлагаешь? «Номер»? А дальше что?

— Соня, послушай меня...

— «Номер»... А потом ты уедешь. Ты уже унижаешь меня вот этим, ты... Тебе вот только это нужно? Да? От меня? Вот это?! Сейчас пойдем. Снимем номер... в каком-нибудь Доме колхозника...

— Где? — И Андре рассмеялся, отпуская ее. — Дом кого?

— На час, да? — Соня отошла к стене и прижалась спиной к какому-то плакату. — А потом ты уедешь в свой Париж. А мне что прикажешь делать? Довольствоваться воспоминаниями? До конца моих дней вспоминать о том как ты меня осчастливил? На казенных простынях?

— Соня, я не блудодей! — пылко воскликнул Андре, снова приближаясь к ней.

— Пусти! Блудодей... Опять эти твои ископаемые слова...

— Моя бабушка...

— Вот-вот, твоя бабушка. Такое ощущение, что нас здесь трое. Я, ты и тень твоей бабушки.

— Ты думаешь, это игра? — возбужденно шептал Андре, обнимая ее, прижимая к полотнищу, натянутому на подрамник. — Думаешь, пустой флирт? На один раз? Соня, смотри мне в глаза! — Он сжал ее плечи, не видя, что и Сонина спина, и ее плечи, и заодно его пальцы теперь испачканы свежей краской — афиша еще не высохла.

— Это не флирт, это предначертано, Соня!

— Предначертано. Пусти.

— Не надо нам колхозный дом и простыни!

Он снова перепутал ударение. Получилось что-то стылое, как мокрое белье, колом застывшее на морозе. «Просты-ыни». Дурачок французский. Он обнимал ее, возя спиной по свежей краске.

— Я просто хочу быть с тобой. Вдвое! Так? Ты понимаешь? Хочу рядом. Смотреть. Говорить. Больше ничего!

— Да? — Соня оттолкнула его от себя. — Очень хорошо. Давай. Говори. Что тебе мешает?

Андре непонимающе уставился на нее. Потом отошел на пару шагов и, усмехнувшись, кивнул.

— Говори! — потребовала Соня, приглаживая растрепанные волосы и не замечая, что правая рука выпачкана черной краской и черная полоса тянется теперь вдоль ее разгоряченного раскрасневшегося лица. — Давай. Давай говорить. Мы же люди. Мы же не животные. Ну говори о чем-нибудь!

Андре пожал плечами:

— Сегодня прекрасная погода. Не правда ли? — Светский тон, постная рожа. Глаза смеются.

— Грех жаловаться, — кивнула Соня, подстраиваясь под его тон. — Душновато, впрочем. Вам не кажется?

— Это потому, что в СССР... — Он сделал шаг вперед, медленно, осторожно приближаясь к Соне, как зверь, боящийся вспугнуть добычу. — В СССР мало... как это... кондишн.

— Стой на месте! — весело приказала Соня.

— У вас мало кондишн... — Еще один шаг вперед. — Мало вещей для пользы...

— Стой на месте. Да, у нас мало вещей для пользы. У нас мало кондишн. Потому что у нас было много революшн.

Андре рассмеялся. Странное дело — он тоже не замечал, не видел, что Сониная щека выпачкана черной краской. Он вообще ничего не видел. Все чувства притупились, все были сейчас отринуты за ненадобностью. Все, кроме одного...

— Стой на месте!

Если можно назвать его чувством. Но и инстинктом его не назовешь. Андре снова обнял ее, теперь они сползли вниз, касаясь полотнища локтями, плечами... Нет, это не инстинкт. И стоит ли тратить время на формулировки?

Дверь хлопнула. Лысоватый, еще нестарый мужик в растянутой тенниске открыл дверь и замер на пороге. Он ошалело взглянул на Соню и Андре, уже съехавших на пол и тотчас вскочивших на ноги. Потом перевел взгляд на полотнище афиши.

— Мать твою! — горестно изрек он, глядя на то, что еще недавно было заглавием фильма, на инвалидное «Мы из джа...», на артиста Скляра с перекошенной, разъехавшейся во все стороны правой щекой, будто деформирован-

ной флюсом, на Панкратова-Черного, в руках которого теперь вместо гитары было нечто напоминающее гигантскую клистирную трубку. — Мать же твою! — обреченно повторил художник. — Полсутки рисовал, не разгибался. — И он возмущенно взглянул на Соню.

Как внезапная острая боль прошивает насквозь тело, так прошел Соню стыд, мучительный, нестерпимый. Она увидела себя со стороны, глазами этого художника из киношки. Немолодая баба, застигнутая врасплох черт знает где, бог знает с кем. Растрепанная, лицо в красных пятнах, помада размазана по губам, две верхние пуговицы на кофточке расстегнуты, блузка съехала с плеча, обнажив бретельку бюстгальтера...

Стыдно-то как. До смерти стыдно!

И Соня ринулась вон из комнаты, едва не сбив художника с ног, забыв о сумочке, валяющейся у ног Андре. Она стрелой пролетела через пустое фойе, на бегу поправляя волосы и застегивая пуговицы.

Большая Эмма спускалась по лестнице навстречу Соне, ведя за собой весь свой выводок.

— У нас банный день. Мыться едем к подружке в Чертаново, — пояснила Эмма, обогнув Соню. — Когда горячую воду дадут, не знаешь? Пока обратно доползем, опять будем черные. Там стройка, пыль. Будем черные, как труба... — Эмма оборвала себя на полуслове. — Как ты, Сонь. У тебя спина черная!

— Парниша, у вас спина не белая! — завопил начитанный Эммин старший, хохоча.

Соня остановилась на верхней ступеньке и растерянно взглянула на свои руки. Ладони ее были перепачканы черной краской.

— И спина. И юбка. И кофта. — Эмма хлопнула свое чадло по затылку. — Сонь, ты где это?

— На скамейку села окрашенную, — сказала Соня первое, что пришло в голову. — Наверное.

— Где это ты видела, чтобы скамейки черным красили? — удивилась Эмма, глядя на Соню во все глаза.

— В театре. — Соня обхватила плечи руками, словно собираясь спеленать саму себя, скрутить в кокон, спрятать от всех. — Там на сцене скамейки. Черные.

Неожиданно дверь Сониной квартиры распахнулась.

— Мам, я слышу голоса, вроде твой... Пойдем, к нам бабушка приехала... Мама, у тебя щека черная! — Сашкино лицо вытянулось, стало испуганным, напряженным. — И руки тоже.

— И спина, — быстро добавила Эмма. — Она к тумбе афишной прижалась нечаянно. Понял? Потом стала руками себя вытирать и еще больше испачкалась. Понял?

— Понял, — пожал плечами Сашка, вполне удовлетворившись Эмминой наспех сострепанной легендой.

— Иди, — тихо сказала Соне Эмма. — Успокойся. Переоденься. Все бывает.

Эмма глядела на Соню насмешливо и грустно, подбадривая ее взглядом. Ничего не знаю и знать не хочу, говорил этот взгляд. Все понимаю. Держись, с кем не бывает. Впредь будь осторожней. Действуй обдуманней. Ты женщина. На тебя смотрит твой сын. Помни об этом.

Мать сидела на кухне, у окна, напротив Сережи, долбящего на своей машинке. Сашка возился с клубникой, перекладывая ее из корзинки в трехлитровую банку.

Соня успела наспех переодеться и умыться. Лицо она мылила с каким-то особым тщанием, почти ожесточенно, и щека была теперь не черной — пунцово-красной.

— Здравствуй, мама, — сказала Соня. — Ты без звонка? Я рада.

Мать молчала. Она не поздоровалась, не встала навстречу, не обняла. Это ее-то матушка, восторженная, суетливая, вечные ахи-охи, поцелуи, объятия!

Соня настороженно присмотрелась к ней. Мать демонстративно отвернулась, закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди.

— Я, Сереженька, на днях «Каренину» перечла.

«Сереженька»!

Будто Сони здесь нет. И голос у матери чужой, напряженный, звенящий.

— И знаешь, Сережа, вспомнилось. Решила я как-то Шуру, нашу домработницу, вывести в свет. Ты ее должен помнить. Помнишь Шуру?

— Еще бы не помнить! — хмыкнул муж, не отрывая близоруких глаз от клавиш своего «ундервуда». — Кремень-баба. Воронежская губерния, крестьянская кость. Не в бровь, так в глаз. Не в глаз, так в лоб. Не в лоб, так в темя.

— Вот, вот, — кивнула мать, по-прежнему не глядя на Соню, растерянно застывшую посреди кухни. — Повела я нашу Шуру в Художественный театр на «Анну Каренину». Алла Константиновна в тот вечер саму себя превзошла! Играла неподражаемо! Первое действие подходит к концу... В зале платочки мелькают... Всклипы, вздохи... И вдруг наша Шура, на весь зал, своим извозчичьим басом: «Палкой ее! Палкой!»

— Bravo! — Сережа захохотал, оторвавшись от своей машинки. — Вот вам голос народа. Порок должен быть наказан.

Соня похолодела. «Анна Каренина». «Палкой!» Мать, не желающая смотреть в ее сторону... Она знает?! Она знает! Ирка! Ирка, а кто же еще?

— И вот теперь я думаю, Сереженька... — Мать наконец метнула в сторону Сони быстрый казнящий взгляд. — Я думаю, наша Шура была права. Я перечла книгу. Анна мне омерзительна. Животное. Самка.

Мать обо всем знает. У Сони сжалось сердце. Такое чувство... Такое ощущение, что все вокруг рушится. Медленно падают вниз куски штукатурки, сыплются песок и известь, летят в стороны обломки стен. Бесшумно, беззвучно, как в кино, когда выключен звук. Все рушится. Катастрофа. Уже ничего нельзя спасти. Вот так стоишь соляным столбом посреди разрухи, на руинах, развороченных бесшумным взрывом. И обрывки гневных фраз едва долетают до слуха. Контузия, руины. Ничего нельзя спасти.

— Соня, ты чего встала-то? — удивленно спросил Сергей. — Садись к столу. Юлия Аверьяновна клубники привезла, попробуй.

— ...Когда стареющая женщина, — гневно продолжала мать, — жертвует благополучием мужа и сына... сжигая все в топке своих страстей...

— Неплохо, — весело отметил Сережа, придвигая к себе черновик. — «Топка страстей!» Продайте фразочку. Куда-нибудь вставлю.

— Ты же пишешь для Воениздата! Кого ты можешь бросить в топку? Только Сергея Лазо, — съязвил Сашка, разминая в тарелке мя-

систую клубничную мякоть. Соня тупо смотрела на это густо-алое, с бледными прожилками сердцевин, ягодное месиво. Сашка залил его молоком. Клубника с молоком, Сашка любит.

— Не кощунствуй! — заметил Сережа, втайне гордясь сыновним юмором.

— А мне ее не жаль. — Теперь Юлия Аверьяновна смотрела только на Соню, испепеляя дочь инквизиторским взором. — Каждый ее шаг продиктован эгоизмом. Голод плоти и эгоизм.

Катастрофа. Соня медленно подошла к столу. Вот ее сын и муж. Сережа поправляет очки указательным пальцем, глядя в черновик. Он еще ничего не знает. А мать уже знает. Уже рухнули стены, их не поднимешь. Сониного дома больше нет.

Она вышла из кухни, подошла к телефону и набрала Иркин рабочий номер.

— А она на даче, — ответила Соне Иркина «замша», старая проныра, спит и видит, как бы Ирку подсадить. — Она и вчера пораньше уехала, и сегодня. Битва за урожай. Мы тут вкалываем, а Ирин Иванна себе варенье варит.

Соня опустила трубку на рычаг. Значит, Ирка вчера зашла к матери. По-соседски, на огонек. И проболталась за чаем. Разоткровенничалась у самоварчика. Так просто! Два-три лишних слова — и на Соню бесшумно обрушился потолок. Дом рухнул. Его не выстроишь заново.

Вернувшись на кухню, Соня остановилась на пороге и прижалась плечом к дверному косяку. К полуразрушенному косяку. Никто, кроме Сони, этого не видит, не замечает. Дом рухнул.

— ...Ей дела нет до того, что будет огласка! — Юлия Аверьяновна продолжала гнуть

свое, кляня бедную, грешную Анну, казня Соню, как ей, наверное, казалось, изощренным способом. Эзоповым лукавым языком. — Ей дела нет до того, что будет брошена тень на доброе имя ее семьи. Что ее сын и муж...

— Юлия Аверьяновна, я же работаю! — не выдержал Сережа. — Вот смотрите, что я по вашей милости отшлепал: «Взвод под командованием Анны Карениной вошел в село на рассвете».

Сашка густо, басом захохотал и прошамкал набитым ртом:

— Угу. А село называется Вронское. Да, пап?

— Неясная Поляна, — подхватил Сережа.

Остряки. Сын и муж. Похохатывают. Ни о чем не догадываются, ничего не знают. Вот мятые странички Сережиных черновиков, плотно исписанные мелким, экономным почерком. Бодяга про партизан. Деньги в семью. Сережина пожизненная каторга. Нужно скопить деньги на вождеденный кооператив где-нибудь в Измайлове.

Какое Измайлово? Дом наш уже рухнул. Кров разорен. Это Соня, это все Соня, подлая Анна, животное, самка, чудовище, топка страстей.

— Прости, мой друг, я тебе мешаю. — Юлия Аверьяновна тяжело поднялась со стула и поцеловала зятя в плешивую макушку. — Мне пора. Я ухожу.

Соня молча смотрела на мать. Соня — животное. Соня выпачкана черным, с головы до ног, она вся в грязи, не отмоешься. Три себя пемзой, стой под холодным душем часами — не отмоешься.

— Соня, ты что? Проводи мать! — раздался Сережин недоумевающий голос. — Мне некогда, мне послезавтра рукопись сдавать.

Очнувшись, Соня добрела до прихожей. Пусто. Она открыла входную дверь.

Мать спускалась по лестнице, тяжело, неуверенно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку. Какая она старая! За несколько дней она постарела на год. Это Соня виновата.

Она догнала мать, не говоря ни слова. Мать оглянулась, услышав шаги. Оглядела дочь с головы до ног, словно силясь отыскать на Сонином лице и теле какие-то преступные, злокозненные отметины.

— Чего ты хочешь? — спросила она шумным шепотом. — Ты хочешь, чтоб нас всех посадили? Чтоб нас всех по Лубянкам затаскали? Француз! Боже! Нация распутников! Ты почитай Золя!

Она неловко полезла в свою плетеную сумку, висевшую на сгибе локтя. И рука, и старая сумка из ветхой, пучками торчащей на сгибах соломки, мелко дрожали. — Вот я тебе заложила закладки. — Мать вытащила из сумки облезлый томик Золя из отцовской библиотеки. — Прочти! Это пишет француз о французах. У них порок в крови.

— Мама... — Соня осторожно опустила Золя в соломенный зев материнской сумки. — Мама! Ты всегда путала жизнь с библиотекой всемирной литературы. Мама! Жизнь — отдельно, библиотека — отдельно.

— Порочное, развращенное племя, — продолжала Юлия Аверьяновна, не слушая Соню. — А этот? Как его... Господи, что у меня с памятью... Такой... с растительной фамилией. С такой... овощной... Вот выпало, и все! Это потому, что я волнуюсь.

— Маркиз де Огород, да? — Соня пыталась пошутить, не уронить лица — отцовская порода, отцовская школа.

— Де Сад! Вот именно! — И мать тут же возмущенно добавила: — Ты еще пытаешься остерить?

— Мама... — Соня дотронулась до ее руки. Отдернув свою руку так резко, будто Соня была прокаженной, Юлия Аверьяновна стала спускаться вниз по лестнице, унося с собой своего Золя и свои незыблемые представления о том, что можно и чего нельзя.

Через час Соня уже стояла в тамбуре вечерней электрички. Пятница, дачный час пик. Жара, духота, давка. Соню прижали к дверям, к вагонному стеклу, мутноватому, грязному, в пятнах копоты и пыли.

Она ехала к отцу. Соня не решилась спросить у матери, знает ли отец. Не хватало духу. Если отец знает... Что ж, тогда не дом рухнул — тогда обрушилась Сониная жизнь.

Отец хотел сына. Ждал мальчика. Родилась Соня — он воспитывал ее как мальчишку. Жестко ограждал от материнского сюсюканья, дозируя все эти умиленные возгласы, череду дамских смотрин: «Ах, какая девочка! Какие у нас глазки! Мамин носик! Машины ямочки!»

Отец решительно выплетал из Сониных кос атласные банты, громоздкие блестящие соцветья, сооружаемые матерью с особым тщанием. Однажды он и вовсе постриг Соню «под горшок» — стриг сам, неумело, старательно, боясь задеть дочкину пухлую щеку острыми, алчно щелкающими ножницами.

Мать, рыдая, кричала три дня: «И меня постриги тоже! Под нуль! И сдай нас в детприемник! Обеих! Изувер!»

А полигоны? Неисчислимые полигоны, на которые отец всегда брал Соню с собой...

Она и сейчас помнит эти бескрайние, выжженные солнцем поля, надвигающийся на нее, заполняющий собой все пространство между землей и небом чудовищный грохот и лязг. Это медленно приближаются, ползут по сухой, выцветшей от пекла траве угрюмые железные победоносные чудища — отцовские танки.

Грохот усиливается, Соня плачет на руках у отца, оглохнув, пряча лицо на его груди, забившись под края его плащ-палатки, вдыхая отцовский походный, охотничий запах, запах брезента и кожи, отцовского крепкого табака и дорогого лосьона, которым он всегда протирает после бритья свои впалые щеки, свой крупный властный подбородок. Танки уходят. Грохот с неохотой стихает. «Соня, не плачь, не бойся их. Ты моя дочка. Они мои сыновья».

— ...Вы выходите?

Соня вздрогнула и, протиснувшись вдоль стены тамбура, освободила место у дверей. Как жарко! Когда это кончится? Когда кончится эта великая сушь?

Если отец узнает... Если он знает...

Но в конце концов он уже не мог бороться с природой и вынужден был признать свое поражение. Он не безумец, из девочки не вылепишь мальчика, она растет, ей десять, двенадцать, четырнадцать...

Когда он проиграл в этой изначально обреченной на поражение, абсурдной схватке с природой, то отошел в сторону. Теперь он был подчеркнуто отстранен. Отныне он сохранял жесткий неукоснительный нейтралитет. Он ничего не желал знать о Сониной новой, с каждым днем набирающей силу, почти взрослой, почти женской жизни. Все эти Со-

нины тайные переговоры с матерью на кухне, при погашенном свете, в половине первого ночи; все эти ломкие мальчишеские баски и дисканты: «Позовите Соню», «Передайте Соне, ей звонил... — молчание, хрипы, шумное дыхание, сдавленный смех, глухое возбужденное шушуканье, — Витя Пономарчук»; Сониная новая стрижка, материнский патрончик перламутровой помады, выпавший из прохудившегося кармана цигейковой шубы, выметенный из-под Сониной кровати веником домработницы Шуры, томик Бунина, обернутый в три слоя пергаментной бумагой и надписанный сверху крупно: «Природоведение. 6 кл.»...

Ничего, ничего, ничего про это Сонино природоведение отец не желал знать. Он трижды стучал теперь в дверь Сониной комнаты и выжидал минуты две, прежде чем войти, услышав Сонино: «Папа, можно!»

Несколько лет их общей, на две семьи, жизни в одной квартире были для отца мукой, тяжелым испытанием. Как только подрос Сашка, отец перебрался на дачу, забрав с собой мать и стойчески перетерпев материнские слезы, упреки, протесты.

Что это было? Ревность? Обостренная, болезненная щепетильность? Особый склад характера?

Кто знает... Кто может знать... Соня уже шла дачным поселком, по щиколотку утопая в теплом песке. Садилось солнце. Кто-то играл в бадминтон, мерно постукивал о ракетку легкий прыгучий воланчик... За дачными заборами люди сворачивали гамаки, пили чай на открытых верандах, беззлобно переругивались, звали детей ужинать, поливали из шлангов парниковые огурцы, окатывая друг друга плот-

ной струей воды, хохоча и отфыркиваясь... Звенела посуда, кто-то настраивал транзистор на «Маяк», сухо потрескивали еловые шишки, дотла сгорая в жарком зеве чьей-то летней печи.

Соня медленно шла мимо заборов, вдруг поймав себя на мысли, что все это время, каждую минуту она думала... Нет, не думала — она помнила об Андрее. Сжимаясь от отчаяния, уткнувшись лбом в грязное стекло вагона, приближаясь к отцовской даче, готовясь к самому худшему, она все же помнила об Андрее.

Обмирая от стыда и страха, она все-таки была счастлива. Вот странно. Раньше не было страха, но не было и счастья. Теперь есть и то и другое. Если бы только счастье!

Да ладно! Последнее дело — торговаться с судьбой.

И Соня, толкнув открытую калитку, вошла на участок.

Дверь в комнату была распахнута настежь. И окна — настежь. Все залито закатным солнцем. Красиво. Очень тихо.

Отец сидел за столом, спиной к ней, и курил, стряхивая пепел в свою любимую пепельницу, отлитую специально для него к его юбилею уральскими, что ли, умельцами. Разумеется, отцовский танк в миниатюре. Крохотный люк открывается, столбик горячего пепла падает в круглое отверстие. Остроумно продумано. Отец ее обожал, таскал с собою в Москву в старой походной планшете.

Соня стояла в дверях, молча глядя на его широкую сутулую спину. Она была его дочь. Она все о нем знала, любое движение, взгляд могла безошибочно расшифровать, могла предугадать еще не произнесенное слово. Она и теперь все поняла, глядя на его поникшую

спину, следя за медленным движением его руки с зажатой между пальцами сигаретой — от губ к открытому люку своей каракатицы и обратно... Соня поняла: он знает.

А он почувствовал: Соня стоит у него за спиной. Он оглянулся, быстро, вскользь глянул на дочь — и тотчас отвернулся.

Дачный сосед, суетливый мужичок, завцехом ликеро-водочного завода — отец его обычно не жаловал, а тут, гляди, выпивал с ним на пару, вон бутылка и стопки, — дачный сосед Пал Захарыч вскочил из-за стола:

— Пошел я, пора. Здравсте, Сонечка, я на минутку... Принес вот чекушку новую, это из пробной партии. — Он проскользнул мимо Сони, пятясь выскочил на веранду и добавил, натужно посмеиваясь, чуя напряжение, разлитое в воздухе: — К первому сентября выпускаем. У нас на заводе ее «первоклассницей» кличут. Шутники...

Соня молча кивнула гостю, глядя на отцовскую спину, на пустую стопку, стоявшую возле его локтя. Он знает. Нужно и это выдержать.

— Где мама? Спит? — спросила Соня, дождавшись, пока Захарыч хлопнет калиткой.

Отец молча кивнул. Загасил окурочок о крохотный стальной люк — пепельницу, между прочим, отливали из настоящего танкового сплава. Соня подошла к столу, села напротив отца. Он взглянул на нее и долго смотрел. Соня выдержала этот взгляд, Соня тоже была из настоящего сплава, из отцовского сплава, бронетанковая стальная Соня. Броня крепка. Полигоны, брезент, грохот и лязг... Броня крепка, и танки наши быстры.

— Она тебе обо всем рассказала. — Не вопрос, а спокойное, уверенное утверждение.

Отец отвел глаза. Налил себе водки.

— Первоклассница, — пробормотал он, глядя на толстенную стопку, до краев наполненную сорокаградусной. — Первый раз в первый класс. Дожили. — Он залпом опрокинул стопку. — Французик. Французик из Бордо. Кричали женщины «ура» и в воздух лифчики бросали.

Соню будто насквозь прошло гневное недоумение — отец никогда прежде не позволял себе нарочитой мужицкой грубости.

— Папа, не унижай меня, — сказала Соня. — И себя тоже. Не нужно.

— Тогда давай разводишься. — Отец снова закурил, стараясь не встречаться с дочерью взглядом. — Давай, давай. Я надеюсь, он к нам, в Союз переберется?

Теперь он пытался язвить. Зло, желчно насмешничать. Значит, отец тоже бывает слабым. Никогда прежде он не позволял себе быть слабым в присутствии дочери. Слабым, растерянным. Никогда!

— Давай я его трудоустрою. Он кто, журналист? Ладно. Я его приткну в «Сельскую жизнь» на полставки. Только уж ты, будь добра, предупреди его: у нас тут зимы холодные. Санузлы совмещенные. В четверг рыбный день.

— Я в Москву. — Соня поднялась из-за стола. — Я в таком тоне разговаривать не намере...

— А ты подумала о том, что будет с Сережей? С Сашкой?! — взорвался отец, тоже вскочив из-за стола. Он казнил Соню беспощадно, по-мужски. Не дочь — чужая порочная баба, сбрендившая на пятом десятке, снисхождения не будет! — У Сашки выпускной класс! Что с ним будет, когда он узнает? Завалит экзамены, загремит в армию! А если он

угодит куда-нибудь под Кабул? Ты подумала об этом?!

— Что ты говоришь? — крикнула Соня. — Еще ничего не случилось, а ты уже и с мужем меня развел, и сына в Афган отправил! Ты еще скажи, что он там, в Афгане...

И Соня осеклась, помертвев от суеверного страха. В следующую секунду она отшатнулась и едва устояла на ногах, схватившись за скатерть и смяв в горсти тонкое полотно.

Отец ударил ее по щеке. Он ударил ее первый раз в жизни.

Поделом. Мы падаем. Падаем.

Соня закрыла лицо руками. Щека горела. У отца тяжелая рука. Броня крепка, что правда, то правда.

— Сядь, — приказал отец. — Сядь. Ты думаешь, у меня этого не было? — Он понизил голос, он выбил из себя это мучительное признание, но это был его последний довод. Последняя попытка образумить дочь, спасти. — Было! Было. Я не святой. Но я же...

Соня отвела руки от лица. На отца больно смотреть. Зачем, зачем он говорит ей об этом? О самом тайном, страшном, грешном, зачем он мучает себя, зачем он мучает ее? Он хочет ее спасти. Мы падаем.

— Было. Но я щадил твою мать. Я был... Я был... трижды осторожен. Потом казнился. Замаливал грех как мог. А ты... А ты...

— Папа, не нужно, милый! — взмолилась Соня.

— А ты никого жалеть не будешь. Я тебя знаю. Ни себя, ни других. Никого.

Соня повернула ключ в замке, открыла дверь — и отпрянула, споткнувшись о высокий порог.

И сын ее, и тоненькая девочка лет шестнадцати, которую Сашка только что обнимал, стоя у двери в темной прихожей, тоже отпрянули друг от друга. Сашка и вовсе ударился башкой о край вешалки.

— Осторожней, — сказала Соня, сбросив туфли. — Здравствуйте, Женя. Вас ведь Женей зовут?

Она говорила нарочито ровно и буднично, давая понять им и тоном, и взглядом: ничего не случилось. Это нормально, естественно. Вам по шестнадцать, целуйтесь себе на здоровье.

— Женя. — Девочка протянула Соне руку, по-мужски решительно, и пожатие будь здоров, а ведь в чем дух держится! Тоненькая, бледненькая, очень самостоятельная девочка.

— Вот и познакомились. А то все по телефону... Возьми пятак, приложи. — Соня вынула из кошелька пятикопеечную монету, протянула сконфуженному Сашке, глядя на него с насмешливой нежностью.

Чего ты глаза прячешь, дурень? Это нормально — влюбиться в шестнадцать лет. Славная девочка, сверстница. Косит под хиппи, джинсы располосованы в мелкую бахрому. В полосы вплетены нитки бисера. Хорошо хоть, кольцо в нос не вдела. Ничего, ничего, славная девочка.

Целуйся с ней на здоровье. Это нормально. Ненормально, когда твоя сорокатрехлетняя мать сползает на пол, скользя спиной по растущему полотну афиши. А иностранный подданный — вообще не известно, кто таков, едва знакомы — ее обнимает.

Вот это ненормально. Больше этого не будет. Хватит.

— Соня, это ты? — окликнул ее Сережа из спальни.

— Иди, он уже лег. Он опять... — И Сашка договорил, перейдя на смущенный шепот: — Выпил. Закончил рукопись. Повод.

— Чуть-чуть, — уточнила Женя, вторгаясь в деликатную сферу, нисколько не смутившись и мгновенно закрепив за собой непререкаемое право на обсуждение самых болезненных внутрисемейных тем. — Мы от него наливку спрятали. Успели. Там коньяка было на доньшке, он выпил. Рюмки полторы.

Соня смолчала, подумав о том, что хрупкая девочка в джинсовой бахrome приберет к рукам, дай ей волю, и увальня Сашку, и этот дом, и всех его домочадцев.

Сониному отцу она понравится. Девочка отлита из прочного сплава. Бронетанковая девочка. Соне до нее далеко. Соня и сама сейчас далеко.

Она вошла в комнату. Сережа лежал поверх покрывала, откинувшись на подушку и прикрыв глаза.

— Посиди со мной, — попросил он, не открывая глаз. — У меня голова болит.

Соня присела на краешек постели. Вот ее муж. Бледное лицо, спутанные светлые волосы, высокие залысины, переносица перечеркнута тонкой красноватой вмятиной от дужки очков.

— Сашка взрослый совсем, — сонно пробормотал муж. — Большой... Женю привел... Разотри мне виски, ты умеешь.

Соня послушно приблизила пальцы к мужниным вискам, совсем седым. Но Сережа светло-русый, седина почти незаметна.

— Взрослый. Вырос сын. — И Сережа спросил после паузы: — Почему ты так долго не рожала, а? Шесть лет. Почему?

Сонины пальцы замерли на его висках. Он что, догадывается о чем-то? Знает?! Нет. Нет.

— Сережа, мы жили вместе с родителями. — Надо говорить первое, что придет в голову, не задумываясь. — Денег не было... И потом...

— Просто ты меня никогда не любила, — перебил муж. — Не любила. Не хотела рожать. Думала еще встретить кого-то. Того, кто...

— Ну хватит тебе.

— Тогда проще было бы расстаться.

— Сережа, ты выпил, ты устал. Я тоже устала, я очень устала, давай мы не будем...

В коридоре зазвонил телефон.

— Подойди, — попросил Сережа. — Я и правда устал. Если меня — я сплю.

Соня не шелохнулась. Она сидела, опустив на колени руки ладонями вниз, сидела с какой-то детской усталой покорностью, безвольно, смиренно.

Соня знала, кто это звонит. Она не будет снимать трубку. Он позвонит, позвонит — и перестанет. Вот и перестал.

— Что ж ты не подошла? — Сережа наконец открыл глаза и всмотрелся в ее лицо, по-своему истолковав этот усталый, пустой, неподвижный взгляд, эту позу. — Прости, я чушь сморозил. Забудь. Вот опять звонят. Подойди.

Соня послушно вышла из комнаты. В коридоре пусто — Сашка ушел провожать свою девочку. Телефон звонит и звонит. Как он смеет сюда звонить? Как он смеет?!

Она сняла трубку и услышала голос Андре, едва различимый сквозь треск, уличные шумы, далекий голос, заглушаемый гулом машин, чужими голосами.

— Соня! — кричал Андре. — Слышишь меня? Завтра! Четыре часа поровну!

— Нет, — ответила она.

— Как? — Андре стоял где-то там, в глубине, в сердцевине вечерней летней Москвы, под стеклянным козырьком телефонной будки. — Говори гласней! Да?

— Нет! — крикнула Соня, забыв о том, что ее может услышать Сергей. — Нет!!!

— Соня...

Андре замолчал. Ей было слышно, как рядом с ним, справа и слева от него, другие, чужие голоса что-то кричат своим абонентам, смеются, спорят, возражают... Вот теперь хорошо слышно. Очень хорошо. Чужие голоса совсем рядом. Чужие. А у Андре — родной.

— Соня, послушивай меня теперь. Мой контракт кончается через неделю.

Соня стиснула трубку одной рукой, другой туго-натуго перебинтовав телефонным проводом запястье. Как — через неделю? Через неделю он уедет? Навсегда?! Почему?! Нет! Нет.

— Соня! — крикнул Андре, и было понятно, что он очень волнуется. — Завтра, четыре часа. У... как это... У самого важного входа... Театр... минуту... — Он зашуршал, наверное сверяясь с запиской. — Да. Ваш воинский театр, солдатский. Как это... Театр военных действий. Ты знаешь, где это?

— Знаю. Везде, — ответила Соня. — У нас везде театр военных действий.

Через неделю он уедет? Уедет навсегда? Оказывается, она успела к нему привыкнуть. Уверилась в том, что он всегда будет рядом, близко, возле нее, с ней. Впереди уйма времени. Вечность.

«Мы падаем?» — «Падаем. Еще не скоро».

И можно падать и падать, медленно-медленно, долго-долго, как во сне, обмирая от страха и ничего не боясь, растворяясь в пустоте, в ласковой тьме, зная, что Андре — рядом, вот его руки, вот его плечи, вот его губы... Ничего не страшно, ничего не стыдно, вольная воля, свобода, свободное падение... И это продлится вечность.

Это кончится через семь дней.

— Соня, слышишь меня? — крикнул Андре. — Ты придешь?

— Да, — ответила она. — Да!

*22 августа 1983 года*

Без пятнадцати четыре Соня стояла у ступеней Театра Советской Армии.

Все складывалось как нельзя лучше. Она пораньше ушла с работы, сумев что-то наплести этому Андрею Ивановичу. Отпустил. Впрочем, заметил суховато, что, дескать, быстро же поостыл Сонин трудовой энтузиазм. Другие, мол, бьются за такую должность годами, а уж получив ее — рвут ноздри, вкалывают по-черному.

— Я наверстаю, — пообещала Соня, дрожа от радостного нетерпения, считая минуты. Половина третьего. Тридцать пять минут, тридцать шесть...

Теперь она поднималась по широченным ступеням пятиугольной громадины, озираясь по сторонам: может быть, Андре уже здесь? «Самый важный вход» — это главный вход, она давно научилась расшифровывать его неуклюжие перевертыши-неологизмы...

Ровно четыре. Как он вчера сказал? «Четыре часа поровну». Надо за ним записывать.

Вот, пиши-пиши. Будет что вспоминать, когда потеряешь его навсегда. Совсем скоро. Через неделю.

Нет, не нужно об этом думать. Еще семь дней впереди. Соня больше не будет отталкивать его руки, не будет лицемерно гнать его прочь. Трусливо. Постыдно. Не будет!

Четыре часа десять минут. Соня стояла у изножия гигантской колонны, прислонившись спиной к ее рифленому, почти горячему боку. Как жарко! Душное пекло. Ничего, на ней легкое короткое платье без рукавов, самое любимое. Светлая холстинка-дерюжка, глубокий вырез, тонкая полоска ручной вышивки. Очень простое платье, славное, все говорят — ей идет.

Половина пятого. Андре опаздывает. Это не страшно, он и вчера опоздал. Он работает. Такая профессия. Какие-нибудь непредвиденные обстоятельства... Но, меряя пространство между двумя колоннами, она уже чувствовала, как ликующее нетерпение сменяется тревогой.

Внизу, у подножия лестницы, томилась у своего лотка пожилая мороженщица. Кто ее сюда поставил, бедную? Зачем? Безлюдно, жарко. Ей бы выкатить свой хладный сладкий короб к Самотеке или к Палихе — уж там-то на него накинута страждущие. Соня рассматривала тетку под пестрым полосатым тентом, пытаясь отвлечься, глуша растущую тревогу. Без пяти пять. Где он?! Где ты?!

Соня снова прижалась к колонне. Опять глянула на мороженщицу и охнула: полосатый тент взмыл над металлическим стержнем, всплеснул красно-бело-зелеными холщовыми крыльями. Что это? Ей это почудилось?

Да нет же! Это ветер. Обыкновенный ветер. Налетел — и утих.

Ветер?! Да ведь Соня и забыла о том, что на свете бывает ветер, порывистый, сильный. Еще

бы не забыть! Еще бы не отвыкнуть от него за долгий месяц безветренной суши! Значит... И Соня подняла голову к небу.

О счастье! Спасение! Боже всеблагой, ты наконец сжалился над нами! Небо было свинцово-серым. Небо было затянуто тучами.

— Неужели дождь собирается? Наконец-то! — весело произнесла какая-то женщина, проходя мимо Сони. Она только что вывела из дверей главного входа ораву юных ленинцев — темный низ, белый верх, пилотки, красные галстуки. — Наконец-то дождь, ну надо же. Дождались... Дети! Все спускаемся вниз строем. Сейчас будет подан автобус.

Соня взглянула на часы. Двадцать минут шестого. Полтора часа прошло. Значит, Андре не придет.

— Тетя, вы с нами? — спросил Соню пацанчик лет десяти, замыкающий колонну детворы, уже спускающуюся вниз по ступеням.

— Я? — тупо спросила Соня. — А вы кто такие?

— Общесоюзная игра «Зарница», — победной скороговоркой ответил пацанчик, скача вниз как угорелый, и словно в честь этой солдафонской пионерской забавы, наверху, в поднебесье, что-то раскатисто, грозно, грозиво грохнуло — и покатилося долгим глухим эхом.

— Дети-и-и-и! В автобу-у-у-с! — завопила пионервожатая, оттаскивая от лотка мороженщицы юных ленинцев.

Соня присела на выступ колонны. Сейчас начнется ливень. Ну и пусть. Она вдруг отчетливо поняла, что не уйдет отсюда. Она дождется Андре. Даже если он придет через час, через два, вечером, ночью... Она будет его ждать. Она дождется.

Даже если он не придет никогда — она все равно его дождется. Понимайте как хотите. Женская логика.

Семнадцать сорок четыре.

Мороженщица уже сворачивала свой тент. Пионеры, весело галдя и толкая друг друга, забирались в автобус.

Снова гроыхнуло там, наверху, грохнуло, разорвавшись гулкими раскатами. И хлынул ливень.

Андре не приедет.

Соня отсюда никуда не уйдет.

Струи дождя уже хлестали по ее голым плечам. Она обхватила плечи руками. Можно войти в театр, спрятаться от стихии. А Андре? Он подъедет, не выходя из машины, обведет колоннаду быстрым внимательным взглядом. И уедет прочь, не найдя Сони. Значит, надо сидеть здесь.

Ливень шел стеной, плотной, сплошной дождевой завесой. Пенные потоки заливали ступени лестницы. Еще немного — и Соню просто смоет с каменного выступа. Потоп, настоящий вселенский потоп.

Все запасы дождевой влаги, скопившиеся за месяц иссушающей жары там, наверху, в бездонных небесных резервуарах, обрушились теперь вниз, на Москву, на пятиконечную машину Театра Военных Действий, на маленькую женскую фигурку, дрожащую от холода, промокшую до нитки.

Восемнадцать двадцать две. Короткое, тонкое, мокрое платье прилипло к телу. Волосы можно рукой отжимать. Дождевые струи стекают вниз по лицу, по щекам к подбородку.

Мокрая курица. Старая мокрая курица. Он не приедет.

Нет, он приедет! Еле живая, продрогшая, сотрясаемая ознобом, она все же не растеряла почти ожесточенной решимости сидеть здесь, на холодном мокром каменном выступе столько, сколько потребуется.

Ей просто некуда идти. Не к кому. Незачем. Ей нужен Андре. Только он. Значит, она дождется.

Восемнадцать тридцать семь.

Какой-то грузовик въехал на площадь перед театром, поднимая фонтаны брызг.

Соня поднялась со своего выступления.

Со стороны, издалека, могло показаться, что Соня стоит совершенно голая. Короткое, тонкое светлое платье, намочнув, облепило ее тело. Ни морщинки, ни складочки — будто эластичная пленка, повторяющая все изгибы и округлости. И тушь, и румяна, и помаду — все давным-давно начисто смыло дождем. Влажные волосы были откинуты ото лба к затылку, словно гладко зачесаны назад.

Соня такая, какая есть. Никаких женских ухищрений, ни следа от извечного бабьего набора простейших уловок. Ливень расправился с Соней, будто строгий отец, твердой рукой нагнувший к рукомойнику голову дочери, впервые, тайком, подкрасившей губы и ресницы.

Соня такая, какая есть.

Грузовик между тем подъехал к ступеням лестницы. Из кабины шофера выскочил Андре.

— Андрюша! — отчаянно и хрипло крикнула Соня. Крикнула — и ринулась к нему, сбегая вниз по ступеням. — Андрюша, я здесь! Здесь!

Потоки мутной дождевой воды стекали со ступеней. Соня неминуемо поскользнулась бы, упала, но Андре успел подхватить ее, взять на

руки. Он успел подбежать к ней, мокрой, дрожащей, озябшей, счастливой, тут же обхватившей руками его шею, крепко-крепко, крепче не бывает.

— Зачем ты не ушла? — покаянно бормотал он, неся Соню к машине, спускаясь вниз по этим имперским ступеням, по щиколотку утопая в мутной вспененной воде. — Я думал, ушла... Мы работали. Я не мог отпустить. Делал фото. Ваши космонавты... В летальном городе...

— В летном, — со смехом поправила Соня, быстро обцеловав его мокрое родное лицо. — Скажешь тоже — летальный. Летальным бывает исход... Не приведи господи.

Откуда эта свобода? Что происходит? Она делает то, что хочет, она ничего не боится, ей ничего не стыдно. Свобода! Свобода желаний и действий. Все стародевичьи запреты, все страхи, все табу опрокинуты. Забыты. Их нет.

— Что ты делаешь? — спросила Соня, увидев, что Андре несет ее не к кабине, а к кузову, крытому брезентом.

— Я не могу одевать тебя сухо рядом с шофером, так? — пояснил он, довольно ловко перенеся Соню через откидной борт кузова, осторожно опуская на что-то мягкое и жесткое одновременно. Какая-то серая косматая груда... Господи, да это же валенки!

— Поезжай! — что есть мочи крикнул Андре, обернувшись к открытой дверце кабины. — Сретенка!

И он перемахнул через бортик, приземлившись на гору жестковорсных коротких валенок. Задернув брезент, он повернулся к Соне, сидевшей на серой груде, на горе валенок, и го-

ра тотчас пришла в движение — грузовик тронулся, разворачиваясь на площади.

— Он отвезет тебя домой. — Андре придвинулся к Соне. — Это вяленки. Да?

— Валенки. — Она тихо, блаженно рассмеялась — опять напутал. Куда, интересно, везут валенки летом? Смешно.

— Русская поговорная басня. — И Андре обнял Соню, пытаясь согреть ее, мокрую, дрожащую. — Я знаю. Готовь сани летом, а тельнягу — зимой.

— Теле-егу! — поправила она его, смеясь. — «Тельнягу»! Ты как Фридрих мой... Тот тоже... Тельняга, тельняшка...

— Кто есть Фридрих? — Андре тут же скорчил зверскую рожу. — Немец? Тебе мало француза?! Буду убивать.

— Его? Меня?

— Оба-два. Ты холодная. Сними платье. Обуй мою рубашку.

— Надень! — Соня все еще смеялась, пытаясь расстегнуть «молнию» на мокром платье, «молния» тоже намокла, не поддавалась, не желала расстегиваться.

Андре мягко, но решительно развернул Соню спиной к себе, борясь с этой упрямой «молнией». Вот его дыхание у самой Сониной шеи, вот теплые, ласковые пальцы... Он расстегивал платье, и Соня выбиралась наружу, высвобождая голые плечи, озябшие руки, сбрасывая с себя эту мокрую холщовую постылую оболочку. Скорей!

На волю. На свободу. К Андрюше. Вот так. И Соня повернулась к нему, торопливо сдиравшему с себя рубашку, впопыхах, через голову, успев расстегнуть только две верхние пуговицы...

Скорее, скорее, уже Самотека, наверное. Самотека, разливанное дождевое море бурлит под мостом, по которому с грохотом проносятся машины. Андре застрял головой в рубашке, Соня бестолково и весело помогала ему. Скорей! Уже Самотека, сама, сама течет дождевою пенной мутной рекой к близкой Сретенке... Это скоро. Все скоро. Все рядом. Пускай!

И Соня откинулась назад, легла на спину, навзничь, на этот серый жестковорсный теплый настил, притянув к себе своего Андрюшу, ничего не боясь. Свобода! Вот как ее этим ливнем промыло, промыло насквозь, до сердцевины, до сердца, дождавшегося своего часа.

Сквозь узкую прорезь в брезенте мелькал мокрый московский асфальт, и первые огни отражались в нем.

Соня съезжала куда-то вбок по этому теплому шершавому настилу, прижимая к груди голову Андре, целуя его ладони, вжимаясь щекой в жесткий ворс, в эти теплые тупоносые валенки, шепча:

— Готовь сани летом... Готовь Соню летом...

Вся Сонина долгая жизнь, медленная, ровная, внятная, но лишенная главного смысла и главной цели, наконец обрела их разом, и цепь сомкнулась, ибо было найдено недостающее, самое важное, единственно важное звено.

И разве смогла бы она теперь, когда грузовик наконец остановился, когда шофер хлопнул дверцей, крикнул: «Приехали! Луков!» — разве могла она, отведя руки Андре, поднять, натянуть на себя мокрое платье, прыгнуть вниз, на залитый дождем асфальт Лукова переулка?

— Я не хочу, — твердо сказала Соня. — Не хочу никуда от тебя.

Он понял. И принял решение.

— Куда ты поезжаешь? — крикнул Андре, повернувшись к щели в брезенте.

— Ярославка, — откликнулся шофер. — Двадцать шестой километр.

— Это под Москвой. — И Соня выпалила растерянной счастливой скороговоркой: — Господи, что я делаю, потом жалеть буду!

— Там комнату можно нанять? — крикнул Андре. — Мотель? Можно?

Шофер закатился хрипловатым хохотком, насмешливо повторил:

— «Мотель»! Даете! Ты кто, вообще? Болгар?

— Прибалт, — привычно соврал Андре.

— Ясно. — Шофер помолчал. — Ладно. Будет тебе мотель. Считай, на побережье. На взморье. Поехали.

Андре первым спрыгнул вниз, раздвинув брезент. Потом он протянул Соне руки, Соня обняла его за шею, и он переместил ее из одного мира в другой. Из одного пространства в другое. Из шаткой теплой брезентовой кибитки — в прохладу, во тьму августовской ночи.

— Ты горячая, — встревоженно отметил Андре, прижав Соню к себе.

Они стояли рядом почти у самого края невысокого обрыва. Внизу темнела узкая полоса песчаного берега, а дальше — господи! — дальше угольно, маслянисто поблескивала гладь ночной реки. Ока.

— Ока? Так? — спросил Андре.

— Ока. Чем те не взморье? — весело откликнулся шофер, сбегая вниз по склону к за-

брошенному дебаркадеру, стоящему на причале на вечной привязи — ни людей, ни огней. — Спускайтесь! Вот тут тропочка.

— Ты горячая, — повторил Андре, поплотней запахнув на Соне свою рубашку. Теперь он и футболку с себя снял, повязав ее вокруг пылающей от простудного жара Сониной шеи. — Погоди меня. — И он снова забрался в кузов.

Соня ждала его у обрыва. Маленькая, нелепая, похожая на Пьеро в этой огромной просторной рубаше, достающей ей до колен. Руки утонули в длинных, на два пальца длиннее, чем нужно, рукавах, а белый хлопковый то ли бант, то ли шарф, сооруженный из футболки, повязан вокруг горячей шеи.

Она стояла, блаженно улыбаясь (нет, не Пьеро, у Пьеро брови горестным домиком), покачиваясь от слабости... Все равно это счастье, блаженство, тонкая ткань еще хранит тепло и запах его тела, рукав футболки щекочет Сонины пересохшие губы. Вот так стой и вдыхай родной запах, желанный запах его смуглой кожи, пьяней, слабей, плавься от жара.

Да она уже расплавилась там, в тесном, шатком, жарком кузове, под этим мокрым брезентом. Где огонь — там и воск. Где воск — там и пламя.

Готовь Соню летом. Андре ее переплавил. Растопил затвердевший воск, тот стал податливым, мягким, послушным, горячим. Он слепил из нее другую женщину. Новую женщину. Женщину.

Женщину. Жар — он сейчас растает, это страшно... Но все плыло у Сони перед глазами, сливаясь в одно дрожащее, зыбкое, тускло мерцающее пятно.

Андре вернулся, опустился к Сониным ногам. Как Фридрих, обморочно подумала Соня, почему-то вспомнив о Фридрихе, опустившемся к ногам своей Матлюбы.

Андре снял с нее туфли, и колкий ворс зашекетал голые Сонины пятки — это Андре обул ее в валенки. Заботится. Согревает.

Он взял ее на руки и понес вниз. Что-то сказал, поцеловал в мочку уха... Щекотно.

Запах реки после ливня: речной мелкой гальки, намокшего, набухшего, потемневшего от дождя песка, острый, русалочий запах водорослей и тины... Это мазут, а это мокрая пенька и ветошь... Резкие, сильные, свежие, рыбацкие запахи. Они удерживали Соню, ее сознание.

Жар, обморочная слабость.

— Погожди, — прошептал Андре, осторожно поднимаясь на дебаркадер по шаткому узкому трапу. — Сейчас, скоро... Я тебя выздоровлю.

В этом самолете тоже жар, пекло, ад, люди мечутся по салону, крича и воя, задыхаясь от едкого желтого дыма.

Уже горит обшивка, скручиваясь в рваные, жеванные лоскутья, падая на искореженные, объятые пламенем сиденья. Шипит и пенится горящий пластик, а человеческая кожа...

Закрой глаза! Не смотри! Отвернись!

Острый запах спирта ударил ей в ноздри. Соня открыла глаза.

Это сон был. Только сон. Это Сонин кошмар. Горячный бред.

— Вернулась! — просиял Андре. — Моя радость. У тебя был бред. Ты стонала.

— Я простудилась, Андрюшенька. — Соня притянула его к себе. — Настоялась там,

под дождем... — Она говорила с трудом, но ей было легче. Первая волна жара отхлынула от лба, щек, шеи, тела.

Андре осторожно высвободился, наклонился к табурету, стоящему рядом с кроватью, подлил спирта из трехлитровой бутылки в фаянсовую миску и, окунув ладони в бесцветную жидкость, снова принялся за работу.

— У тебя инфлюэнца, — деловито, тоном знатока пояснил он. — Ничего. Я тебя поправлю.

— Инфлюэнца. — Соня чуть слышно рассмеялась, задыхаясь от слабости, от нежности, от полноты и силы чувств, неведомых ей прежде, теперь же распиравших ее изнутри, рвавшихся наружу, требующих немедленного изъяснения. — Инфлюэнца, скажешь тоже! Ты еще испанку вспомни. Эти твои словечки... из бабушкиного сундука.

И она снова попыталась притянуть его к себе. Голый до пояса, влажный то ли от пота, то ли от спирта, сосредоточенно, неумело, старательно, любовно втирающий этот крепчайший, невесть где им добытый бальзам в Сонину кожу... Родной. Целитель. Спаситель.

Андре приподнял ее над влажными простынями, перевернул на живот, касаясь ладонями узкой спины, острых лопаток, втирая в них огненный животворный настой.

Соня уткнулась лбом в скомканные простыни, потемневшие от ее пота, от спирта. Лоскутное крестьянское одеяло соткано из ярких, пестрых ситцевых заплат.

— Мы на дебаркадере? — спросила Соня.

— Да. Коля дал кров. Коля дал спирт. Сюда не причаливают. Все теплоходы в миле отсюда. Но будет тепло. Уже тепло. Видишь — печка. Я зажег.

— Затопил, — привычно поправила его Соня, приподнявшись на локтях и разглядев наконец маленькую каюту и печку, чугунную круглую ось, соединяющую низкий потолок с дощатым полом.

— За-то-пил? — удивился Андре, продолжая втирать спирт в ее тело, уже блаженно горящее под его ладонями, ставшее легким, почти невесомым. — Затопил чем? Водой? Нет, Коля дал мне хворостья.

— Дурачок ты мой, — Соня перевернулась на спину, — русский язык многозначен. Неуч. Гнать тебя нужно из твоей «Юманите».

Андре чуть-чуть отпил из бутылки сам и, охнув, быстро сказал несколько слов по-французски.

— Дай мне попробовать, — попросила Соня, глядя его обнаженные руки. — Каплю. Просто интересно попробовать. Я никогда...

— Нет, — перебил ее Андре, усмехнувшись. — Ты мне живая нужна. Это Колин спирт. Коля принес из машины. Он уехал. Золотой мужчик.

— Мужчи-и-ик! Балда ты моя французская.

Он поставил бутылку на табурет, смешно отфыркиваясь и скорчив гримаску.

— Доктор! — И Соня снова притянула его к себе, полубессвязно бормоча: — Доктор, вы знаете, какое самое лучшее лекарство? Ву компрене?

— Уи, — ответил он по-французски, и уж это-то она поняла. — Да, — повторил он по-русски. — Я понимаю. Я знаю.

Соня проснулась. Ночь. Тихо-тихо. Слышно, как редкие капли дождя мерно, сонно стучат по металлическим поручням, там, за окном

каюты. Значит, снова идет дождь. Слышно, как потрескивают в круглобокой печи догорающие дрова. На Андрюшином русско-французском-тарабарском дрова — это «хворостья».

И Соня протянула руку к соседней подушке. Пусто. Она резко села на постели, откинув в сторону край лоскутного одеяла. Ее обожгло каким-то первобытным, животным ужасом: нет его! Где он? Где?!

Как будто он всегда был рядом, столько, сколько Соня себя помнит, и, если его нет, — это катастрофа, смертный ужас, край.

Еще не проснувшись толком, обмирая от панического страха, Соня повернулась к окну, благо оно было рядом, распахнула створки.

Окно выходило на узкую палубу. Там, за поручнями перил, чернела ночная река, шел тихий дождь. Прохлада, сырой, пропитанный дождем воздух, утром будет туман...

И Соня успокоилась. Она вспомнила. Она же сама отправила Андре в деревню, чтобы он позвонил в Москву Ирке. А уж Ирка... Ирка должна позвонить Сереже, что-нибудь ему наплести, успокоить. «Плести? — переспросил Андре, одеваясь. — Плетка?» И Соня, усмехнувшись, тихо сказала: «Плетка мне будет. Мне, милый. Промеж ребер. Потом».

Сережа. Теперь, когда Соня вспомнила обо всем, чувство панического страха за Андре сменилось чувством тяжелой вины перед мужем.

Сережа. Как теперь жить с таким грузом вины?

Соня набросила на голые плечи Андрюшину рубашку, вдела руки в просторные длинные рукава. В каюте было жарко, и она оставила створки окна приоткрытыми. Самоубийствен-

ное решение: от окна тянуло речной сыростью, прохладой почти осенней ночи, а Соня сидела на сквозняке, левым плечом, рукою, бедром окунаясь в жар натопленной душной каюты, подставив правое плечо сырому ночному ветру.

Через неделю Андре уедет навсегда. И умрет для нее, для Сони.

Как она будет жить? Как, если только что, забыв, что Андре ушел ненадолго, она обмирала от смертной тоски? Как она будет жить? Зачем ей жить?

Сейчас бы добить себя, полубольную, мокрую от испарины, стынувшую на сквозняке. Инфлюэнца. Испанка. Отек легких. Конец.

Грех! Прости, Господи. Грех. Соня крещеная. Мать тайком от отца крестила ее, совсем маленькую, Соня ничего не помнит, она не ходит в церковь, но ее крестильный крестик лежит на дне материнской шкатулки, под бабушкиными агатами, под матово-дымчатым маминым жемчугом, под коробочками с обручальными кольцами, которые никто не носит, под старинным, ветхим складным веером, под театральным биноклем с облупившейся перламутровой инкрустацией...

Грех! Надо гнать от себя эти подлые мысли. И Соня потянулась к створкам окна, чтобы прикрыть их.

— Соня-а! Соня-а-а-а!!!

Андре звал ее с берега. Соня спрыгнула вниз, на теплый дощатый пол, выскочила из каюты, босая, в рубашке на голое тело, еще слабая, мокрая от пота. Сбежала вниз по шаткому трапу, на бегу застегивая пуговицы на рубашке, одной рукой, вкривь и вкось, перепутав петли.

Андре стоял на вершине обрыва. Человек десять мужиков, явно нетрезвых — вон как их шатает, как они возбужденно, нестройно галдят — толпились вокруг него.

— Пустите его! — хрипло крикнула Соня.

Но Андре уже сбегал вниз по узкой тропинке, Соня толком испугаться за него не успела. Рюкзак через плечо, телогрейка... Еще одну, свернутую потуже, он несет под мышкой... Поскользнулся, качнулся, устоял на ногах...

— Соня-а, нас зовут на свадьбу!

А, вот оно что. «Свадьба». Они его подпоили. Конечно, конечно.

Как странно. Смешная штука жизнь! Еще вчера получужой, сегодня — роднее не бывает, он торопится к Соне, спускается вниз, к ночной Оке, скользя по глине, размытой дождем, полураздетый, в этой дурацкой телогрейке, с рюкзаком через плечо. Что там? Щедрые деревенские дары, молоко да сметана?

— Соня, пошли на свадьбу! — Пьяненький, размягченный, едва стоящий на ногах, да, милый, это тебе не шато-шабли, это наше русское ядреное, огненное пойло...

А местное развеселое мужичье столпилось на краю обрыва, похохатывая, вон у них и гармонист, и гармошка.

— Осторожно, там камень! — Соня кинулась навстречу Андре, обняла его, пьяного французского дурака. Господи, как от него разит сивухой!

— Это тебе. — Он развернул телогрейку, набросил ее на Сонины плечи. — Соня, какие люди! Как я люблю русских! Душа нарасшвырку!

— Нараспашку... Ты по трапу поднимешься? Сможешь?

— Пойдем на свадьбу!

— Никаких свадеб. У меня инфлюэнца. Ты пьяный. Ты дозвонился до Ирки?

— Да, да, да, — бормотал Андре, первым поднимаясь по шаткому трапу и протягивая Соне руку. — Такая хорошая Ира. Она все наплетет твоему... этому... Соня! — с хмельным ликованием в голосе воскликнул он. — Как я люблю русских! Французы... Тьфу! Ты не знаешь французы. Скупые, скучные, душа — вот такая... с наперстень.

— С наперсток.... Сейчас упадешь... О-о-ой, накаркала!

Андре, качнувшись вправо, сверзился с трапа в воду. Соня спрыгнула следом. Хохоча, пытаясь его поднять, оглянулась на берег, на обрыв: видят? Нет, слава богу, ушли.

— Ты поздоровела, — одобрительно отметил Андре, поднимаясь на ноги и вытаскивая из воды мокрый рюкзак.

— У меня доктор хороший.

— Там были пироги, — вздохнул Андре, осматривая рюкзак и счищая с него водоросли. — Давай отдадим их рыбам. На ланч. Соня! — Торжественно, прочувствованно: — Вот русские! В магазинах — пустыня, ничто. Но ты делаешь приватный визит — о, русский тебя накормит от ушей. Так сыто!

— Выходи, — засмеялась Соня и потянула его за руку из воды, такой теплой у берега.

— А французы? — гневно вопрошал Андре, послушно идя за ней. — В магазинах есть все. Но ты приходишь к друзьям, и что? Канапе! И капля аперитива. Русские! Божетворю!

— Боготворю... — Соня вела его за собой по трапу, крепко держа за смуглую мокрую, грязную руку.

— Соня! Почему вы так плохо живете? — Андре бросил на палубу дебаркадера мокрый рюкзак с разбухшими пирогами. Сам уселся рядом, по-турецки скрестив длинные ноги в мокрых джинсах, пьяненький, веселый. Русская водка пошла ему впрок.

Водка для мужика — как лакмус. Проявляет все тайное, истинное, тщательно скрываемое. Подлинные свойства натуры проступают со всей очевидностью. При условии, что выпито не мало, не много, а так, чтобы стрелка остановилась вот у этой самой контрольной отметки, у каждого она своя.

Если из подвыпившего мужика прет тоскливая злоба, вздорность, мутная желчь — вот таков он и есть. Обойди его десятой дорогой.

Сонин французский дурила был во хмелю размягченно-добродушен, говорлив, весел, по-детски дурашлив. Соня им любовалась. Соня его обожала.

— Почему вы так плохо живете? Почему нет ничего в магазинах?

— Это ты спроси у своего Жоржа Марше, — беззлобно огрызнулась Соня, тоже опустившись на сырые теплые доски, рядом с ним. — У хозяина твоей коммунистической партии. Почему ты работаешь в «Юманите»? Ты что, коммунист?

— Не касай моих убеждений! — отрезал Андре.

Он подтянул к себе рюкзак, в котором хлопала вода, позвякивали бутылки и банки. Развязал шнуровку, принялся выгаскивать из походной самобранки все, чем одарила его деревенская свадьба.

— О, это я знаю! Бернар рассказал... Кваше-на капустья! — И он сочно захрустел капуст-

той, набив ею рот, и уже вытаскивал из рюкзака кусок соленого сала, белейшего, с темно-розовыми прожилками, густо обсыпанного тмином и перцем. — Я знаю! — хвастливо, как школьник на переекзаменовке, завопил Андре. — Это... как это... Сальное мясо!

— Сало. — Соня уткнулась щекой в его плечо.

Снова нахлынула слабость. Ничего. Зато она счастлива. Она совершенно счастлива. Вечность бы так сидеть!

Ночь. Август. Река. Заброшенный дебаркадер. Дождь едва накапывает, лениво, еле-еле... Вот так бы сидеть, уткнувшись щекой в его родное плечо, в эту мягкую, ватную, ветхую деревенскую телогрейку. Тело в тепле. И душа согрета.

— Это топленое масло, — пояснила Соня, по-кошачьи обнюхав содержимое литровой банки, которую Андре поднес к ее носу.

— Топленое? — Он вопросительно поднял свои темные низкие брови. — Его тоже топили? Как печку?

Соня молча покачала головой, тихо, беспричинно смеясь.

— Хорошо. Но почему «топленое»? Его тоже уроняли в реку?

— Отстань от меня, балда. Это такая специальная русская процедура. Русский патент. Понял? Зато оно долго хранится.

— Зачем? — изумился Андре, вытаскивая из рюкзака банку с густым, темным, почти чайного цвета медом. — Зачем хранить масло, когда можно сделать свежую покупку?

— Ох, милый... Ты же сам только что спрашивал про наши пустые прилавки, — вздохнула Соня, отнимая у него мед. Может, это то, что

ей нужно. Лекарство, верное снадобье. — У нас пустые прилавки, господин убежденный коммунист.

— Сдаюсь! — Андре поднял вверх руки, едва не до локтя вылезшие из куцых рукавов телогрейки. — Сдаюсь, Соня. Меняю «Юманите» на «Фигаро».

— Быстро же ты меняешь убеждения...

Соня пригляделась к банке с медом. Аптекарской резинкой к крышке был прижат крохотный листок бумаги. Соня развернула его и прочла, поднеся к глазам.

— Та-ак... — протянула она, смеясь. — Попался! Ты не только убеждения меняешь. Бабник!

— Что это? — насторожился Андре.

— Вот написано: «Звонить через семерку. С приветом. Валя». И телефон.

— Соня, это провокация! — возмутился Андре, отняв у нее записку. — Какая Валя? Их было много! Там, на свадьбе!

— Ах, много? — Соня затрясла его за широкие ватные плечи, изображая африканскую ревность.

— Они меня все обхватили! Выступили на крыльцо!

— Ах, обхватили?

— В темноте... Какая семерка? Это кто-то... как вы говорите... «Под шумок».

— Ах, под шумок? — И Соня толкнула его в грудь, опрокинув на палубу дебаркадера.

Андре притянул ее к себе. Видел бы их кто-нибудь сейчас! Парочка сумасшедших, полуголых, растрепанных, в расстегнутых телогрейках...

— Значит, под шумок? Там еще и телефон есть. Так и написано: «Раб. тел.». «Рабочий телефон» — сокращенно.

— Соня! — Андре обнял ее и подмял под себя, шепча с французской экстатической пылкостью, надо потом рассказать ему про мамочкины страхи, про Золя, про маркиза де Сад — де Огород — то-то он посмеется. — Соня, я не знаю никаких «раб. тел.». Я раб тела!

...Ночь. Шелест тихого дождя. Мокрые широкое теплые доски. Запах реки. Кончается август.

— Соня, я раб твоего тела. Да? Да. Вот так.

Потом, уже в каюте, когда он уснул, Соня придвинулась к нему поближе, легла на живот, поудобнее пристроилась в узком жарком пространстве между его грудью и левой рукой, лежащей на лоскутном одеяле. Подбородком она уткнулась в свои скрещенные руки.

Андре лежал на спине, ровно, тихо дыша во сне, и можно было беспрепятственно сколь угодно долго смотреть на него. Вот выпуклый, высокий, упрямый лоб. Вот узкая переносица, породистый крупный нос с отчетливой, резкой горбинкой. Испанский нос, каталонский, теперь Соня знает его родословную, причудливые сплетения южных кровей.

Андре рассказал ей так много! Оказывается, это очень важно, это необходимо — знать все, что только можно знать о его предках, прапрадедах, прапрабабках. Жадно, запоминая каждую мелочь, каждую подробность, она, Марья, родства не помнящая, толком не знающая истории своей собственной семьи, она внимала его сентиментальным, долгим рассказам про деда по отцовской линии, сурового и работающего каталонца. Он выращивал виноград. Там столько солнца, там такие животворные земли! Андре так и сказал — «животвор-

ные», жирные, рыхлые, сочные, плодоносные земли...

А Соня слушала, представляя себе этого сумрачного, чернобородого, кряжистого испанца посреди виноградной плантации, стоящего босиком на горячей и рыхлой, животворной каталонской земле.

Андре рассказывал, Соня слушала. Иногда снова накатывала на нее волна слабости. Болезнь тлела в ней, в ее горячем, слабом теле, но счастливая, сумасшедшая ночь не позволяла болезни разгореться. Жар любовный и жар простудный то ли боролись друг с другом, то ли соединялись, сливаясь в единый пламень, гори, гори, гори все огнем!

Соня вслушивалась в шепот Андре, временами проваливаясь в обморочное забытие, на несколько минут теряя нить его долгого рассказа, потом, очнувшись, снова ловила каждое слово: Испания, Каталония, виноградники... Север Франции, угольные копи, дочка шахтера, бабка Андре. Как сюда забрел виноградарь-испанец? Провалы в памяти, полуобморок, жар...

Его бабка по материнской линии, да, та самая, русская бабка, «сударыня», «инфлюэнца», «мужчин»... Андре воспитала русская бабка. Мать умерла, когда ему было шесть лет, нет, он ее не помнит. Только мягкие руки, фарфоровая миска, мать сбивает ему гоголь-моголь, быстро, весело мелькает фарфоровая лопаточка... Теплый, золотистый блеск желтка, облако воздушной пены...

Соня слушала, и сердце ее сжималось от нежности и сострадания, от благодарности за эти признания, за сбивчивый шепот, за этот искренний, подробный, простодушный рассказ...

Мать умерла, бабка повздорила с отцом Андре, отец устраивал свою жизнь. Андре был отправлен в Гасконь, к дальним родственникам.

— Гасконь? — ликующе переспросила Соня. — Дюма? Д'Артаньян?

Сказочная книжная история из Сониного детства, томик Дюма, с ветхим корешком, толстый, растрепанный, со штампиком отцовской библиотеки. Волшебная, придуманная Гасконь.

Нет же! Она была и есть. Вот он лежит, раскинув в стороны красивые смуглые руки. Он оттуда. Он там жил. Он оттуда, из несбыточной, заоблачной Гасконии.

Маленький городок, длинное нарядное название Олорон-Сент-Мари... У самых Пиренеев, у их изножия. Андре жил на ферме. Ему было восемь лет. Ночами он плакал. Он вспоминал мать, смотрел на огонь. Печь топили можжевельновыми ветками, этот горький, печальный осенний запах он помнит всю жизнь.

Он помнит, что был там, в Олорон-Сент-Мари, вечно голоден. Люди, у которых он жил, были бедны. Только козий сыр, хлеб и вино.

— Вино? — удивилась Соня.

Да, вино. Красное вино разбавляли водой. Ты пьешь — и не чувствуешь голода. На время. Вот так... Слезы, черствый хлеб, запах можжевельника, разбавленное красное вино...

Тоска по матери. Потом приехал отец, забрал Андре домой. К бабке.

— На которую я похожа, — добавила Соня.

— Нет! — запальчиво возразил Андре. — Я не мог тебе объяснить. Это трудно. В тебе... В русских женщинах, в общем...

— Вообще.

— ...Вообще, хорошо, правь меня! В русских такая полнота чувства! Ты — мать, ты — тепло, я увидел тебя тогда сразу, да? Я понял... Я обвер... как же... обволокусь, оденусь в тебя, как в тепло, буду согреваться, это важно мне, понимаешь?

— Я понимаю.

— Соня... Хворающая кошка ищет траву, свою траву, эта трава ей помогает. Ты понимаешь? Я здоровый кот. Что ты смеешься? Но мне нужна... Что ты смеешься, это серьезно! Мне нужна эта трава. Ты эта трава. Русские женщины... как это... бабы... Была большая война. Они перестрадали. Умеют жалеть.

— Это правда, милый. Мы настрадались. Это правда.

— Но мне нужна не русская в общем. Мне нужна ты... Всё. Я устал.

— Так поспи. Спи, милый, — шептала Соня, глядя его спутанные, густые, каталонские, французские волосы.

Теперь она смотрела на него спящего. Так смотрят, чтобы запомнить. Осталось шесть дней. Потом он уедет. Навсегда.

Андре открыл глаза. Сказал, притянув к себе Соню:

— Я твои глаза увидел над своим сном.

— А что тебе снилось?

— Не помню. Неглавно.

— Неважно, — привычно поправила его Соня.

— Соня... — И он спросил, сведя к переносице свои красивые широкие темные брови. — А почему ты Соня? Редкое имя. Русская литература. Достоевский. Так?

— Боже! — ахнула Соня. — Какой ты у меня начитанный!

— Сорбонна.

— Бо-оже!

— Отделение славистики. — И Андре добавил значительно, важно (как они любят прихвастнуть, обожают, был бы повод, мужики — как дети — русские, французские, один черт): — Я... как это? Не шитом лыком. Соня. Русская классика. Так? — Он потянулся к наручным часам, лежавшим рядом, на табурете.

— Так, милый, — подтвердила Соня. — Моя начитанная мамочка назвала меня в честь двух своих любимых — в честь Сонечки Мармеладовой и в честь Сони из «Дяди Вани».

— Я знаю, Чехов. — Андре всмотрелся в циферблат. — Они не работают. Подарок Вадима. Свои часы я задул в домино.

— Продул. У нас транзистор есть маленький. — Соня поднялась с постели, кое-как обмотавшись простыней. Едва устояла на ногах: слабость, голова кружится. Инфлюэнца, будь она неладна. — Я видела в телогрейке, в кармане... Какой-нибудь мужик со свадьбы расщедрился.

— Соня, какие русские! Какие души! — снова запел Андре свою благодарственную песнь.

Соня, посмеиваясь, достала из кармана мокрой телогрейки маленький транзисторный приемник, тоже влажный. Работает ли?

— Молчит, — сказала она, включив транзистор и настроив его. — Не работает. Наверное, часа три уже. Скоро светать начнет. Так вот. Что касается Сони... Когда я выросла и прочла эти книги, я страшно возмутилась. Я сказала: «Мама! Зачем ты назвала меня в честь уличной женщины? И в честь некрасивой, несчастной старой девы?» И моя мамочка — восторженная идиотка, я вся в нее... — она мне от-

ветила: «Ты потом поймешь. Они умели жертвовать собой. Умели любить. Они самые счастливые».

Соня замолчала. И Андре молчал. Молча они смотрели друг на друга, и в этой зыбкой ночной тишине, когда слышно, как глухо потрескивают догорающие в печи «хворостья», как суетливо и испуганно хлопает крыльями, кружа у раскаленной лампочки, залетевшая сюда бабочка-капустница, в этой тишине голос радиодиктора торжественно и веско произнес:

— Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует...

— Батюшки! — ахнула Соня, растерянно глядя на Андре. — Всего-навсего полночь. А я думала — вечность прошла... Всего только полночь!

Но уже звучал гимн, советская величавая песнь, «Союз нерушимый»...

Они молчали, глядя друг на друга, вслушиваясь в державные, мощные аккорды. Обычный еженощный ритуал сегодня казался особенным, наполненным тайным глубоким смыслом.

Сигналы точного времени. Вот они. Сегодняшняя ночь — это сигналы точного времени. Как будто вся долгая Сониная жизнь и жизнь Андре до этой ночи, до этого рубежа была Неточным Временем. Замечательным, вполне счастливым, вместившим в себя столько, сколько должна и может вместить сорокалетняя человеческая жизнь. Но это было неточное время.

И только теперь, сейчас, когда они смотрели друг на друга, вслушиваясь в победоносные созвучия советского гимна, только теперь Вре-

мя наконец объявило им о том, что для них обоих оно стало Точным.

Время просигналило им об этом сквозь шорох и треск старенького транзисторного приемника, лежащего на голых Сониных коленях, кое-как прикрытых самодельной холщовой крестьянской простыней, старательно на руках подрубленной кем-то по краю.

*23 августа 1983 года*

— Женя! — кричала Соня, зажав ладонью левое ухо. Совсем ничего не слышно. — Женя, это Софья Владимировна! Женя, позови Сашу!

— Он спит. И Сергей Юрьевич тоже. Они поздно легли, оба.

Откуда Женя об этом знает? Она что, ночевала у них дома? Час от часу не легче.

Соня, бледная, с ввалившимися глазами, в мятном платье, стояла у колченогого стола в диспетчерской подмосковного желдорвокзальчика. Соня звонила домой. Женщина-диспетчер, милостиво разрешившая сделать звонок, смотрела не на Соню — в окно, на Андре, который стоял посреди пустынного утреннего перрона.

Диспетчерша, плотная, простоватая баба лет пятидесяти, оглядела его, смолящего свой «Житан», рослого, смуглого, красивого, в ненашенской настоящей джинсе, и перевела взгляд на Соню.

— Женя, а ты... Ты что, ты у нас ночевала? — почти заискивающе спросила Соня.

Вообще-то Соня могла бы и не звонить. Верная Ирка, даром что язык без костей, но за Соню в огонь и воду, — верная Ирка уже обеспечила подруге железное алиби. Но Соня все же решила позвонить.

Сердце сжимается от тоски и тревоги. Там, далеко, за тремя неразъемными кольцами, автоторожным, Садовым, Бульварным, в утренней Москве, в тихом Луковом переулке, спит обманутый муж. И брошенный сын тоже спит, как всегда натянув одеяло по самые брови. И эта хитрюга хиппоза, будто почуяв, что место хозяйки вакантно, уже там. В девятом часу утра уже там, и голосок у нее уверенно-властный, и в трубочку она зевает по-хамски, не церемонясь.

— Да, я у вас ночевала. Да не волнуйтесь вы! — Снова зевок. — Саша мне раскладушку на кухне поставил. Я его подтягивала по физике до трех ночи. Он совершенно ни бум-бум, а я секу. Ему и по физике нужно репетитора нанять. — И, обнаглев сверх всякой меры, чеканно, тоном прокурора, оглашающего приговор: — Вы, Софья Владимна, совершенно сына запустили. Извините. Как-то, в общем, ослабили контроль.

Вот так. Больнее не ударишь. Соня сдержалась, смолчала. Диспетчерша стояла спиной к ней, опять рассматривая Сониного невыспавшегося красавца, меряющего широкими шагами пустой перрон.

— Женя, передай Сергею Юрьевичу: я буду дома часа через два.

Соня старалась говорить сухо и холодно, но в голосе помимо ее воли звучали жалкие, суетливые, покаянные нотки. Она перед всеми виновата. Всякий может теперь бросить в нее камень, и будет прав. Всякий, даже эта юная стерва в джинсах с бахромой, знаем мы эту раскладушку на кухне, физику до трех ночи. Сережа уснул, вы и...

А сама-то?!

Господи, как болит голова, и рука, сжимающая телефонную трубку, дрожит от слабости.

— Передай Сергею Юрьевичу: я буду дома часа через два с половиной. Я ночевала у подруги.

— Я знаю. Она звонила. — И что-то вроде насмешливого недоверия примешивается к этому невозмутимому «я знаю». Или это Соне только кажется?

— У меня подруга приболела. — Зачем она это объясняет? Она что, оправдывается перед этой наглой пигалицей в бахроме? — Я вызвала «скорую». У Иры давление поднялось... Резко. Потом упало.

Бред, суший бред.

— Я передам, — с ленцой молвила юная нахалка.

Соня повесила трубку. Пальцы мелко-мелко дрожали. Вот тебе плата за Точное Время. То ли еще будет!

— Бедная Ира! — невозмутимо заметила диспетчерша, по-прежнему стоя к Соне спиной и глядя на Андре, который, изнемогая от долгого ожидания, изучал расписание электричек на Москву. — Такая симпатичная Ира, вроде с виду здоровенькая... Здоровенная даже, можно сказать.

Соня молчала, задохнувшись от стыда, от бессильного возмущения, оторопев, онемев. Вот тебе плата. Всякий имеет право дать оплеуху. Даже эта незнакомая баба, безошибочно разгадавшая несложный ребус, по-славянски бесцеремонная, по-подмосковному колкая на словцо.

— Че ж это у вашей Иры приболело-то? — продолжала между тем диспетчерша, насмешливо глядя на Андре. — Че ж это у Иры резко поднялось? А потом упало?

— Ну знаете ли... — пробормотала Соня, расправляя на бедрах мягкое свое платье. А где было его выгладить? Чем? — Знаете что...

— Знаю. — Диспетчерша повернулась к ней, привалившись спиной к широкому подоконнику и скрестив руки на груди. — Знаю. Ты давай завязывай врать-то. — Она смотрела на Соню без осуждения, почти сочувственно. Искренне желая помочь. Грубовато, нахраписто, напрямик, по-расейски, но — помочь. Дать верный совет. — Завязывай. Запутаешься. У тебя врать не получится. Ты честная баба-то, я ж вижу.

Можно было бы возмутиться. Можно было бы просто уйти, хлопнув дверью. Соня не сделала ни того, ни другого.

— Честная? — глухо спросила она. — А как вы это определяете?

— А на глаз, — хмыкнула диспетчерша. — Не ври. Через месяц, самое большее, твой Сергей Юрьич тебя к стенке припрет.

— Нет у меня месяца, — вздохнула Соня. — Он уедет через неделю. Навсегда.

— Через неделю? — Диспетчерша повернулась к окну. Андре снова курил, не видя их, не чувствуя их взглядов. — А знакомы давно?

— Столько же, — призналась Соня с той внезапной отчаянной откровенностью, с какой открывают душу случайным попутчикам.

— О-ой, плохо, — сказала диспетчерша, помолчав. — Если б еще годок-другой с ним проваландалась... Осточертел бы. Больно сладкий. Сама б ушла. Разошлись бы, как в море корабли. Плавно. Друг дружкой довольные. А если пятнадцать денечков всего... Да с мясом от себя отодрать... Плохо. Всю жизнь будешь помнить. Мучиться.

— Мне так и так теперь мучиться, — пробормотала Соня. — Жить с моим... грехом. Не знаю как. Не знаю.

— Люди всяко живут. — Диспетчерша пожала плотными плечами, стянутыми тесноватым форменным мундиром. — Вон у меня шурин двадцать лет жил с осколком в правом легком. Ничего, жил. Пока не помер.

Браво, браво. Вот вам русские слова утешения. И Соня рассмеялась от неожиданности, негромко, сипло. Вот вам расейское скупое бабье сочувствие. То ли плетью огрела, то ли приголубила напоследок, напутствуя рубленным, едким словцом.

Осколок в легком. Осколок в сердце. «Мы падаем?» — «Падаем, да».

...Мест в вагоне электрички было предостаточно, можно было войти и сесть у окна, но Соня не захотела. Вовсе не потому, что короткое ее платье стало еще короче, село оно, что ли, после того как попало в гигантскую лохань безжалостной прачки — того ужасного ливня? Куцее, мягое платье, края подола будто изжеваны, а, наплевать на зевак. Нет, не поэтому Соня осталась в тамбуре.

Она не хотела ни с кем делить Андре. Всякий беглый, равнодушный взгляд, скользнувший бы по Андре, все равно кража. Те, кто смотрит в их сторону, те, кто вольно или невольно мешают их уединению, все равно крадут Андре у Сони. На секунду — все равно это ущерб, потеря. Из секунд складываются минуты, из минут — часы. Дни. Шесть дней — это так мало.

Уйдите же все, отвернитесь, не смотрите на нас, не толкайте нас локтями, проходя мимо через тамбур, не отвлекайте Андре

праздными дурацкими вопросами вроде: «Мужик, на Новодачной останавливается? Нет?...»

Уйдите все, оставьте нас в покое! Осталось шесть дней. Дайте мне дожить. Дайте мне сполна насладиться последними часами моего Точного Времени.

Поэтому Соня и стояла в грязном, прокуренном тамбуре, прижавшись к Андре, уткнувшись лицом в его грудь, в его рубашу, еще хранящую вчерашние ночные запахи: костра, мазута, реки. Карман его рубашки был оттопырен, там, внутри, лежал маленький транзисторный приемник, подарок неведомого щедрого свадебного «мужчика», крохотный волшебный ящик, хранящий сигналы Сониного Точного Времени. Начало шестого сигнала соответствует началу конца.

— Ну что ты? — мягко, увещающе шепнул Андре, осторожно беря Сонино осунувшееся, бледное лицо в свои ладони и внимательно, тревожно вглядевшись в ее глаза. — Не печалуйся. Давай поищем какой бы шансон!

Он достал из кармана рубашки транзистор, включил и терпеливо принялся искать свой шансон. Найдешь тут шансон, как же!

Но Андре нашел. Он набрел на хорошо поставленный, натасканно радостный голос дикторши: «...и с удовольствием выполняем заявку слушателей «Рабочего полдня». Для вас поет Клавдия Шульженко».

— Очень красиво, — отметил Андре, прислушавшись.

— Это танго, — тихо пояснила Соня.

«Пройдут года, и мы забудем, — пела Шульженко с ее коронным, отточенным шиком, — случайной нежности порыв...»

— Вот, я вчера тебе об этом говорил, — сказал Андре, сосредоточенно вслушиваясь в голос незнакомой певицы. — Русские женщины. Тепло и сила. Как у матери, да? Вот у нее голос матери. Здоровый, перестарый — все равно слушаешь, а ты — сын. Это важно. Это она. И это ты.

«Мы никогда не скажем людям про нашу встречу и разрыв...»

Андре сунул транзистор в карман, неожиданно привлек к себе Соню и повел ее в ритме танго, прямо здесь, в тесном, грязном тамбуре.

— С ума сошел? — охнула Соня.

— Да, мадам. Уже неделя я сошел! — Ударом плеча Андре отодвинул застекленную дверь тамбура и, ведя Соню в ритме танго, ворвался в вагон.

Он вел ее в танце умело и лихо, мурлыча себе под нос мгновенно усвоенную, шикарную послевоенную русскую мелодию.

— Пусти, — шептала Соня, впрочем не пытаясь вырваться. Всем его желаниям, его воле, его настойчивости, его несусветным французским выходкам, всему, всему, всему Соня будет теперь подчиняться. Наступило Точное Время. Оно длится недолго. Нужно ему соответствовать.

Андре вел ее в танце, двигаясь по узкому проходу между рядами сидений, выделявая преувеличенные, шаржированные па.

«И скажете мне в утешенье, что вечно ведь нельзя любить», — пела Шульженко, хозяйка сердец. У нее голос матери. Голос из Сониного детства, из Сониной юности, низкий, властный, русский, родной материнский голос.

— Андрюша, на нас смотрят! — смеялась Соня, но он вел ее дальше, понемногу приближаясь к дверям тамбура в другом конце вагона.

«Что это было лишь мгновенье, и мы должны его забыть».

На них смотрели во все глаза. Соня ловила осуждающие, изумленные, любопытствующие, одобрительные взгляды. Одобрительных было больше.

Немолодые торговки, везущие в Москву лучок, малину и первые осенние астры; подмосковные парубки в линялых теннисках, спешащие в город по своим чрезвычайно значительным, неотложным делам; старухи с корзинами яблок, год урожайный, год яблочный, остро, свежо, кисло-сладко, медвяно пахнет крепкобокой, сочной антоновкой... Молоденькие дачницы-москвички с невыспавшимися, ненакрашенными лицами листают свои умные книжки, но все поглядывают на Соню и Андре поверх рассеянно перелистываемых страниц, поглядывают, вопросительно округлив сонные глаза, зверски завидуя...

— Пусти! — смеялась Соня. — Простите нас, пожалуйста, — твердила она, ловя эти взгляды. Шульженко еще пела, еще звучало танго, Сонино танго, точные ритмы, сигналы Точного Времени. — Простите, он шутит... Андрюша, ну все!

Но Андре не слушал ее, электричка мчалась сквозь промывтый дождем сквозной перелесок. За окном, мелькая, летели березы, осины, ели, заборы, крыши чьих-то домов, блестящие от дождя. Подмосковная срединная Россия, узкие ленты рек, мосты и овраги, поля и просеки, освещенные утренним солнцем. Спокойным,

почти осенним, неярким солнцем. Больше не будет пекла. Больше не будет изнуряющей, тяжелой жары.

Август подходит к концу. Пекло истаяло, пекло погашено вчерашним ливнем, залито потоками небесной спасительной влаги.

Август подходит к концу. Через шесть дней начнется осень.

Через шесть дней закончится... Что? Жизнь? Точное Время? Не думать! Не думать, не думать. Не гневить Бога. Не сметь!

Андре наконец влетел в тамбур, не выпуская Соню из цепких своих, сильных смуглых рук.

«Быть может, правы вы глубоко, разумно поступили вы...» Шульженко еще пела.

— Это наше танго, — выдохнул он, отдуваясь, склонился к Соне и поцеловал ее. Разгоряченный, большой, в рубаше, пропахшей рекой, дымом и мазутом.

«Но это было так жестоко, что, не простившись, вы ушли».

— Последнее, — эхом откликнулась Соня. — Наше последнее танго. В Москве.

Минуты три Соня стояла у дверей своей квартиры, вертя в руке ключ.

Сейчас она войдет и все ему скажет. Если Сашки нет дома, Соня скажет мужу: «Сереза, давай поговорим. Это очень серьезно». Вот так Спокойно, негромко и внятно.

Она не будет жить с осколком в правом легком. Она не сможет. Она сядет за стол напротив мужа, соберется с духом и...

Что — и? Что может быть бредовой этой за-теи? Ее синеглазый «мужчик» через шесть дней исчезнет навсегда. На веки вечные. Над Ла-Маншем мокрый снег. Вот за сквозной

пеленой этого мокрого французского снега, тихо падающего с синего французского неба на французскую вечнозеленую землю, на Булонские дивные леса, на Елисейские заливные Поля, за этой самой пеленой ее ненаглядный Андре и растает.

Соня повернула ключ в замке, вошла в прихожую. Андре растает навсегда, а Соня, единым ударом сокрушив жизнь близких, родных ей людей, будет метаться по разоренной квартире, настаивая на размене, разъезде? Зачем? Кому от этого будет легче?

— Сережа, ты дома? — крикнула она. — Саша!

Молчание. В темной прихожей пахнет гарью. Соня сделала шаг, другой и наткнулась на старый цинковый таз с водой, стоящий на полу. В воде плавали горстки пепла и комья обугленной бумаги.

— Сережа! — крикнула Соня и направилась в комнату. — Сережа, что происходит, объясни!

На пороге комнаты Соня остановилась. Нет, она ни о чем ему сегодня не скажет. Никаких серьезных разговоров, боже избави. Она не будет добивать его, жалкого, пьяного, стоящего посреди комнаты, в одной руке сжимающего почти пустую бутылку водки, в другой — ворох скомканных рукописных листов.

— А, это ты, — произнес Сережа, увидев Соню. — Мне зарубили повесть.

Так это он повесть свою пожег-порешил?! Батюшки-светы! Протрезвеет, очухается — будет ведь по памяти восстанавливать эту сагу про Смоленский геройский обком, обложившись мокрыми, мятыми, обугленными листками.

— Отдай! — Соня ринулась к мужу. — Дай сюда! Ты пьян! Ты стал много пить, Сережа.

И она отобрала у него мятый рукописный ворох, плод трехмесячных усилий, десять рублей за печатный лист, Воениздат Сережу лишней копейкой не балует. Зато там сидит, надувши багровые склеротические щеки, ответственный секретарь, полковник запаса Горячев, слуга царю, отец солдатам. Он там сидит и клятвенно Сереже обещает в случае чего отмазать Сашку от армии, добыть ему «волчий билет», а то и в мосфильмовский полк пристроить. Смирные лошадки, подмосковное душистое сено. Ни тебе Афгана, ни тебе «духов» с моджахедами.

— Спятил? — возмущалась Соня, потрясая мокрыми листами. — Это что, Смоленский подпольный обком? Ну так сделай поправки. Горячеву нравилось. Ты же сам говорил — он слезу пролил! Скупую. Когда ты ему читал, как второго связного ведут на расстрел.

— Это не обком! — Сережа побрел в коридор. Господи, как его шатает, почти всю бутылку выжрал, не ровен час — сопьется. — Это не обком, Соня.

— А что это? — Соня шла следом за мужем, надсадным криком давя в себе растущее, мучительное ощущение вины перед ним. И желание тотчас перед ним повиниться. Да, бухнуться на колени, в ноги, по-бабьи — в ноги, в ноги! — Что это? Сережа, не гневи Горячева.

— Это не обком! — рывкнул муж. — Это моя повесть! А-ля Набоков! Моя лучшая!

Не зная, что сказать, Соня молча отняла у мужа бутылку и поставила ее на пол. Эту набоковскую, заветную свою повесть Сережа писал урывками, года три, тайно. Для себя, не для

Горячева. Повесть о любви, о страсти. Это Сережино сокровенное, главное. Оправдание жизни. Таить-то таил, да все изредка, как бы случайно, непреднамеренно подбрасывал Со-не листок-другой.

Детские хитрости, смешные уловки. Он якобы случайно забыл страницу под номером двести пять в кухне, на холодильнике. Спрашивается, что она делает тут, под сахарницей? Хитрец. Часа через два начинает бродить по квартире, недоумевая: «Куда-то я подевал листочек один. Выпал, что ли, из папки? Как?! На кухне? Ну, я надеюсь, ты не прочла?» А Соня, принимая правила детской глупейшей игры, с лицемерным пылом отвечает: «Нет, нет, что ты, что ты!»

Значит, ему зарубили его любимое детище. Пока Соня — там, на райских речных ночных берегах, он — здесь, в чаду и дыму, с остатками своего обожаемого, отринутого творения, пьяный, несчастный, выпачканный пеплом... Как стыдно! Как горько! В ноги бухнуться...

Знала бы она раньше, какой древний, бабий, крестьянский, домостроевский страх перед мужем, страх и стыд будут жечь ее изнутри, разъедать душу!

— И вот что самое обидное, — сказал Сережа, стоя посреди узкого длинного коридора, возле таза с черными, разбухшими от влаги бумажными комьями. — Они ее не долбали, мою повесть. Они восхитились. — Он вынул из-за пазухи еще один лист. Да у него под майкой еще страниц десять, совсем он спятил, допил-ся! — Повесть ваша, говорят, замечательная. В каждой строчке талант дышит. — Сережа чиркнул зажигалкой и поднес язычок пламени к мятому рукописному листу.

— Отдай! — Соня отняла страницу. — Тоже мне, Николай Васильевич Гоголь.

— Но вы, говорят, у нас автор военно-патриотический. — Он слабо махнул рукой и снова побрел в комнату, споткнувшись о цинковый таз, этот цинковый гроб, в котором были похоронены Сережины надежды. — Вы же у нас о партизанах пишете. А тут все высоким эротизмом пронизано. Мы не можем такое под вашим именем печатать. Это все равно что выходит «Лолита», а автор Бонч-Бруевич или Мария Прилежаева. — Сережа устало хлопнулся в старое, продавленное кресло.

— Агния Барто, — усмехнулась Соня, подойдя и осторожно присев на подлокотник. Ладонью она пригладила Сережины взъерошенные светлые волосы.

Если в ней и в самом деле есть то самое русское, женское, материнское тепло, о котором говорил Андре, то тратить его нужно на мужа и сына. Все тепло — Сереже и Сашке. Им, а не заезжему красавцу с синими прованскими глазами.

У Сережи глаза выцветшие, выгоревшие. Как эти старые обои. Скучный, пасмурный цвет. Не любишь ты его, не любишь. Никогда не любила.

Не любила, а замуж пошла. Вот теперь и плачивайся.

— Сонька! — Сережа обнял ее за талию, притянул к себе.

Постылые руки, неловкие, чужие. После Андрушиных сильных, желанных, родных.

Терпи. Вечное русское бабье дело — терпеть да жалеть.

— Сонька, жизнь проходит, — выдохнул муж. — Что ж, я так и помру автором бестселлера «Подпольный обком не сдается»?

— Сережа, ты тоже не сдавайся. — Соня коротко, нервно рассмеялась, глядя его волосы, светлые, спутанные, тонкие, редкие.

А у Андрюши — темная густая непокорная смоль, так и гладила бы, и ласкала, и щекою бы к ним приникала, дрожащими губами... Не вспоминай, не думай. Терпи.

— Ты тоже не сдавайся, Сережа. Мы все здесь партизаны, в сущности.

— Ты права, — усмехнулся муж и, подняв на нее близорукие глаза, отстранился. — Ты у Ирки ночевала? Она звонила, предупредила нас. Сказала — ты уснула уже, подойти не можешь...

Соня молча кивнула и поднялась с подлокотника. Весь пол залит водой. Надо занять себя уборкой. Надо отвлечься.

Она принесла с кухни ведро и принялась собирать тряпкой воду с пола.

Через шесть дней Андрюша уедет. Сначала будет больно. Потом полегчает, наверное. Ирка говорила, это проходит. Не сразу, но отпускает. Просто нужно набраться терпения и сил.

— Знаешь, как я хотел свою повесть назвать? — спросил Сережа. Пытаясь помочь, он неловко выдернул из ее руки набухшую, мокрую тряпку, и тряпка, разбрызгивая грязную воду, плюхнулась на пол. — Я хотел назвать ее «Кружение сердца».

Соня, наклонившись было за тряпкой, замерла на миг. Потом медленно выпрямилась, глядя на мужа так, будто ее поймали с поличным.

— «Кружение сердца», — повторил Сережа с каким-то почти болезненным наслаждением, упиваясь звучанием старомодной, выпрениней фразы. — Красиво, правда? Это из Герцена. У него так глава о семейной драме называ-

ется — «Кружение сердца». Это он так определяет состояние влюбленности. Точнее не скажешь. Правда, Соня? Что ж ты молчишь?

...Сониная соседка по останкинской монтажной обвязала правое Сонино запястье красным черным витым шнурком.

— Это оберег. Носи неделю не снимая.

— Зачем? — удивилась Соня.

— Господи, ты же работаешь в Останкине, — снисходительно пояснила та. — Ты знаешь, что такое Останкино? Здесь когда-то было село. Его на заброшенном кладбище построили, считай — на костях. На останках. Поэтому и называли так.

— Жуть! — Соня поежилась, не отрывая глаз от экрана.

Такая сегодня работа — гонять туда-сюда километры пленки в поисках слова «капитализм».

Третье лицо государства позавчера на пленуме оговорилось. Маразматик, трухлявый, беспамятный дед. Двинул тезис, лопоча по бумажке: «Мы должны уничтожить социализм!» Это вместо «капитализм». Обмолвился. Оговорочка по Фрейду.

Теперь Соня и останкинская режиссерша лопатили, шерстили, гоняли туда-сюда тонны пленки, крутили записи прежних дедушковых речей. Как две немолодые Золушки, терпеливо перебирали крупу по зернышку, просматривали бобину за бобиной. Отыскивали слово «капитализм», когда-либо слетевшее со старческих уст третьего лица. Нужно найти этот чертов «капитализм», вырезать аккуратно, так, чтобы комар носа не подточил, наложить на «уничтожить социализм», на дедову оговорку.

Ювелирной сложности работа. Время — к трем дня. У Сони сегодня выходной, могла бы отоспаться. Нет, она сбежала сюда из дома. Дома тяжело. Сил нет Сереже в глаза смотреть.

Уж лучше сидеть в монтажной, глотать остывший некрепкий кофе, заново учиться курить, они тут все курят. Гонять пленку, охотясь за словом «капитализм». Думать об Андре. О вчерашней ночи. Делать вид, что вся эта дребедень про кладбищенские страсти чрезвычайно ее, Соню, занимает.

— Нет, правда, проклятое место! — между тем возбужденно продолжала режиссерша. Надо же, вроде неглупая баба, а такой вздор несет. Ладно, будем к ней снисходительны. Они тут все на мистике помешаны. — Мы тут по останкам ходим! Сюда, между прочим, привидения заходят. Почему-то на Пасху особенно... Вон Валя Голикова из «Международной панорамы» раз в монтажной сидела до четырех утра. Выходят с редакторшей в коридор покурить, и что ты думаешь! Она до сих пор заикается. Пятый час утра, пусто, тихо, вдруг она чувствует чью-то холодную, скользкую руку! Сзади ей кто-то на плечо... О-о-ой!

Соня, вздрогнув, оглянулась на ее крик.

Вадим. Гонец от Андре.

— Ну как, холодные? — Вадим стоял за спиной вопящей Сониной соседки, держа руки у нее на горле. — Холодно тебе? — спросил он, садистски посмеиваясь. — Вот если бы еще и скользкие... Знал бы — намылил.

— Пусти! — визжала режиссерша, отбиваясь. — Гад какой! Меня чуть кондратий не хватил. Как ты вошел-то? Бесшумно.

— Мы, привидения, входим без стука, — ответил Вадим. — Если стучим, то только костями. Берцовыми.

— Пусти, сволочь, до инфаркта довел!

— Так тебе и надо. Будешь знать, как пугать новобранцев.

— Вот у вас все такие скоты на иновещании!

— У нас не иновещание. — Вадим наконец отпустил режиссершу, быстро глянул на Соню, молча, сообщнически кивнув ей на дверь. — У нас чреовещание. Татьяна, я у тебя Сонечку на пару слов заберу.

Соня вскочила со стула.

— Ты бы тут проветрила, Таня. — Принюхиваясь, Вадим повел широкими ноздрями. — Чтой-то тут серой пахнет.

— У-у, мерзавец, — беззлобно прошипела режиссерша, грозя ему вслед кулаком.

Вадим вышел в коридор. Соня уже ждала его там, сгорая от радостного нетерпения, протягивая руку:

— Ну? Что там, записка? Давай сюда!

Вадим демонстративно засунул руки в карманы брюк.

— У, как мы заговорили, — ядовито заметил он.

Злобный ерник, желчный тип. Плевать, Соня ему все прощала, он был теперь почти родной. Андрюшин приятель. Андрюшин гонец. Долгожданный посыльный. Ему все можно простить — и желчь, и презрительный взгляд, и откровенную неприязнь к ней, к Соне.

— Вот так бы сразу-то. А то комедию ломала. — И Вадим скорчил укусную рожу, передразнивая прежнюю Соню. Заныл, вынув руки из карманов, отмахиваясь от Сони, как от

надоедливой мухи: — «Ах, не трогайте меня! Ах, подите прочь! Ах, я сдам вас в участок!»

— Где записка? — перебила его Соня, насколько, впрочем, не сердясь.

— А я ее съел, — невозмутимо ответил Вадим. — Порвал на сто сорок клоков и сожрал. Так было велено. Негласная инструкция.

— Да будет вам. — Соня все еще тянула к нему руку. — Давайте ее сюда.

— Пароль, — потребовал Вадим.

Господи, как его Андрюша терпит? Что у них общего? Ядовитый гад. Стоит, засунув руки в карманы светлых летних брюк, кривит свои полные бледные губы в издевательской ухмылке.

— Ладно уж, — смиловившись Сонин истязатель, глядя на нее, изнывающую от нетерпения. — Андре велел передать вам на словах. Сегодня в шесть у бассейна «Москва», у центрального входа.

— Спасибо, — благодарно прошептала Соня.

— У него всего десять минут будет. Просьба не опаздывать.

— Спасибо, спасибо.

— Вы прям как «Бесприданница» — Карандышеву, — хмыкнул Вадим и, молитвенно сложив смуглые руки на груди, сведя к переносице затуманившиеся очи, проблеял слабевшим голосом: — «О, благодарю-у!»

Соня нервно рассмеялась. Она все ему прощала. Сегодня! В шесть вечера! Всего десять минут, зато она увидит Андре, она его обнимет, она...

— Полтинничек не одолжите? — неожиданно спросил Вадим, сверля Соню насмешливым взглядом. — Поиздержался, знаете ли.

Курьерские расходы. Фигаро здесь, Фигаро там. Опять же — бензин нынче недешев.

Соня обомлела. Он ее шантажирует. Какая гадость! Это шантаж, откровенный и наглый. Господи, как же с ним Андре может... С ним, с таким... Шантажист! Вот он стоит, умный, желчный, сунув руки в карманы светлых пиджонских брюк, ухмыляется. Нисколько ему не стыдно.

Соня вернулась в монтажную, сняла со спинки стула сумку, висевшую на ремне. Соседка подмигнула ей, победно сложив пальцы буквой «V»:

— Соня, виктория! Нашла я дедов «капитализм». И по хронометражу попадает. Сейчас подмонтируем, и все будет в ажуре.

Соня кивнула, вынимая из сумочки кошелек. Шантаж. Какая гадость!

Сама виновата. Запуталась, изовралась. Ловит рыбку в мутной воде. Свою золотую французскую рыбку. В мутной-мутной воде. Вот теперь и ее саму поймали на крючок. Этот мерзкий Вадим, это привидение с иновещания, упырь со скользкими, холодными руками, играет по правилам игры, которые Соня сама для себя установила. Она лжет. А Вадим ее шантажирует. Квиты.

Соня вышла в коридор.

— Вот. — Она протянула Вадиму деньги, глядя на него с омерзением. — Здесь полтинник без рубля.

В открытом бассейне «Москва» зеленая теплая вода, плеск, смех, возбужденные голоса. Над водой неплотная сквозная пелена, вечерний ласковый воздух пропитан влагой.

Как хорошо! Как тревожно, как радостно! Как кружится сердце!

Вот это и есть абсолютная полнота чувства, полнота жизни, сигналы Точного Времени. Увидев Андре, Соня побежала к нему, всей грудью вдыхая свежий, влажный, вечерний московский воздух... Ну повернись, взгляни на меня!

И повернулся, и взглянул. Осунулся, бледный. Вчерашняя ночь. Они почти не спали. Как она соскучилась! Полдня не виделись. Вечность.

Соня обняла его, обвив руками его загорелую шею:

— Здравствуй, родной.

— Там смотрят, — шепнул Андре, осторожно высвобождаясь. — Машина. Там, за углом Пушкинов музей. Мой шофер. Он может видеть.

— И что с того? — Соня обиженно отстранилась.

— Соня, мы должны сохранять себя, — сказал он как можно мягче. — Чтобы быть вместе. Чтобы нас... Как это... Не распутали. Да?

— Да. Да, милый. Конечно. — Она уже справила со своей дурацкой обидой, конечно, он прав!

Он прав. Она совсем потеряла голову. Захмелела от избытка чувств, от этого сладкого, влажного, летнего вечернего воздуха. Она потеряла вот этот самый... как его... Контроль. Да, контроль.

За углом, справа от Пушкинского музея, стоит машина. Там сидит шофер из французского постпредства, конечно гэбэшник. Он может увидеть. Он может догадаться. Упаси господь! Андре прав — нужно «сохранять», вот именно — сохранять себя.

И Соня медленно пошла вперед, не оглядываясь на Андре, зная, что он идет следом.

— Я сам виновен, — негромко говорил он. — Я так хотел тебя видеть! Мы здесь работаем. Недальне. Дом дружбы. Там большой прием. Потом... — Он выдержал долгую, интригующую паузу. — У меня хорошая известь.

— Новость, — поправила его Соня и, не удержавшись, быстро оглянулась назад. Как она по нему соскучилась! Смуглое осунувшееся лицо, синие усталые родные глаза. — Какая новость, Андрюша?

— Танцуй! — потребовал он, широко улынувшись. — Я знаю. Русское правило. Когда у вас хорошая известь — вы танцуете.

— Какая? Не томи.

Соня заставила себя отвернуться. Они шли мимо гигантского лягушатника, окутанного теплым паром. Соня в «Москву» не ходит. Когда-то водила сюда Сашку, еще маленького, Сережа купил абонемент. Как-то вышли из бассейна, веселые, мокрые, Сашка все прыгал и прыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха. Какая-то старуха в темном платке плюнула Соне под ноги: «Греховодница! Сама во грехе погрязла, дитя за собой тянешь! Гореть тебе в геенне огненной, бесстыжая!» Сашка заревел басом, Соня схватила его за руку, потащила прочь... Зачем про это вспоминать сегодня?

— Танцуй! — не отставал Андре и, обняв ее сзади за плечи, развернул к себе. Забыл, что ли, про своего шофера? — Когда у вас хорошая известь, вы танцуете.

— Заладил. Когда у нас хорошая известь — мы потолки белим. Ну?

— Я добивался... — начал он издалека, дрожа от победного мальчишеского ликования. — Это было непопросту, мадам. — Пауза. — Я! Оставляюсь в Москве! Еще на полгода!!!

Соня зажала рот рукой. Все поплыло у нее перед глазами. Громада цветаевского дома, полоса мокрого асфальта, фигуры и лица людей, идущих мимо.

— Что? Что? Зачем? — обескураженно спрашивал Андре, притянув ее к себе и обнимая. — Ты не хочешь? Ты не рада?

Соня только качала головой из стороны в сторону, все еще держа ладонь у сжатых губ.

Полгода в Москве! Еще полгода вместе!

Здесь когда-то стоял храм. Вот здесь, на самом этом месте.

— Ты не рада? — допытывался у Сони ее единственный, ее драгоценный. Знал бы он, что еще сегодня утром она опять трусливо уговаривала себя: «Довольно. Хватит. Только жена и мать. Только Сережа и Сашка».

Полгода в Москве! Господи всеблагой! Соня не знала ни одной молитвы...

Здесь когда-то стоял храм. Потом его взорвали. Вырыли котлован, залили водой. Вот почему старуха трясла Соне вслед костлявым темным кулаком. Здесь был храм.

— Я не рада, Андрюша, — только и смогла вымолвить Соня. — Я счастлива.

Здесь был храм. Благодарю тебя, Господи! Ни одной молитвы не знаю. Прости.

— Я счастлива, Андрюша. Это я от счастья плачу, любимый мой. Прости.

— Сережа, нам нужно с тобой поговорить. Очень серьезно, — с порога сказала Соня.

— У нас гости, — хмуро сообщил муж. — Иди на балкон.

— На балкон? — удивилась Соня.

На балконе, сиротливо притулившись на раскладном стуле, комкая в руках носовой платок, сидела жена Фридриха.

Соня видела ее третий или четвертый раз в жизни. Тем не менее помнила отлично. Холеная, еще красивая баба. Классическая жена состоятельного человека. Капризный детский голосок. Причесана так, будто только что от дорогого цирюльника. Холодноватый, скупающий взгляд. Фантастические духи. Духи ей сам Фридрих выбирал, привозил из гастрольных поездок.

Теперь ее не узнать. Соня растерянно поздоровалась с Аллой Петровной, подивившись происшедшей с ней разительной перемене.

Холеная кожа обвисла складками. Сразу заметен возраст, отныне его не спрячешь. Глаза и губы подкрашены кое-как, лучше бы она не красила их вовсе. Следы помады на подбородке. Следы растекшейся туши под измученными, распухшими от слез глазами. Старая, жалкая, несчастная баба.

— Я сама сюда захотела, — суетливой, пристыженной скороговоркой произнесла Алла Петровна, минуя дежурное «здрассе». — Здесь воздух. А я задыхаюсь, кашляю все время. У меня, наверное, астма начинается на нервной почве. Мне говорили, так бывает.

И Алла Петровна закашлялась, приложив носовой платок к губам. Платок был испачкан пятнами темно-вишневой помады. Похоже на кровь. Как будто у жены Фридриха чахотка в последней стадии.

Соня отвела глаза в сторону.

— Сонечка, милая, на вас вся моя надежда! — Жена Фридриха стиснула руки под грудью. Она казалась фальшивой даже тогда, ког-

да была совершенно искренней. Вот как сейчас. — Соня, верните мне мужа! Вы для него... Он вас так.. Он к вам так относится! Только вы можете подействовать, больше никто! Уже все средства испробованы... Я вам дам адрес.

Она щелкнула замком сумочки. И снова ее полные, покатые, красивые плечи заходили ходуном от сухого, мучительного кашля. Платком, выпачканным в помаде, она теперь утирала глаза.

— Вот. — Жена Фридриха вытащила из сумочки записку с адресом. — Я вас умоляю! Если бы вы поехали туда... Если бы воззвали к его... к его...

Скомканный платок полетел в открытую сумочку. Алла Петровна извлекла оттуда еще один, чистый, надушенный. Потом достала флакончик японских духов, затейливый, с какой-то мудреной остроконечной крышкой, открыла его, поднесла к нему пальцы... И вдруг швырнула духи вниз, за балконную решетку.

— Господи, что вы делаете?! — ужаснулась Соня.

— Знаете что... — протянула Алла Петровна своим детским капризным голосом, так не подходящим ее старому, отечному, распухшему от слез лицу. — Знаете, я только сейчас поняла...

Соня смотрела на нее, искренне сострадая. И к жалости примешивалось чувство вины, хотя разве Соня перед ней хоть в чем-нибудь виновата?

— Я только сейчас поняла, — продолжала Алла Петровна. — Он всегда дарил мне духи. А они мне совершенно не подходят. Я протестовала, а он настаивал... — Новый приступ кашля. — Настаивал! А это духи для восточной жен-

щины. Это восточный аромат. Понимаете, Соня? Значит, он подсознательно... Самому себе не признаваясь... Он тяготел к восточной женщине. Понимаете?

Теперь ее зареванные серые глаза округлились от ужаса. Как будто эта дурацкая догадка была непреложной истиной. Как будто она отнимала у жены Фридриха последнюю надежду.

— Давайте сюда адрес, — устало сказала Соня.

— Спасибо! Господи, спасибо! — Алла Петровна вдруг сползла со стула и грохнулась на колени, прямо на цементный балконный пол, задев полным бедром горшок с полудохлой Сережиной настурцией, Сережа то поливал ее по пять раз на дню, то забывал о ней на неделю...

— Что вы... Зачем... Алла Петровна! — бесвязно бормотала Соня, пытаясь поднять ее на ноги, тяжелую, рыхлую, пожалуй, еще больше погрузневшую за последние дни, словно разбухшую от слез. — Встаньте, прошу вас! Я, конечно, поеду... Поговорю... Хотя это... Боюсь, что это...

— Сегодня же! Умоляю! — Жена Фридриха цеплялась за Сонины руки, заискивающе заглядывала в глаза. — А то они могут переехать... Поменять адрес... Они все время кочуют... Там что-то со съемной квартирой не складывается... — Она с усилием поднялась на ноги, тяжело, шумно дыша. — А знаете, я вас никогда к нему не ревновала. Никогда! — сказала она, пытаясь улыбнуться.

На нее было больно смотреть. Столбовая дворянка у разбитого семейного корыта. А старик отправился к синему-синему морю, к узбекской золотой рыбке, разлучнице, на улицу...

Соня развернула записку с адресом. На улицу Студеную. Это где ж такая?

— Я вас не ревновала к нему, Соня. Я знала, что вы друг. И только.

Почему Соне было так стыдно? Почему так трудно было глядеть в глаза этой зареванной, раздавленной горем бабе?

— Он ведь все нам оставил. — Алла Петровна снова начала давиться от сухого кашля, прижимая платок к губам. — Он привез мне денег. Много. Сказал, что ни у меня, ни у сына не будет никаких проблем. Но разве в этом дело?

— А в чем? — тупо спросила Соня, думая о своем, пытаясь понять, почему ей так стыдно. Господи, да потому что она — сообщница Фридриха. Она такая же разрушительница. Все, что сейчас происходит с Аллой Петровной, Сереже тоже предстоит пережить.

— Как — в чем? — воскликнула жена Фридриха. — Я же совершенно... Я же совершенно не могу без него жить! — И она повторила тонким своим, манерным голосом, почти удивленно, как бы сама недоумевая, что вот надо же такому случиться: — Мне ничего не нужно. Только он. Я совершенно. Не могу. Без него. Жить.

...Фридрих открыл Соне дверь и ликующе заорал:

— Со-нька! Как ты нашла-то?

— Нашла.

Знал бы он, как искала! На краю Москвы, на самом ее севере, за Полярным, практически, кругом. От метро двадцать минут на рейсовом автобусе. Потом бродила, запутавшись в лабиринте одинаковых блочных двенадцатизэтажек, и окрестные Иваны Сусанины резво, в охотку, отправляли Соню по ложному следу...

— Феденька, я должна...

Все, больше он ни слова не дал ей вымолвить.

— Софья, как кстати! — Он приподнял ее над полом, закружил. Веселый, шумный, помолодевший, такой толстый. Родной. И — чужой, потому что таким его Соня не знала.

Он втащил ее в полупустую комнату. Больше всего на свете Соня боялась одного: встречи с этой узбекской змеей, Матлюбой-разлучницей. Но Матлюбы здесь не было, зато было ее верткое смуглое чадо, которое Фридрих сейчас одевал, присев перед девчонкой на колени. Поправил гольфы, застегнул замочки на крохотных сандалиях.

— Софья, хорошо, что застала. Поехали с нами! Мы — на Центральный рынок. Белка, какой будет бант? Командуй!

— Синий. — Девочка капризно и властно дернула плечиком. Копия матери. Хозяйка жизни. Освобожденная женщина Востока.

Фридрих кивнул, вскочил, унесся. Вернулся в комнату, неся коробку с разноцветными бантами. Соня смотрела на него во все глаза, не узнавая.

Старый, толстый, вальяжный, барственный Фридрих. Как мальчишка! Нет, как молодой отец, обожающий свое капризное дитя, с наслаждением потакающий норову этой пигалицы. Как умело, как любовно он вплел синий бант в короткую шелковистую детскую гривку! И это Фридрих? Это он?!

— А где твоя... подруга? — с усилием говорила Соня.

— У нее дела... Софья, возьми же конфетку, тебя угощают!.. Все, поехали, а то не успеем до закрытия.

Какую конфетку? Кто угощает? Соня отвела взгляд от Фридриха.

Смутный черноголовый малыш лет пяти стоял рядом с Соней, смотрел на нее сверху вниз, протягивая полурасплавившуюся в теплой ладони, бесформенную шоколадную конфету.

— Фархад, ты зачем ее развернул? Где фантик? — весело завопил Фридрих. — Все, по коням!

Здесь еще и Фархад?! Сколько их вообще, сколько их у нее, у этой многодетной Кармен, будь она трижды неладна?!

— Двое, двое, — хохотнул Фридрих, глядя на Сонино перекошенное лицо.

И он подхватил обоих чад на руки. Девочка на плечах, мальчик под мышкой. Счастливый, влюбленный безумец, пестующий чужих смутлокожих детей, уже ставших родными.

Фархад сунул ему в рот конфету, испачкав губы Фридриха мягким, расплавленным шоколадом. Фридрих успел шутливо и нежно прихватить губами детские пальцы.

Соня смотрела на Фридриха как завороченная.

До чего же он любит их мать, если его любви хватает и на этих черноголовых крох. Господи, да он полон любовью, он истекает ею, как спелый, зрелый плод сладким соком!

И он ни о чем не спрашивает Соню. Это неважно. Это не имеет значения. Кто и зачем прислал сюда Соню, о чем она намерена с ним говорить — нет, это неважно, это совершенно его не занимает.

— Мы едем на рынок! Любочка (Любочка! Надо же!) захотела винограда, знаешь, Софья, есть такой сорт, сладкий-сладкий, со вдавлен-

ными бочками... Любочка позвонила... просила купить.

Ну да, со вдавленными. Самой бы ей бока вдавить, змее-разлучнице! Но Соня молчала. Она села в машину Фридриха на заднее сиденье, мальчик — слева, девочка — справа.

Потом Фридрих носился по рынку, такой легкий, такой подвижный, при его-то полноте, в его-то лета. С наслаждением торговался то с одним, то с другим абреком, перегнувшись к неуступчивым торговцам через широкий фруктовый ряд, смеясь, протестуя, соглашаясь и отказываясь... Не то! Не то! Любочка просила крымский, мелкий, сиренево-розовый...

Соня едва поспевала за ним, таща за собой быстро уставших, дружно занывших деток этой стервозы. А где она сама? Где эта вдавленная Матлюба? Небось наставляет тебе, старому дурню, сиренево-розовые рога.

И тут же Соня мысленно себя пристыдила, усовестила. Дети ныли, Фархад требовал маринованного чеснока, гурман, от горшка полвершка, а туда же...

Наконец Фридрих нашел то, что нужно. Попробовал виноград, кивнул, довольный. Продавец, молодой армянин, тотчас распознав в покупателе соплеменника, быстро, напористо заговорил по-армянски.

— Ара! — Фридрих достал бумажник. — Ара, ара! — говорил он, смеясь, похлопывая продавца по узкому плечу.

«Ара». Соня помнит, Фридрих ей как-то толковал: он ни два ни полтора на наречии предков. Только одно слово и знает, ему хватает одного, универсального, на все случаи жизни — «ара»! «А что это значит?» — спросила тогда Соня. «Все. Абсолютно все. Да. Нет. Хочу.

Не хочу. Люблю. Ненавижу. Все. В зависимости от контекста. От интонации. От настроения».

Соня купила Фархаду огромную, бледно-розовую головку маринованного чеснока и поплелась к Фридриху, волоча за собой мальчишку и его сестрицу. Фридрих шел им навстречу, прижимая к пузу пакет с этим вдавленным виноградом. Фридрих сиял. Он был счастлив.

Соня поймала себя на том, что она почти ненавидит его сейчас, его, обожаемого, родного. Вот он идет ей навстречу, большой, толстый, счастливый, влюбленный. Он ослеп от любви. Одурел. Он смешон. Он стар и смешон — ему плевать на это. Он свободен и счастлив. Он счастлив. Он добыл для своей красотишки-змеи этот крымский виноград. Он забыл о том, что женщина, с которой он прожил жизнь, сидит сейчас в пустой квартире и захочется от сухого астматического кашля, прижимая к губам платок.

— Купи еще! — потребовал Фархад. — Вкусно.

— Хватит, — отрезала Соня, ведя их обоих к Фридриху.

Фридрих забыл. Фридрих ослеп. Одурел. И Соня ослепла. Вот захочет ее Андрюшенька винограду... Не крымского — так французского. Не со вдавленными бочками — так с выпуклыми, и Соня тоже забудет обо всем, начнет метаться по Москве, по рынкам, по лоткам, по торговым рядам.

Слепые безумцы. И Соня, и Фридрих, оба. Разве такая любовь благо? Нет, это наказание. Разрушение. Крест.

— Попробуй! — предложил Фридрих, подойдя к ней вплотную и поднеся к Сониным

губам спелую, чернильно-сизую, с розоватой подпалиной виноградину.

— Не хочу. — Соня отвернулась.

— Ты бы видела, как Любочка его ест! — И Фридрих блаженно, размягченно улыбнулся, вспомнив, как его подлая Матлюба лопает этот подлый виноград. — Вот так быстро-быстро пальчиками ощиплет... У нее такие пальцы красивые, тонкие... Быстро-быстро, как белочка... Я ее Белкой зову. И девочку тоже...

Соня взглянула на него и снова отвернулась. Он был так обнаженно, так нестерпимо откровенен! А что он такого сказал? У его Матлюбы тонкие пальцы. Она любит виноград. Но слушать его было так же невыносимо, мучительно, стыдно, как если бы он говорил с Соней о чем-то совсем интимном, тайном, касающемся только двоих.

— Фридрих, возвращайся домой, — вздохнула Соня, стоя посреди торгового ряда и все еще держа за руки двух маленьких узбеков.

Фридрих запнулся. Помрачнел.

— Ара! — отрубил он жестко.

Это «ара» означает «нет». Браво, она уже понимает армянский.

— Фридрих, возвращайся, — повторила Соня и безжалостно добавила: — Ты старый. Ты старше ее лет на сорок.

— Плевать! — Фридрих отобрал у Сони детей и, присев перед ними на корточки, достал из пакета по спелой сизо-розовой грозди.

— Фридрих... — Что же еще ему сказать? Какие еще найти доводы? Мысли путаются в голове. Шум, гам. Справа и слева стоят торговцы фруктами, наперебой зазывая к себе, гортанно и весело крича, цокая языками. Наверное, ду-

мают: семья. Восточная семья, поздние дети. — Фридрих... Федя... Ты нашел работу?

— Потом, — отмахнулся он, скармливая виноград Фархаду и его сестрице.

— А на что ты живешь?

— А! Добираю остатки, — легкомысленно ответил этот Рахат-Лукум. Впрочем, тотчас вскочил на ноги, на миг посерьезнев. — Но они ни в чем не будут нуждаться! Слышишь?

— Кто — они?

— Алла. Сын. Внук. — Ага, значит, все же не до конца сошел с ума. Кое-какие проблески сознания мелькают в голове безумца.

— Фридрих, она кашляет. Ты понял — кто? Она говорит, что у нее астма начинается на нервной почве. — Соня понизила голос, покосившись на детей, приканчивающих свой виноград.

Фридрих как-то странно, по-птичьи всплеснул руками. Жалкий, старый безумец! У Сони комок подкатил к горлу. Она любила его. Она понимала, что с ним сейчас творится. С ней творится то же самое.

Ее вот так же раздирает на части. Любовь и вина. Счастье и мука. Что делать? Что делать нам, Феденька? Мы и жертвы, и палачи. И властелины, и нищие.

— Фридрих, возвращайся домой, — тихо попросила Соня.

Он молчал, опустил свою красивую, крупную, седую, кудрявую голову.

— Фридрих, она ведь тебя бросит скоро. — Соня понизила голос до шелеста, и все же он расслышал.

— Соня, я сегодня живу, — ответил он, подняв на нее спокойные глаза и выделив голосом это «сегодня». — Сегодня я счастлив. А завтра... Что будет — то будет.

— Фридрих, пойдем, — вмешалась в разговор девочка, дочь своей матери, восточная женщина. С пеленок — женщина.

Она взяла Фридриха за руку, взглянув на Соню с недетской яростью. Фридрих посадил мальчика на плечи, на минуту высвободив руку из маленькой цепкой ладони дочери Матлюбы. Сейчас они уйдут. Господи, что же делать?

— Фридрих, это плохо кончится! — попыталась еще раз Соня. — Слышишь?

— Я знаю, — кивнул Фридрих, беря в правую руку пакет с виноградом, а левую протянув девочке.

И он зашагал вперед, к выходу, крикнув на ходу Соне:

— Подвезти тебя? Ты домой?

Девочка уже почти бежала, волоча его за руку, бесцеремонно расталкивая припозднившихся гостей вечернего рынка, идущих им навстречу, с ленцой или в охотку приценивающихся к винограду и сливам, к персикам, кураге, грецким орехам.

— Фридрих! — крикнула Соня ему в спину. — Подожди! Фридрих, ведь ты...

Он повернулся к Соне и взглянул на нее в упор.

— Ара! — отрубил он. Какой у него спокойный, уверенный взгляд! — Ара! Ара. Нет.

От Цветного до Сретенки рукой подать. Соня возвращалась домой, поднимаясь вверх по Рождественскому бульвару. Медленно-медленно, в гору... Ноги не держат, устала, устала, устала. Но она упрямо преодолевала подъем, она шла, беззвучно плача, и это были странные, сладкие, легкие слезы. Слезы счастливой жен-

щины. Вопреки всему, несмотря ни на что — счастливой.

Справа тянулась глухая красная кирпичная стена, то ли фабричная, то ли монастырская. Да, да, монастырская. Старомосковская святыня, нерушимая, вечная крепость. Там, внизу, у Неглинки, был когда-то трактир, давным-давно, во времена былинные, гиларовские.

Соня вдруг вспомнила, как мать, везя ее мимо на санках... почти сорок лет назад... сорок без малого... господи, как давно это было, зима, январь, морозный вечер... мать сказала ей, закутанной шалью до заиндевевших ресниц... Мать сказала: «Здесь когда-то был трактир, детка. А в нем знаменитый повар, француз. Он придумал салат оливье. Оливье — это его фамилия. Запомни. Это забавно, правда?»

И Соня, в свои семь лет не зная, что такое француз, но обожавшая оливье, да вот только что, на Новый год — пестрая бело-розовая груда, вздымающаяся над краями салатницы, четыре цифры, выложенные из консервированного горошка, зеленеют на ее склонах: 1947... Соня, обожавшая оливье, сидит в своих санках, ведя рукой, упрямой в толстую варежку, по январскому прочному снегу...

Она сидит, думает и запоминает: француз... оливье... Значит, французы сделаны из мелко нарубленного отварного картофеля. Из крохотных, аккуратно нарезанных мамой и домработницей Шурой квадратиков вареного мяса... А там еще много чего: желток, капли сладкой, нежной, бледно-оранжевой моркови... И яблока, и соленого огурца из большой стеклянной банки, к бокам которой изнутри прилипли темные смородиновые листья и золотисто-бурые, жесткие щеточки укропа.

Вот что такое французы. Французы — это такие особые люди в белых поварских колпаках, они весело стучат огромными поварскими ножами, рубят зелень, картофель и мясо. Французы — это яичное крошево, острый запах маринада и мягкие зеленые бусины консервированного горошка.

И, вспомнив об этом, Соня тихо рассмеялась, утирая слезы.

Французы — это француз. Это ее мужчина. Это Андре. Это Андрюша.

Французы — это его синие глаза, иногда меняющие цвет. Иногда, в особые моменты, Соня знает в какие, его глаза темнеют, становятся почти черными, и ничего не остается на свете, кроме этих глаз, все заслоняют эти глаза, весь мир — эти глаза, вся жизнь, сигналы точного времени.

Время любви, ее сигналы и ритм. Самый точный.

Француз — это русское имя, это глуховатый голос, смешно коверкающий русские слова. Француз — это бледная вмятина глубокого шрама на груди, у самого сердца. Потому что — шестьдесят восьмой год, студенческие беспорядки в Париже, сопротивление властям. «Соня, наша маленькая революция. Глупая. Красивая все равно. Мы поколачивались с полицией. Он меня ударил. Мог убить». — «Поколачивались! Дрались, балда!» И она целует, целует эту вмятину, бледный глубокий след на смуглой горячей коже, а рядом бьется его сердце.

Вот вершина Рождественской горки. Вот и Сретенка.

Сретенка. Сережа и Сашка. Да не несут ее ноги домой!

Простите Соню. Отпустите Соню.

Отпусти меня, Сретенка. Отпусти меня, сын, ты вырос. Я тебе до плеча не достаю, я люблю тебя, я тебя никому не отдам, я твоя мать, ты мой сын, но отпусти, отпусти меня!

— Со-о-оня!

Очнувшись, она подняла глаза и огляделась. Она сидела у ног Надежды Константиновны Крупской, у бронзового подола ее долгополой юбки.

Через улицу бежала Ирка. Подбежала, отдышалась.

— Я тебя в окно увидела, — пояснила она, сочувственно, заискивающе, испуганно глядя на Соню. — Мы уже закрылись. Мы вообще закрылись на учет. — И она оглянулась назад, кивнув на свою комиссионку. — Я стою у окна, курю. Смотрю — ты улицу переходишь. На красный свет. Потом на Крупскую уселась. Ты выпила, что ли? Ты же не пьешь! Смотри! — Ирка понизила голос. — Ты с ним сопьешься. Французы — жуткие алкаши, ты учти это. Ты видела картину «Любительница асбеста»? Роден, что ли, рисовал, я не помню.

— Дура, — усмехнулась Соня, глядя на Ирку, страстно желающую помириться, искательно и жалко улыбающуюся. Конечно, помиримся. — Роден — это вот. — И Соня ссутулилась, выгнула спину дугой, уткнулась кулаком в подбородок. — Дура ты асбестовая!

— Сонечка, ты же знаешь, у меня незаконченное младшее, я крестиком подписываюсь, Одесса-мама! — затараторила Ирка, юля, вертя хвостом, уже понимая, что прощена. — Сонечка, прости меня, я же не хотела твоей маме ни о чем рассказывать! У вас на даче свет погас, Юлия Аверьяновна пришла проверить, горит ли у нас...

— Угу, — кивнула Соня. — Тут ты ее и про-светила.

— Соня! — завопила Ирка, изображая крайнюю степень раскаяния, заведя хитрющие одесские глазки к вечерним небесам, к бронзовому лику жены вождя победившего пролетариата. — Соня! Мы говорили о рассаде! Я дала твоей мамочке семена календулы. Но ты же знаешь, Соня, как она умеет раскрутить на обнаженку! И не хочешь, а всю душу ей вывернешь.

— Вот свою бы и выворачивала, — миролюбиво заметила Соня.

— Я ей и свою вывернула! Соня, прости меня! Я теперь буду как рыба. Я теперь онемею, как эта. — Ирка ткнула перстом в бронзовую Надю. — Соня! Я никогда тебя ни о чем не спрошу! — И без паузы, с живейшим любопытством, жадно, пылко, стремительной пулеметной скороговоркой: — Соня, ну как? Как он? Как у вас все? Ты счастлива? Ты не жалеешь? Расскажи хоть капельку! Хоть с наперсточек! Хоть с ноготок!

— Перебьешься, — отрезала Соня. — Теперь слушай. Я сниму квартиру. Сереже скажу, что буду ночевать у тебя. Поняла?

Она говорила спокойно. Вот странно: смятение чувств, растерянность, страдание — все улеглось, утихло, уступило место трезвому расчету и сосредоточенной деловитости.

Да, вот так Господь Бог и шеф-редактор газеты «Юманите» (Да здравствует мировое коммунистическое движение! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) посылают Соне еще полгода счастья. Надо не растерять ни дня, ни минуты. Действовать четко, продуманно, наверняка.

— Я скажу Сереже, что у тебя депрессия. Заживешь. Что ты умоляешь меня пожить у тебя, поддержать. Поняла?

— Поняла, — послушно подтвердила притихшая Ирка.

— Очень хорошо, — кивнула Соня. — Детали обсудим потом.

— Соня... — пролепетала Ирка. — Сонечка... Я вроде сама тебя на это благословила. А теперь мне за тебя страшно. Чует мое сердце: это плохо кончится.

Соня усмехнулась. Полчаса назад она сказала Фридриху то же самое. «Это плохо кончится». А Фридрих ей ответил: «Сегодня я счастлив. А завтра... Что будет — то будет. Ара! Нет».

— Соня, остановись! — Ирка просительно стиснула руки под грудью.

Соня поднялась с постамента, скользнув ладонью по теплым бронзовым складкам Нединой юбки, и ответила, как отрезала:

— Ара! Ара. Нет.

*25 августа 1983 года*

— Наташа, это Соня Аниканова, здравствуй! — Соня сидела у телефона, по обыкновению закручивая спираль провода вокруг запястья, волнуясь, заклиная всех святых, чтобы Наташа Старицкая сейчас не ответила ей отказом. — Помнишь, ты говорила, у тебя сестра квартиру собирается сдавать однокомнатную? Не сдала еще?

— Да вроде нет, — ответила Наташа.

Ура! Как бьется сердце! Такая мелочь, ерунда — съемная квартира, не одна, так другая, деньги есть. Андре вчера передал через этого гнусного Вадима: деньги будут, только найди что-нибудь поскорей!

Поскорей. Потому что не виделись два дня, и обоих захлестывает, несет, подхватив, поднимает на пенный высокий гребень волна нетерпения. Айвазовская волна, вот так-то, и прозрачная, и мутная, девятый вал, мы взлетаем, мы падаем, мы истосковались друг по другу. Два дня — это вечность. Голод телесный, голод чувственный, необходимость... Как же это... Как он говорит, коверкая русские слова? «Об-вернуться». «Обвернуться в твоё тепло». Да не в тепло — в жар! В раскаленный, душный, жадный!

— Наташенька, я ее сниму! Сегодня же, сейчас же! Позвони сестре. Мы можем не откладывать?

— А что за спешка? — удивилась Наташа, явно ничего такого крамольного не предполагая, хотя, казалось бы, все так очевидно, все на поверхности.

Нет, у Сони репутация непоколебимая. Соня для Наташи Старицкой как бронзовая Надежда Константиновна. Образчик добродетели, беспроигрышный аргумент в защиту семейных ценностей. Святая. Синий чулок. Постная, скучная ханжа.

В дверь осторожно позвонили.

— Наташа, я перезвоню. Извини.

Соня положила трубку и открыла входную дверь.

Мать стояла на лестничной площадке, подалее от двери, у самых ступеней лестницы.

— Сонечка, я входить не буду. — Она протестующе подняла руку, заранее отменяя возможные возражения. — Я на одну секунду. Меня внизу машина ждет. Я такси взяла в два конца.

И Юлия Аверьяновна попятилась вниз, ногой нащупывая ступеньку, ведя дрожащей ла-

донью по перилам лестницы, не спуская с дочери глаз.

— А зачем же ты приезжала? — растерянно спросила Соня.

Спросила, боясь признаться себе в том, что ей вовсе не хочется удерживать мать, притащившуюся сюда бог весть откуда, грохнувшую уйму денег на такси. Только ради того, чтобы удостовериться, что ее сбрендившая на пятом десятке, порочная, обожаемая дочь жива и здорова. Что французский любовник не сжег ее в топке французской страсти. Что русский муж-рогоносец не прибил изменницу в припадке ревнивого бешенства.

Мать пятилась вниз, смятенно глядя на Соню. А та медленно шла следом, отчаянно жалея мать, все понимая, любя ее, но не желая ее удерживать.

Потому что где-то на окраине Москвы, кажется в Беляеве, у кромки молодого лиственного леса есть дом. Он пуст. Никто не помещает, никто не узнает... Войти — и ждать. Войти — и, замерев у двери, ждать, дрожа от радостного нетерпения, от страха, прислушиваться к чужим шагам, узнать его шаги и, холодея, ликуя, сражаясь с тупой, непослушной задвижкой, открыть ему дверь, распахнуть ее настежь...

Прости меня, мама. Уходи.

— Мама, останься. Отпусти такси.

— Нет, я поеду, — прошептала мать, такая жалкая, нелепая в этой дурацкой шляпке с шелковыми выцветшими цветами. К запаху «Красной Москвы» примешивается запах валерьянки, край неизменного платочка торчит из-под манжета кофточки. — Поеду. Посмотрела на тебя... Ты хорошо выглядишь... От сердца отлегло.

— Останься, — повторила Соня, сгорая от стыда, от вины перед ней, от предательского желания поскорее усадить старуху в душный, тесный пенальчик заказного такси.

Мать молча покачала головой, уже открывая дверь подъезда:

— Возвращайся в квартиру. Не провожай меня.

— Я провожу.

— Нет! Ни в коем случае! — Она снова прикрыла дверь и принялась гладить Соню по плечам, по лицу, касаясь ладонью ввалившихся щек. — Ты похудела, Сонечка. Береги себя! Сонечка... Будь бдительна!

О это советское исконное «будь бдительна»! Соня сжала ладонью горло.

— Я провожу тебя до машины.

— Нет!

— Почему?

— Нет. — И мать призналась, помедлив: — Там папа. Он не хотел, чтобы ты...

Соня выбежала во двор, не дослушав.

Отец сидел на заднем сиденье такси. Он тотчас увидел Соню и отвернулся в сторону, глядя на молоденького таксиста, стоящего шагах в десяти от машины, упоенно скручивающего злосчастный кубик Рубика. Все свихнулись на Рубике-кубике, даже труженики баранки.

Соня подошла к машине. Задняя дверца была приоткрыта. Отец сидел отвернувшись, барабаня пальцами по колену. Соня села рядом. Помолчали.

— Мама мне не сказала, что ты тоже приехал. Я сама догадалась.

— Угу, — неверяще буркнул отец, так и не повернувшись. — Бабы!

Он вложил в это краткое «бабы» всю силу своего мужского презрения, своего окончательного приговора, не подлежащего обжалованию. «Бабы». Приговор оглашен. Пожалуй-ста, можете подавать на апелляцию. Пересмотра не будет.

— Папа... Ты хоть взгляни на меня!

Нет, он сидел, по-прежнему уставясь в окно. Будто окаменев, замерев в неудобной позе, глядя на таксиста, терзающего свой Рубик.

— Французы, — выдавил он наконец. — Даже Кейтель... Меня трудно заподозрить в симпатиях к Третьему рейху, но даже Кейтель, когда французская делегация явилась на церемонию подписания капитуляции, Кейтель сказал: «Как? Даже французы нас победили?»

— Папа...

— Ядовито. Презрительно. «Даже французы?»

— Папа, не мучай меня!

— Я прошу тебя только об одном. — Отец наконец повернулся к Соне. — Только об одном прошу. Сохрани семью. Помни о... — И голос его сорвался, твердый, властный, командный, «бронетанковый» отцовский голос дал слаbinу, дрогнул. — Помни о Сашке. Это приказ.

Через заповедный двор Котельнической высотки Соня промчалась вихрем, будто в спину ее толкала неведомая сила. Да ведомо, ведомо какая: выхватить ключ из руки Наташиной сестрицы, хозяйки сдаваемой квартиры, выпалить: «Деньги завтра! Спасибо, спасибо... Наташенька, я спешу!» «А адрес? — крикнут ей вслед. — Куда ты спешишь-то? Ты же адреса не знаешь!»

Ведома нам эта сила. Это сила желания. Сжать ключ в ладони, помахать им обеим рукой. Выучить адрес в мгновение ока, затвердить крепко-накрепко. Нырнуть в телефонную будку: «Вадим, он звонил? Еще позвонит? Замечательно. Вот наш адрес. Записал? Скажи ему, что я через час буду там. Нет, через сорок минут. Через сорок!..»

Ведома нам эта сила. Девятый микрорайон. Девятый вал. Прозрачная, пенная, отвесно падающая вниз, стремительно, легко взрывающаяся вверх волна нетерпения. «Быстрее, быстрее, пожалуйста! Мы можем ехать быстрее?» «На пожар, что ли?» — буркнет таксист.

На пожар. Вот именно. Но сначала нужно получить ключ.

И Соня вошла в лифт, нажала кнопку нужного ей этажа. Теперь высоко-высоко, в поднебесье. Последний раз она была здесь десять дней назад.

Да быть этого не может! Вечность назад, вечность!

Десять дней назад она была другая. Другая женщина. Усталая, скучная, сонная. А теперь она летит над землей, и если она сошла с ума, то, значит, она сошла с ума, и если она грешна, — что ж, значит, она грешна.

Она потом за все заплатит.

Соня вышла из лифта. На площадке у электролитки возились два милиционера. Пожилой мужчина и женщина в кухонном переднике стояли чуть ниже, на ступенях лестницы.

— Что здесь происходит? — спросила Соня у женщины.

— Электричество отключают, — охотно пояснила та, глядя на плотные спины служите-

лей правопорядка. — Сейчас свет вырубят, тогда кассета... кассета, правильно, Степаныч?..

— Тише говори! — шикнул на нее мужчина.

— ...кассета в этой штуковине застрянет. В видеотеле... Видеотелевизоре, — с усилием выговорила женщина, споткнувшись на незнакомом мудреном слове. — Кассета застрянет, они уже не отвертятся. Их с поличным возьмут.

— Кого?

Но Соня поняла, кого и зачем, прежде чем ей успели ответить. Игорь, Наташа. «Последнее танго в Париже», запретное, подсудное кино.

— Пустите меня! — Она оттолкнула в сторону женщину в переднике. — Дайте пройти!

А что она, Соня, может сделать? Чему помешать? Бред какой! За кассету! Быть не может, не тридцать седьмой...

— Ку-уда? — Пожилой мужчина преградил Соне дорогу.

— Пусти! — Соня попыталась обойти его справа.

— Понятые! — крикнул один из милиционеров, стуча кулаком в дверь Старицких. — За мной!

Соня поднырнула под рукой пожилого мужчины и ринулась к дверям Старицких. А что она может сделать? Ничего. Как в страшном сне. Человека берут за то, что он вставил кассету в видеомаягнитофон и нажал на...

— В чем дело? — растерянный Игорь стоял на пороге своей квартиры, близоруко щурясь, поправляя пальцем очки, сползшие на нос. — У нас свет погас... Соня, привет. Это кто? Это к нам?

Милиционеры молча втолкнули его в квартиру и вошли следом.

— Ой, страшно! — ликующе прошептала понятая, бочком вползая в чужой коридор и зачем-то развязывая тесемки фартука.

Как в страшном сне. За кино, за «Последнее танго»! Товарищ Андропов борется за дисциплину. Товарищ Андропов радуется за чистоту наших помыслов.

Тогда и Соню берите. Сажайте Соню. Как там, у классика... «Кто изменяет мужу — тот изменяет Родине»? Вот, Соня изменяет мужу. С иностранцем. Дважды преступница.

Что за чушь лезет в голову?

Она все еще стояла на опустевшей лестничной площадке, прижав ладони к щекам.

Соседская дверь, скрипнув, приоткрылась на полпальца. Соня обернулась. Какая-то старуха, не снимая дверной цепочки, следила в щель за происходящим. Соседка! Ну да, та, которая подслушивает. Та, которая стучит.

— Это вы? — гневно воскликнула Соня. — Ваша работа?

Старуха быстро захлопнула дверь.

Соня влетела в квартиру Старицких. В полумраке коридора толклись понятые.

— А вы им кто? — спросила понятая. В левой руке она сжимала скомканный фартук, а правую, по локоть испачканную мукой, поднесла к лицу, понюхала. — Рыбой пахнет. Я рыбу жарила. Где бы помыть? Протокол же подписывать...

Соню почти мутило. Бред нашей жизни. Старуха-стукачка, понятые, менты, топочущие там, в комнате, где бедная Наташа вопрошает чужим, звенящим от волнения голосом:

— А в чем, собственно, дело? Что происходит, товарищи?

Соня вошла в комнату. Милиционеры расхаживали вокруг видюшника, оглядывая его хозяйским зорким оком, деловито нажимая на кнопки, бормоча:

— А где перемотка? А это что? Цвет? Звук?

Сейчас конфискуют на законном основании. Потом поставят у себя в околотке, будут смотреть. Не Бертолуччи элитарного, высоколобого — дешевое порно, тоже конфискованное на законном основании у какого-нибудь Игоря номер два.

— Гаврюков, врубай свет! — крикнул один из милиционеров и уставился на Игоря. — Вы хозяин квартиры? Документы ваши.

Игорь сидел у стола, держась изо всех сил — нога на ногу, дымящаяся сигарета зажата между пальцами.

— «Мальборо» курим? — язвительно, недобро спросил милиционер, нарочно коверкая название, сместив ударение на о.

— А что? — спросил Игорь с отчаянным вызовом. — Это тоже криминал? Что, и на «Мальборо» статью завели в УК?

— Помолчи, — прошипела Наташа. — Не нарывайся!

Она схватила со стола распечатанную красно-белую пачку из цеховского буфета, протянула сигареты милиционеру, как можно радужнее, как можно естественнее улыбаясь. Бедная Наташа! Губы дрожат, улыбка вышла жалкой, искательной.

— Угощайтесь! Пожалуйста!

— Я все больше по «Белому морю», — отрубил милиционер.

Соня смотрела на него, все еще сжимая горло ладонью. Господи, семьдесят лет как в воронку ухнуло. Ничего не меняется. Ничего-

шеньки! Черная кость явилась раскулачивать белую. Черная кость ненавидит белую за то, что та ежеутрене распечатывает пачку «Мальборо». Белая кость презирует черную за то, что та знай смолит свой «Беломор».

Ничего не меняется. Зависть. Самое русское чувство. Зависть и спесь. Как он смотрит на Игоря, этот молоденький рыжеусый милиционер! Сейчас разомкнет пухлые детские губы и гаркнет: «Которые тут временные? Слазы! Кончилось ваше время».

Вспыхнул свет. Рыжеусый включил видео, победно выкрикнув:

— Так! Понятые, сюда!

— Такие дела, Софи. — Игорь подмигнул Соне, держался он молодцом. — Передачи мне будешь носить? В Большой дом? Наталья, вяжи узелок. Собирай допровскую корзинку.

— Помолчи-и! — простонала Наташа. — Не усугубляй!

— Служивые! Мне как, с вещами? — Голос Игоря звучал взвинченно. Уж лучше бы он и в самом деле помолчал, не тратил остатки сил на мальчишескую петушиную бравладу.

— Успеешь, — пообещал один из милиционеров, с интересом глядя на экран, на старого Брандо, ведущего свою партнершу в безумном смертельном танго.

Соня тоже взглянула на экран. «Последнее танго в Париже». Десять дней прошло. Вечность. Десять дней назад Соня сидела вот здесь, в низком кресле, зажмурив глаза, плаваясь от жары и стыда, изнывая от отвращения. Сил не было смотреть на эту парочку, на мутные, нечеткие очертания голых тел. Паршивая копия. Грязь и мерзость.

Десять дней прошло. Вечность. Жизнь будто сорвалась с якоря. Сонину лодку рвануло и понесло мощное течение, стремительное, вольное течение вольной реки.

И новые благословенные берега, и Андрюша на веслах, и нам еще долго-долго плыть вместе...

Но если теперь, по прошествии этих недолгих дней, так изменивших Соню, новая, заново сотворенная гребцом и Господом, счастливая, несчастная, безумная, умудренная Соня что-нибудь и знает о свойствах страсти... А она — знает! Если теперь она знает — она все равно смотрит на экран Игорева видео с отвращением. Сонино естество, ее переплавленные заново душа и тело отталкивают от себя, протестуют против грузного, старого, потного, взломаченного безумца, который еще цепляется за жизнь, но уже мертв и знает это. И юная женщина с бледным порочным лицом знает, что человек, швыряющий, опрокидывающий, распинающий ее в жутком пыточном танце, мертв. Она и сама мертва.

Это не страсть. Это агония.

А Соня жива. Она только теперь и живет. Только теперь, когда безошибочно улавливает, когда слышит беззвучные, четкие сигналы — сигналы Точного Времени.

— О боже! — прошептал кто-то, обняв Соню сзади за плечи.

Она оглянулась. Молодая женщина стояла у нее за спиной.

— Вы Сонечка, да? — прошептала женщина.

— Понятые! — торжественно изрек рыжеусый любитель «Беломора», выключив видео. — Значит, так, понятые. Вы присутствуете

при изъятии кассеты с порнографическим, запрещенным в Советском Союзе фильмом...

— Это классика, — утрюмо перебил его Игорь. Он стоял возле секретера с откинутой крышкой, доставая из коробки с документами свой паспорт.

— ...с запрещенным фильмом, — рыжеусый метнул в его сторону свирепый взгляд, — «Последнее танго в Париже»!

— Ужас какой, — выдохнула женщина, стоящая рядом с Соней. — Сонечка, я Люба, Наташина сестра. Это вам нужна квартира?

Вот ведь как устроена женщина! Вот Соня, она — женщина, она несовершенно, она это понимает, осознает.

Она несовершенно. Она мчится в Беляево, сидя на заднем сиденье такси, твердя как заклинание: «Быстрее! Быстрее мы можем?» — «На пожар, что ли?» — ворчит таксист, гоня по Профсоюзной. «На пожар, на пожар, вот именно!» — смеется Соня.

Она несовершенно. Она сгорает от нетерпения, сжимая в ладони заветный ключ. Она уже позвонила Вадиму: «Скажите Андрюше... Я диктую адрес!»

Она сгорает от нетерпения, она счастлива — нет чтобы подумать о том, что сейчас с Игорем. Она счастлива, а ей бы вспомнить о Сереже... Она счастлива. Совершенно счастлива.

Она несовершенно. Она потом за все заплатит.

Господи, дом-то у самого леса! Тихий золотой предзакатный час. Березы, орешник. А дальше — широкие дубовые кроны. Как хорошо! Лишь бы окна выходили сюда, к оврагу и к лесу, на древесные кроны, на закат.

В золото августа. В нашу осень.

Соня поднялась на третий этаж, открыла дверь и вошла в маленькую прихожую. Здесь никто никогда не жил — новый дом, Наташина сестра полгода назад получила эту квартиру. Как это хорошо, как удачно, что никто и никогда!

Соня открыла дверь в комнату. Хорошо, потому что нет здесь запахов чужого жилья, чужой жизни. Пахнет известью, краской, деревом, столярным клеем и новыми обоями. Соня распахнула окно.

Окна — в лес! Тихий теплый вечер. Снова собирается дождь. Золотые, зеленые, багряные кроны. То охра, то пятна коричневой, цвета жженого сахара, уже осенней листвы. Скоро осень, совсем скоро — осень. Будет дождь.

И Соня вдохнула полной грудью влажный, теплый, пропитанный горьковатым духом осенней листвы, осеннего тлена, лесной, овражный, полевой воздух. Воздух самого дальнего, вольного московского предместья.

Вольница! Сладкая дрожь ожидания. Соня отошла от окна и огляделась. Двухспальная кровать. Круглый старинный обеденный стол. Всего один стул, тоже старый, крепкий, с квадратной спинкой. Все, больше ничего. Здесь никто никогда не жил. Сюда внесли кровать, стол и стул. Так, на всякий случай. Мебель закрыта прозрачной клеенкой. Пыль... Ну еще бы!

Интересно, тряпка здесь есть? А ведро?

А вдруг он сейчас позвонит в дверь?

Господи, а звонок работает? Соня распахнула дверь на лестничную клетку. Проверила — работает.

А телефон? Соня метнулась в комнату, сняла трубку. Длинные гудки. Она опустила трубку на

рычаг, закрыла входную дверь. Замок едва держится, не забыть про замок... Андрюша может позвонить в любую минуту. Он уже знает номер. Он уже знает адрес. Вадим ему передал.

Сонина ладонь испачкана пылью. Здесь все заросло пылью. Сейчас она примется за уборку, и здесь все будет блестеть. Все — оконные стекла, кривовато, наспех, по-москвостроевски положенный паркет, и этот стол, и этот стул... И подоконник...

А вдруг он сейчас позвонит в дверь?

Соня вошла в ванную и взглянула на себя в маленькое квадратное зеркало. Давно ли она вот так же вошла в ванную, взглянула на себя в зеркало — и увидела Андрюшу, стоящего за ее спиной? Нет, тогда его еще звали Андре.

Надо умыться. У нее усталое лицо. Нет, под душ, немедленно!

А если он уже входит в подъезд?

Под душ, под душ, под струю прохладной воды, вот как она рванула из крана, который не открывали тысячу лет! Какая здесь вкусная вода! Здесь другая вода, здесь все другое, здесь лес, золотые дубовые былинные кроны, здесь будет наш дом, наша жизнь, наша осень.

И Соня, решительно раздевшись донага, отодвинула в сторону клеенчатую шторку и встала под душ. Ничего, волосы успеют высохнуть. Она все успеет. Все будет чистым, влажным, свежим — и Соня, и ее дом.

Она зажмурилась, отвела мокрые волосы от мокрого лба, подставляя под тонкие, рассеянные, теплые струи лицо, голые плечи, еще покрытые ровным августовским загаром, отпечатком иставшего пекла, памятью о недавней жаре.

И она не вздрогнула, не вскрикнула, не испугалась, когда ощутила тепло его ладоней на

своих бедрах, по которым стекала вода. Вода струилась вниз, ладони скользнули вверх... И глаз не нужно открывать — Соня узнает это тепло на ощупь, мгновенно. Это Андриюшины ладони.

Она не испугалась. Она ведь ждала, все время ждала — и дождалась.

Соня открыла глаза.

— Подожди, я оденусь. Выйди. — Она попыталась задернуть занавеску, и в этом жесте не было бабьего жеманства и игры, просто Соня еще не привыкла.

К чему? К кому? К Андриюше-то? Свободная, вольная, смелая Соня, живая женщина, не ври себе, хватит.

Он вынул ее из ванны, легонько дернул занавеску, запутался в ней, рванул на себя. Непрочные пластмассовые кольца тотчас полопались, соскользнули с железного штывера, намертво впаянного в стену.

Андре молча завернул голую Соню в прозрачное клеенчатое скользкое покрывало.

— Как ты вошел? — только и спросила она.

— Я делал звонок, — пробормотал он, неся ее в комнату, споткнувшись о дверной замок, валявшийся на полу в прихожей.

— У меня вода шумела. Я не слышала. Ты что, замок выломал?

— А он на... как вы говорите... На божем слове.

— С ума сошел!

— Сошел... Да...

— Здесь тоже клеенка...

Теперь он сдирал с кровати скользкие, глухо шуршащие клеенчатые покровы. Он освобождал постель, а Соня освобождала себя от

прозрачной пленки, постылой защитной обложки. От кого защищаться, зачем?

Вот она я. Иди ко мне, милый.

Дождь. Тихий дождь. Окно открыто, капли стучат по карнизу. Дождь и закатное солнце.

Скрипят качели. Здесь, за окном, у самого леса, возле оврага — качели, неуклюжий, кособокий теремок, серые дворовые детские радости.

На качелях сидит девочка лет семи в голубой вязаной шапке с помпоном. Она сидит, привалившись плечом к железной цепи, мерно раскачиваясь.

— Кто обул ее в это? — возмущенно спросил Андре, проходя мимо окна и выглянув во двор. — Такое тепло. Ей жарко. — Он протянул Соне телефонный аппарат. — Кто эти садизмы?

— Ну дождь же. — Соня пристроилась на постели поудобнее, поставила телефон на колени. — «Садизмы»! — передразнила она Андре, набирая Наташин номер. — Наташа! Ну что? Отпустили? Ура! Я надеюсь, без последствий?.. Кассету отобрали, понятное дело. Они ее теперь до дыр засмотрят, сволочи... Все, я тебя целую. Игоря поцелуй.

Соня положила трубку на рычаг, глядя на Андре, торопливо натягивающего брюки.

— Игоря выпустили, слава богу. Ты куда?

— Я пойду опущусь, сниму с нее этот чепец! — гневно пояснил Сонин ненаглядный француз, сдирая рубашку со спинки стула. — Ей жарко! Издеваются над дитя!

Соня рассмеялась, не выдержав. Как он не леп, как трогателен, Соня совсем его не знает, совсем! Вот пожалуйста — внезапный порыв

чадолюбия. Он торопится вниз, к страдальнице в вязаной шапке, он дрожит от гнева, не попадая в рукава рубашки.

— Я с тобой, — сказала Соня.

— Изволь. Матери-сализмы!

— Ладно тебе. Я сама мать-садист. Принеси мое платье, пожалуйста... Я мать-садист, я две недели не видела сына... Игоря выпустили, ты понял? Того самого, я тебе только что рассказывала...

— А, этот бедный парень! — крикнул Андре из ванной. — Будет знать, как смотреть плохое кино.

— Тебе не нравится этот фильм? — спросила Соня, втайне ликуя: ему тоже не нравится «Последнее танго в Париже». Оно его раздражает. Оно ему противопоказано. Иначе и быть не могло.

Андре вернулся в комнату. Браво, вот вам маленький спектакль, дурашливый мальчишеский маскарад. Сонино платье и белье скручено в пестрый шелково-кружевной шаткий тюрбан. Тюрбан покачивается у Андре на башке, породистый каталонский нос зажат прищепкой. Сониной губной помадой, которую он нашел на подзеркальнике, Андре намалевал себе красный кружок на смуглом выпуклом лбу. Ладони сложены на груди. Индусское ритуальное завывание.

Он опять метнул быстрый взгляд за окно:

— Сидит. В шапке. Бедное дитя. Пойдем!

Он подошел к Соне, наклонился к ней, и она едва успела поймать тюрбан-ворох.

— Я не люблю этот фильм, — сказал он, садясь рядом. — Синема для тех, кто не умеет любить. Ненавидит, трусит любить. Трусы. Комплексы. Питают... Нет, кормят. Кормят свои комплексы. Больше ничего.

Соня слушала его, молча распутывая тюрбан, разъединяя его на составляющие... Вот платье, которое она выбирала полдня. Вот кружевная «Карина», купленная утром у Ирки, спасибо вам, девочки из моисеевской песни-пляски! Спасибо вам, вы там, бедные, недоедали, в Дортмунде, Познани, тратили марки на «Карину», на честный советский трудовой гешефт.

Соня говорила, поправляя тонкую прочную черную гэдээровскую бретельку на белом русском плече, вот здесь, у границы меж белизной и загаром:

— Помоги мне, пожалуйста... застегнуть... Угу... Угу... Андрю-юша! Хватит! Перестань!.. А девочка в чепце? Забыл? Пусти! Быстро же ты... Пусти! Девочке жарко!

А девочки нет. Исчезла. Когда они все-таки спустились вниз, во двор, качели еще покачивались, сонно скрипя. А девочки уже не было.

Какой здесь закат! Красное, яркое солнце. И дождь едва-едва накапывает.

— Хорошо, буду тебя качать, — решил Андре. Он усадил Соню на качели и стал раскачивать. Она взлетала и падала.

«Мы падаем?» — «Падаем. Да. Еще не скоро». Давненько Соне не снился этот жуткий, зловещий, неотвязный сон. И слава богу.

— Знаешь, почему ты эту девочку пожалел? Ты о своей вспомнил. О своих. У тебя ведь две дочери, правда?

— Да, — изумленно кивнул Андре, все еще раскачивая качели, можно было бы уже остановиться, у Сони голова кружится. — Да, две. Откуда ты ведаешь? Ты не должна...

— Я догадалась. Останови, пожалуйста.

— Две девочки. Совсем... Вот. — И он при-  
близил ладонь к земле. — Мари-Луиз. Натали.  
Натали — это честь моей бабки.

— В честь, — поправила Соня, вставая с ка-  
челей.

— Вот такие! — Он все еще держал ладонь  
над землей. — Мы поздно... Мы долго не зате-  
вали детей.

Сейчас он заговорит о своей жене. Избави  
боже!

— Соня... — осторожно, неуверенно начал  
Андре. — Почему ты не спрашиваешь меня про  
моей... Моей... Я плутаю в местоименных! —  
С жаром, с французской пылкой экзальтаци-  
ей он добавил: — Всегда плутаю! Дери черт!

— Андрюшенька, не хочу — и не спраши-  
ваю. Давай мы не будем...

— Я никогда не скажу о ней дурно! — резко,  
с неожиданным вызовом произнес он. — Это  
русские мужчики... Мужики... Я давно заметил:  
они другой женщине говорят о жене мелкую  
гнусность.

— И крупную тоже. Бывает. А французы  
что, не говорят? Никогда?

— Французы — тоже, — признался он,  
вздыхнув. — Я нет.

— Ну и слава богу.

Они стоят посреди двора. Весь дом на них  
смотрит! Им тут скучно, родимым. У самого си-  
него леса. У самого-самого края. На выселках.  
Окна распахнуты, подоконники уставлены  
горшками с геранью. Надо же, тут еще водит-  
ся герань, замоскворецкий мещанский купече-  
ский цветок!

Мы тоже заведем герань, поставим на подо-  
конник. Будем жить здесь с Андрюшей, жить-  
поживать. Как старосветские помещики.

Но над Ла-Маншем мокрый снег, там Мари-Луиз, Натали и жена, о которой он не хочет говорить дурно. И слава богу! Но, дери черт, не говори о ней вовсе!

Соня и так о ней помнит. Еще полгода, потом он вернется к Мари, к Луиз, к Натали... Потом, не сейчас, еще осень впереди и зима, а зимы у нас долгие-долгие! Тянутся, тянутся, не кончаются никогда.

Андре встревоженно взгляделся в Сонины глаза, силясь понять: обидел, нет? Соня улыбнулась ему, привстала на цыпочки, дотянулась до его загорелого, смуглого лба. Стерла индусский кружок, пятнышко ярко-красной помады. Андре нагнул голову пониже, и Соня коснулась губами его лба. Говорят, в лоб не целуют, нельзя, дурная примета.

Мы в приметы не верим.

*28 августа 1983 года*

Вселенское пекло сменилось вселенским потопом. Третий день дождь, затяжной, уже по-осеннему холодный и нудный.

Соня спрыгнула с подножки автобуса, открыла зонт. Серое небо, серая, стылая гладь останкинского пруда. Давно ли в нем плескались, разомлев от жары и пива, веселые хмельные останкинские аборигены?

— Привет, — сказал кто-то у Сони за плечом.

Она оглянулась. Вадим. Странный, желчный, язвительный господин, невесть почему ее невзлюбивший. И Соня едва его терпит. Шантажист. Мерзкий тип. Но ничего не поделаешь — гонец. Гонец от Андре. Фигаро здесь, Фигаро там.

— Надо же, встретились! — Вадим подошел к ней вплотную.

Смутное лицо с резкими, крупными, негroidной лепки губами. Усталые, умные глаза. И Соня вспомнила, как Фридрих сказал ей однажды: «Вот обрати внимание: и у армян, и у евреев всегда глаза грустные. Всегда. Даже если у них все хорошо. Даже если они смеются. Глаза — грустные. Правда, есть существенная разница. У армян в глазах — печаль. У евреев — тоска».

— Держи. — Вадим достал из кармана пиджака (пиджак, как всегда, иноземный, дорогой, стильный — твид, мелкий рубчик) и протянул Соне большой, тщательно запечатанный конверт.

— Андре просил тебе передать. Это деньги за квартиру, на полгода вперед.

— Спасибо. — Соня сунула конверт в сумочку и щелкнула замком.

Вадим не спешил уходить. Сегодня он был настроен на разговор. Шел дождь, слабый, редкий. Они стояли у кромки пруда, держа над головами почти одинаковые темно-синие зонты.

— Удачно, — сказал Вадим просто ради того, чтобы что-нибудь сказать. — Не нужно к тебе подниматься. Сэкономил время. — Он говорил Соне «ты», пристально ее рассматривая. Что ему нужно? Чего он ждет?

А! Соня поняла. Деньги. Он уже раскрутил ее на полтинник, мало ему. Но шантаж есть шантаж. Зачем ему это? Он же неглуп и непрост, это очевидно. Зачем ему шантажировать ее так откровенно, так по-плебейски? Хорош дружок у Андрюши!

— А чего мы стоим? — спросил Вадим. — Нам же в Останкино обоим. Пошли?

— Нет, вы знаете, я уж как-нибудь сама, — возразила Соня, давя в себе вспышку брезгли-

вой злости. — Я тороплюсь. Спасибо за деньги... — И насмешливо добавила: — Благодетель вы наш. Что бы мы без вас делали! Я вам что-нибудь должна? Сколько?

Вадим побледнел, щеки его стали мучнисто-серыми, с каким-то почти лиловым оттенком. Лиловый негр. Ага, сработало! Дрожит от бешенства. Так тебе и надо, ядовитый тип, шантажист доморощенный.

— Ой да держи ты свой полтинник! — процедил он, скривясь, будто от боли, бледный, злой, уязвленный до самого нутра, до печенок. Он вытащил из-за пазухи еще один конвертик, тонкий, не заклеенный, сунул его Соне, буркнув: — На. Видишь, нарочно приготовил. И забыл. Стою смотрю на тебя, лихорадочно вспоминаю: чего я еще тебе должен? Ну забыл! Склероз-маразм! Ну, право слово, был тогда без гроша, гол как сокол, веришь?

— Жаль. — Соня бросила конверт на дно сумки. — Жаль, я была бы даже рада, если бы вы и в самом деле меня шантажировали.

Вадим поднял на нее грустные еврейские глаза с желтоватыми, нездоровыми белками. Пьет, поди. Уставился на нее непонимающе, ждал разъяснений. Что, решиться на откровенность? Ну раз уж сказала «а»... Вольно или невольно, но он провоцировал Соню на откровенность — странный, резкий, грубовато говорящий ей «ты», ей, о которой он ничего не знает, ничего, Соня уверена в этом. Андре не из тех, кто способен на пошлейший мужской перебран, на разговоры «о бабах».

Вадим ничего не знает о Соне. А ведет себя так, будто знает о ней все, всю подноготную, и вся Сониная нехитрая, как ему кажется, лукавая, в чем он уверен, просчитанная до мелочей

тактика и стратегия многомудрым Вадимом давным-давно разгадана.

— Жаль. — И Соня решилась: — Я бы даже хотела, чтобы вы меня шантажировали. Вот пригрозили бы мне, что мужу обо всем расскажете... Идите рассказывайте! Помогли бы мне очень. У меня у самой на это сил не хватает.

— Хитра! — Вадим усмехнулся. — Сил у нее не хватает. Хватит! Ты ж все решила давно.

— Я?!

— Все просчитала. Конечно! Разведешься со своим лаптем. Разведешь Андре. Он влип по уши. Разведешь. Молодец, достигла. Браво. Есть женщины в русских селеньях.

— Что вы несете? Что за бред?

Они стояли у кромки пруда, почти одинаковые темно-синие зонты дрожали над их головами. Редкие капли дождя падали на лица и плечи.

Они смотрели друг на друга с откровенной неприязнью. Ничего. Зато неприязнь эта была откровенной — не потаенной, не загнанной в глубь души. И Соне наконец были понятны причины, мотивы его стойкой нелюбви к ней. Вадим решил, что она расчетливая хищная стерва. Ей не Андре нужен — Париж, Европа, Старый Свет.

— Мне-то хоть не ври! Я калач тертый. Тебя ж как вагон к паровозу подцепляют. И налегке, на халяву, за красивые глаза... Париж! Европа! Свобода! Елисейские Поля...

Вадим говорил об этих Полях, об этой вожделенной, недостижимой свободе, как говорят о сладостной, невозможной, бередящей душу мечте. Детской, мальчишеской, зрелой, старческой мечте, вечной, несбыточной мечте о гор-

ных высях, о миражной, призрачной дымке заповедного Эльдорадо...

Он задыхался, сжимая смуглыми коротковатыми пальцами ручку зонта.

А дождь уже кончился.

Стоило ли убеждать его в том, что никогда она не думала, не мечтала об этих несбыточных Полях, по которым могла бы идти рядом со своим Андре? Ни-ког-да. Но стоит ли тратить силы на возражения?

Вадим все равно ей не поверит. Он все за нее про нее понял, решил, уверился в этом. Расчетливая, хитрая, хищная стерва.

— Хорошо, — кивнула Соня. — Если они так любезны вашему сердцу, эти Поля, то что вам мешает перебраться с нашей унылой равнины на елисейское разнотравье?

— Э-э-э, милая! — зло протянул Вадим. — Они уже давно распаханы, Елисейские Поля. Их стоит возделывать, когда тебе двадцать. Ну двадцать пять. А мне сорок шесть в ноябре.

Соня взяла зонт из его руки, закрыла, протянула Вадиму. Выговорившись, по-прежнему раздраженные, они тем не менее стали понятнее и ближе друг другу.

— Держи. — Соня вложила зонт в его руку. Она теперь тоже говорила ему «ты». — Мне пора, я на работу опаздываю.

— Уезжай! — произнес Вадим вдруг истоиво, с неожиданной болью. — Разводи Андре, разводишь сама. Забирай сына и уезжай. Спасешь пацана и от Афгана, и от совка. Хотя бы ради него уезжай!

Он повторял и повторял это «уезжай» как исступленное, горькое, безнадежное заклинание. Пожалуй, впервые его темные, чуть навывкате, усталые глаза с нездоровыми, мутноваты-

ми белками смотрели на Соню почти приязненно, без издевки.

— Никуда я не поеду.

— Дура. — Это короткое, беззлобное мужское «дура» примирило их окончательно.

— Не поеду. И хватит об этом.

— Знала б ты, что такое быть невыездным! — вырвалось у Вадима. — Когда у тебя отец умирает в Бостоне, а тебя к нему не выпускают. И ты не можешь с отцом проститься, глаза ему закрыть... Я не о себе. Я о брате своем сводном.

Он говорил это, глядя не на Соню — сквозь нее, в пустоту, говорил бессвязно и глухо, почти исповедуясь, делясь своей тайной, давней болью. Уже не чужой, уже не враг. Смуглолицый, еще нестарый мужик в дорогом твидовом пиджаке, сутулый и узкоплечий, с крупными, бледными, по-негритянски вывернутыми губами.

— Мне на работу пора, — вздохнув, повторила Соня. — Тебе тоже.

— Угу, — буркнул Вадим. — Пойду спою песенку для наших иностранных слушателей. О преимуществах развитого социализма. Музыку Кремля, слова Лубянки. — И, взглянув на Соню, он повторил напоследок свое безнадежное, упрямое: — Уезжай! Уезжай.

Фридрих уезжает.

Фридрих уезжает насовсем.

Соня бежала, ног под собой не чуя. Казанский вокзал. Гулкая, сумрачная языческая громада. То ли храм, то ли хоромы. Нет, Хронос — вот кто здесь хозяин. Бог времени, бег времени, он здесь почти физически ощутим. Часы, минуты, секунды обретают здесь настоящую, истинную ценность.

Как четко, неспешно, размеренно, как торжественно движутся массивные стрелки бессонных казанских циферблатов! Они нарезают время на равные, веские, драгоценные доли, будто остро заточенный нож весовщицы — узкую блокадную пайку.

Через двадцать минут объявят посадку.

Соня влетела в зал ожидания. Фридрих должен стоять у кассы номер восемь. Он позвонил ей час назад, в Останкино, сказал, что хочет проститься. Соня отпросилась с работы — ее выгонят скоро. Плевать!

«Софья Владимировна, вы у нас без году неделя. То прогулы, то опоздания. В свете последнего постановления, знаете ли... О мерах по усилению трудовой дисциплины, знаете ли... Это не сапожная мастерская и не педикюрный кабинет, знаете ли... Это общесоюзная программа «Время»!»

Да гоните, шут с вами! До вас ли теперь? Программа «Время»...

Время, драгоценное, безжалостное время! Время истекает.

«Мы падаем?» — «Падаем. Еще не скоро».

Скоро, скоро. Теперь уже совсем скоро.

— Федя! Феденька!

Соня закричала, увидев его, и сама испугалась своего крика, истошного, бабьего, отчаянного. Ринулась к нему, стоящему у кассы номер восемь, расталкивая вокзальный люд, натываясь на чемоданы и баулы:

— Фридрих! Федя! Я здесь!

Фридрих повернулся к ней, протянул руки, и Соня обняла его, крепко-крепко, сейчас его отнимут, отберут у нее навсегда.

— Куда ты уезжаешь? Зачем? Ты ничего не успел... по телефону...

— Мы уезжаем в Казань к папе, — отчужденно и строго пояснила Соне девочка, маленькая властная женщина, суровый восточный божок, дочь Матлюбы.

— К папе? К какому папе? — растерянно спросила Соня, отстранившись от Фридриха и взглянув на девочку.

Та молчала, не желая отвечать Соне, не снисходя до разговора с ней. Она сидела на чемодане, как на троне, скрестив руки на груди. Рядом стоял несессер.

— Соня, отойдем на полшага. — Фридрих понизил голос. — Соня, мы едем в Казань. Любочка должна развестись с бывшим мужем, с отцом своих детей.

— А потом? — спросила Соня, послушно следуя за ним.

Фридрих пятился назад, к кассе, делая при этом девочке какие-то суетливые знаки рукой: дескать, мы сейчас, отпусти меня на пару слов, я здесь, я рядом.

Та следила за ним и за Соней, сидя на своем чемодане-троне.

— Я здесь, детка! — заискивающе крикнул ей Фридрих.

Большой, барственный, седой, он был отныне безраздельной собственностью этой пигалицы. Нет, она владела Фридрихом на паях с матерью.

— Потом? Что потом? — переспросил Фридрих, все еще пятясь назад и налетев на пирамиду, составленную из чьих-то мешков, тотчас получил тычок в спину и пулеметную очередь незатейливой брани — в лоб. — Что ж потом... Я и сам не знаю... Прости, парень. Ну хватит, уймись, здесь женщина... Не знаю, Софья. Может быть, останемся там... Любочке предлагают ра-

боту в местном театре. А я себе всегда что-нибудь подыщу.

— Феденька, останься!

Зачем она говорит ему это? Безнадежное, горестное заклинание, ведь оба знают: уедет.

— Софья, ты не думай. Я не забыл ни про сына, ни про Аллу. Где бы я ни был, я обеспечу... не забуду... не сброшу со счетов...

Время истекает, истает.

«Граждане пассажиры! Объявляется посадка на пассажирский поезд номер...»

— Это наш поезд, Софья.

— Феденька, не уезжай!

Как растерянно, как смятенно смотрят на Соню его темные, почти черные глаза! «Софья, вот обрати внимание: у армян и у евреев всегда грустные...»

«Просьба занять свои места. Нумерация вагонов начинается от...»

— Федя, куда ты едешь? Это плохо кончится!

— Софья, я люблю ее. Я без нее...

— Фри-и-идрих! — Звонкий, властный, протяжный окрик перекрыл гомон вокзальной толпы. Соня оглянулась, вздрогнув.

Узбекская Кармен в неизменной долгополой юбке стояла шагах в тридцати от них, возле табло. Фархад вился у материнских ног, нетерпеливо дергая Матлюбу за подол юбки.

— Фридрих, бери детей и иди к вагону! Я скоро.

И Матлюба отвернулась, скользнув по Соне беглым, равнодушным взглядом. Рядом с ней стоял рослый блондин, ее сверстник, и что-то запальчиво ей втолковывал.

— Кто это, Федя? — спросила Соня, совсем уже ничего не понимая, только чувствуя, как тает, испаряется время. — Кто это, объясни!

— Это ее сокурсник, — буркнул Фридрих. — Фархад! — крикнул он и направился к девочке. Та уже сползла с чемодана, торжественно глядя на Соню: что, поняла, кто здесь хозяйка? Пшла вон — кричал этот победный взгляд.

Фридрих поднял чемоданы и понес их к перрону. Соня шла следом, уткнувшись взглядом в его широкую спину. Догнала, зачем-то отобрала несессер. Фридрих молча отнял его, стараясь не встречаться с Соней глазами. Он знал, что глаза его выдадут. Они выдадут его страх, растерянность и тревогу. Ничего, ничегошеньки, ни следа не осталось от недавней его победительности, от этого отчаянного: «Сегодня я счастлив!»

Он вышел на перрон. Дети послушно семенили рядом, держась за ручки чемодана и несессера. Но даже в их послушании ясно читалась восточная властная воля. Вот семейка! Ханских, байских, видно, кровей.

— Феденька, — снова начала Соня, идя рядом с мальчиком, протягивая руку к Фридриху, касаясь ладонью смуглого мохнатого Фридрихова запястья. — Феденька, ты хоть адрес мне...

Звук пощечины. Какой звонкий и внятный!

Фридрих швырнул чемоданы на пыльный перрон и оглянулся назад. Соня тоже оглянулась. Эти двое, Матлюба и ее провожатый, шедшие за Фридрихом и Соней, остановились шагах в десяти от них. Блондин тупо смотрел на Матлюбу, схватившись рукой за горящую щеку.

— Это ее сокурсник, — выдавил Фридрих. — Это просто сокурсник.

Блондин все еще держался за щеку, глядя на Матлюбу. Тогда она размахнулась и съездила ему по другой щеке, ударила не щадя, наотмашь.

— Сокурсник?! — Соня повернулась к Фридриху. Слова застревали у нее в горле. — Да ты же видишь, что это за напасть, за потрава, за чума, старый ты олух, безумец, какая любовь?! Это не любовь, это погибель твоя!

— Дети, — прохрипел Фридрих, не глядя на Соню, наклонясь к чемоданам. — Я ответствен за... Дети на мне.

Он поднял чемоданы и зашагал вперед, к третьему пути. Там, прижавшись грязным зеленым боком к пыльной платформе, уже стоял казанский, чингисханский поезд. Фридрих спешил к нему, выбиваясь из сил, рубашка мокрая, седые завитки волос прилипли к потному затылку.

Соня бежала следом за ним, беззвучно плача. Куда ты, Фридрих? Тебе не к этому поезду спешить — прочь от него, прочь, хоть по шпалам, но прочь, опрометью, голову сломя, голову, жизнь свою, душу свою спасая!

Соня догнала его, вырвала из его рук чемоданы, швырнула их наземь. Откуда силы взялись? Развернула Фридриха к себе и выпалила, тряся его за плечи, глядя в его измученное, старое, мокрое от пота, родное лицо:

— Пойдем домой! Все! Хватит, опомнись. Идем, я тебя к сыну отведу.

Он молча покачал головой, пряча глаза. Дети стояли рядом.

— Федя... — Соня понизила голос. — Я ведь тоже... Феденька, у меня ведь тоже...

— Пусты. — Фридрих высвободил руки. Поднял с земли чемоданы и снова рванулся вперед.

Эта узбекская змея со своим провожатым уже почти рядом. Нет, Соня ей Фридриха не отдаст.

И Соня снова догнала его, пытаясь вырвать чемоданы из его рук. На них смотрели во все глаза — носильщики, лениво толкающие вперед свои тележки, проводницы в фирменных тесных мундирах, пьяненькие продавцы вокзальных несвежих сластей, сосредоточенные, сумрачные пассажиры, расслабленные, чуть заторможенные провожающие.

— Не пущу! — отчаянно, визгливо, по-бабы крикнула Соня, почти повиснув на Фридрихе.

Он замер и повернулся к Соне, держа в руках эти чертовы чемоданы. Соня схватила его руками за шею, повторив:

— Не пущу!

— Прощай, — просипел он, согнувшись под тяжестью ее тела, под тяжестью чемоданов, полуживой, задышающийся, но намертво стоящий на своем. Коснулся губами Сониного лба... Не целуют в лоб, дурень, старый родимый дурень, нельзя! Дурная примета. — Соня, прощай. Прости меня. Всё.

Вот теперь она поняла: всё. Твердыня. Ара!

Ара, ара... Нет так нет. Прощай.

Соня сняла руки с его шеи, отстранилась, отступила. Фридрих стоял перед ней, держа чемоданы в руках, исподлобья, прощально на нее глядя.

— Федя, зачем это нам? Федя, за что?!

Фридрих молчал, глядя на Соню пустым, оstanовившимся взглядом.

Прощай. Чьи-то спины заслонили его от Сони. Вот гладкая змеиная головка Матлюбы... Вот носильщик в тусклой форменной робе...

Грохот тележки, женский смех, обрывки прощальных фраз...

Прощай, Фридрих. Прощай, Феденька.

Мы падаем. Теперь совсем скоро. Совсем.

...Но, подбегая к новому, тайному своему жилью, Соня уже смеялась... Смеялась — а ведь плакала полдня, полдня ревела белугой: прощай, Фридрих, прощай...

Теперь она смеялась сквозь слезы. Андре сидел на качелях, вытянув вперед и скрестив длинные ноги. На голову он натянул голубую детскую вязаную шапочку с помпоном. Умора! Смеясь, Соня издали помахала ему рукой.

Не вставая с качелей и продолжая смолить свой «Житан», Андре отвесил ей церемонный поклон. Детская шапочка с заячьим помпоном, абсолютно невозмутимая рожа. Дебил-подросток из детприемника. Смешно.

Соня подошла к нему и села рядом, на низкое сиденье качелей. Андре обнял ее левой рукой, сосредоточенно затягиваясь, виртуозно, с особым шиком выпуская дым из узких ноздрей... Соня замерла, притихла в этом тесном, теплом укрытии, между его рукой и грудью. Как хорошо! Можно ни о чем не думать, ни о чем не горевать, ничего не видеть. Можно сидеть зажмурившись, уткнувшись носом в мягкую, тонкую шерсть темно-синего пуловера. Вот так сидеть и вдыхать запах родного тела, деревенский уютный запах шерсти, обожаемый запах его крепкого табака.

Она украла его окурок. Накануне тайком выудила его из пепельницы, завернула в салфетку, спрятала на дне сумки. Потом, в Останкине, сидя в редакторской, потихоньку достала его, размяла в пальцах, чтобы запах стал острее, сильнее. Поднесла ладонь к носу, жадно

вдыхая сладостный запах его табака, этих французских сигарет, его запах... Как наркоманка!

Как кошка — это его слова, — как захворавшая кошка, безошибочным звериным нюхом отыскивающая целебную траву, ту самую, единственную. Ту, которая ее лечит, спасает.

— Откуда у тебя эта шапка? Это же девочкина шапка! Той девочки, которая вчера под дождем в ней вот тут качалась.

Соня наконец высвободилась из-под его руки и стащила детскую шапку с его взлохмаченных волос.

— Ты у нее отнял, что ли? Шпана парижская!

— Я не отнял. Я купил, — важно пояснил Андре, гася окурки.

Он кивнул вправо, Соня оглянулась. Гвалт, веселый детский гомон. Алчный треск нетерпеливо вскрываемых целлофановых оберток. Блестящие пакетики из-под заморской жратвы, разодранные в клочья, — вон там, в траве, у накрепко врытых в землю ножек дворового стола, обнесенного сплошной лавкой.

Стол завален импортной снедью. Вон пакет с фирменной надписью, с лейблом продуктовой «Березки». «Beriozka». Укол боли. Стыдно и больно.

— Ты не рада? — осторожно спросил Андре, снова притянув Соню к себе, чуть качнув качели. — Я хотел пропитать детей. Я нес тебе еду на наш ужин, но увидал детей... Эта девочка в шапке... Я решил их пропитать. Ты не рада?

— Накормить, — тихо поправила его Соня, глядя на счастливые разбойничьи лица детворы, сгрудившейся вокруг французской самобранки, на их жадно блестящие глаза, на их ма-

ленькие загорелые руки, мечущиеся над дощатым столом, раздражающие все эти пакетики с орехами, коробки с йогуртами... Банки они засовывали в карманы. Маленькие окраинные жители, справа — лес, слева — лес и овраг. Соня наблюдала за ними, закусив губу. Будто голодные, будто неделю их не кормили!

Фисташками-то? Ванильным пудингом? Креветочным нежным, воздушным, сливочно-розово-пестрым рулетом? Неделю?! Никогда! Никогда их не кормили рулетом и пудингом. Как блестят их глаза! Как хрипло и яростно они переругиваются, выдирая друг у друга из рук банку с воздушной кукурузой!

Зачем им воздушная кукуруза? Дикие дети дикого островного племени. Вот он, остров на краю земли, на краю Москвы, справа — лес, слева — лес и овраг. Дикое племя. Явился белый человек. Прибило его плот океанской своей нравной волной к дикому, лесному, дремучему, советскому берегу.

— Пойдем домой, Андрюша, — сказала Соня.

— Что тебя печалует? — мягко, непонимающе спросил он.

Соня поднялась с качелей, он тоже встал. К ним подбежала девочка, та самая хозяйка голубой шапки. Она держала в руках упаковку вишневого йогурта.

— Дядя, что это? Кефир? — Крышки кое-как надорваны, зубами рвали.

— Это йогурт, — вздохнул Андре, надевая на нее шапку с помпоном.

— Йодгарт? Там йод? — Девочка с брезгливой опаской обнюхала йогурты, изувеченные дворовыми варварами.

— Пей. — И Андре улыбнулся ей. — Это сладко. Это наздорово.

Девочка умчалась, расплескивая сладкое здоровое пойло.

— Не нужно было этого делать, — тихо сказала Соня. — Не нужно. Они не голодные. Мы не голодные, Андрюша. Мы не рабы. Рабы не мы.

— Я не понимаю...

Он расстроен, бедный. Он тревожно всматривается в Сонины глаза. Он не понимает. Он хотел как лучше. Чтобы было «наздорово». Он ни в чем не виноват.

— Пойдем домой! — Соня обняла его, прижалась к нему. Она соскучилась. Плевать, что все смотрят, пялятся на них из открытых окон. То-то вам теперь будет утеха, московские хуторяне, лесные люди, вам тут скучно было без нас, теперь развлечетесь.

— Кретин! — Андре ударил себя кулаком по лбу. — Я понял! Я тебя обижал. Я показывал тебе, что вы бедные. Что у вас этого нет.

— Ты ни в чем не виноват, ты хотел как лучше... Пойдем домой.

Домой! Она соскучилась. Домой! Сегодня так много боли. Измученное, растерянное лицо Фридриха, исчезнувшее за чужими спинами, за гремющей тележкой носильщика, за шумной толпой, спешащей к вагонам.

Домой! Сердце болит, сердце ноет... Домой. Есть только одно лекарство, только одна трава. Домой! У нас есть дом, мы есть друг у друга, где воск — там и пламень, где боль — там и лекарство, Андрюшенька, Андрюша, любимый мой! Домой! Домой. Домой.

Но сегодня она вернулась в свой прежний дом. В свой Луков, оставленный, преданный ею. На Сретенку. Сретенка, скоро будем прощаться.

Скоро, скоро, скоро. Сегодня — или никогда. Нельзя тянуть, нельзя разрываться на части.

Только бы Сережа был трезв! Только бы Сашка успел уснуть — половина первого ночи. Соня открыла входную дверь своим ключом. В кухне — свет, в комнатах — свет. Голос сына, голос свекрови. Вот досада. С ума они посходили, что ли? Время за полночь, а они не спят.

А ты уже не имеешь права на эту досаду. Ты уже не с ними. Ты здесь больше не хозяйка. Хотят — спят, хотят — бодрствуют.

Соня вошла на кухню.

Сережа сидел за столом, сонно листая страницы «Советской России». Он сидел, уткнувшись глазами в газету, слепо, бестолково водя вилок по днищу сковородки, наугад нащупывая вилок край давно остывшей яичницы. Дурацкая, всегда раздражавшая Соню привычка есть прямо со сковороды. Вечный студент. Рудименты холостяцкого, общажного быта. Когда это было! Нет, он двадцать лет кряду скребет вилок по сковородке. Возьми тарелку, олух, вон лопаточка висит, что тебе, трудно?

Нечего раздражаться. Ты уже не имеешь права на это глухое раздражение. Сейчас сядешь напротив мужа, выложишь ему все, выдохнешь — он этой лопаточкой в тебя и запустит. Запустит, метя прямо в висок. И будет прав. И суд оправдает.

Сережа поднял на жену глаза и вздрогнул от неожиданности:

— Ты? Ты как? Ты что, позвонить от нее не могла? В полпервого ночи, одна!

Соня села за стол, крепко-накрепко сцепив руки. От кого позвонить? А, это он об Ирке!

Соня ведь у Ирки ночует. Хороша конспираторша, не помнит своей же, наспех сочиненной, несколько дней назад предъявленной мужу легенды.

— Позвонила бы, что, мол, едешь. Я бы встретил. — Сережа отложил газету в сторону.

У него усталые, воспаленные глаза. Он работал. Потом сбацал себе холостяцкий ужин, толком не сумев разбить яйца, не сохранив желток в целости. Это не холостяцкий ужин. Это ужин рогоносца.

А ты пожалей, пожалей его! Ты не имеешь права на жалость. Ты ему больше не жена. Скорлупы он не смог разбить как надо. Слабый, неточный удар.

А ты сейчас ударишь — не промахнешься. У тебя рука твердая, удар точный. Броня крепка, и танки наши быстры. Бей, Соня! Стальная бронетанковая Соня, дочь своего отца.

— Что с тобой? — почти сочувственно спросил Сережа. — У тебя глаза какие-то больные. Устала? Чаю хочешь? Ужинать будешь? Что ж ты не позвонила? Ночью, одна...

— Меня Иркин новый приятель до подъезда довез. Он на машине.

Чистейшая импровизация. Но лихо, вполне достоверно. Bravo! Быстро же она выучилась врать, вилять, изворачиваться! А ведь собиралась все как на духу, правду, правду, ничего, кроме правды.

— Я, Сережа, поэтому, собственно, и вернулась сегодня. Он к Ирке нагрязнул как снег на голову. Этот... новый знакомый. Без звонка. Мы уже спать ложились.

Ай да Соня! Сережа верит. Сережа кивает.

— Ничего мужик-то? — спросил Сережа. — Ну дай-то бог... Это ж дважды два, Сонька, что

все мигрени твоей Ирки — от бабьей неприкаянности, и только! Жалко бабу. Ты видишь — я легко тебя к ней отпустил. Я ж все понимаю.

Он все понимает. Он налил ей чаю в ее любимую чашку. Соня поднесла чашку к губам, сделала судорожный глоток, обожгла гортань, закашлялась. Сережа все понимает. Что, прикажете его бить, ударить сейчас наотмашь, его, все понимающего, ничего не понимающего? Беззащитного, безоружного, нелепого, сонно моргающего близорукими, воспаленными глазами?

— У нас мама, — пояснил он. — Мама и Сашкина Женька. Парня к школе готовят. Весь день хлопочут... Первое-то послезавтра.

Послезавтра — первое сентября. А она и забывала. Соня поставила чашку на блюдце. Если бы Сережа с укором это сказал! Мол, мама и Женька готовят парня к первому сентября, а ты, мать и жена, черт-те где болтаешься, дома не живешь, являешься в половине первого ночи без звонка, истерики и мигрени твоей разлюбезной коммиссионно-уцененной подружки тебе дороже, чем сын, стоящий на пороге выпускного класса.

Если бы Сережа сказал это вслух! Тогда бы он Соне помог. Тогда бы ей легче было: слово за слово, упрек на упрек... Легче и проще было бы отодвинуть чашку в сторону, сцепить пальцы дрожащих рук и сказать: «Сережа, я ухожу».

Нет, никакого укора, никаких подозрений, ни ревнивых расспросов, ни желчного брюзжания.

Что же делать? Где взять силы для удара? Соня встала из-за стола, вышла из кухни и осталась посреди коридора. Провела ладонью по стене. Тысячу лет собирались переклеить обои...

Но это уже не ее забота. Это не ее дом. Как смеется свекровь, там, за дверями комнаты! Сашка ломким баском рассказывает ей анекдот. Несмешной. Ну ладно хоть приличный... Слышно, как стучит утюг, водружаемый на гладильную доску. Это свекровь ему рубашки гладит. Послезавтра первое сентября.

А Соня стоит у дверей комнаты, прижавшись лбом к дверному косяку. Нужно войти.

Андре уедет через полгода. Он все равно уедет. Даже если Соня решится, даже если перестанет лгать мужу. Ну не сегодня, так завтра, послезавтра. Ей нужен еще один день. Она еще не готова. Она еще не может сказать: «Сережа, я ухожу!»

Послезавтра закончится лето. Будет осень. Первый день осени. Это последний срок. Да, первого сентября. К первому Соня накопит силы для удара. Броня крепка. Она войдет в дом и скажет: «Сережа, я ухожу».

Она перестанет лгать мужу.

Она начнет лгать Андре. Да, лгать, потому что он все равно уедет. Над Ла-Маншем мокрый снег, там Мари-Луиз, Натали и жена, о которой он, умница, не желает говорить дурно. Он уедет через полгода. Он не должен знать о том, что Соня свободна. Если он будет об этом знать, тогда ведь и он должен... Ничего он не должен! Тогда и он будет вынужден... Нет, никто его ни к чему не вынуждает! Тогда и ему придется... Нет! Ничего ему не придется! Нет. Ара!

— Господи, да что с тобой? — Сережа неожиданно возник у нее за спиной. Развернул к себе, обнял за плечи. — Поди ляг. На тебе лица нет. Знаешь, моя дорогая, если эта твоя Ирка с ее перманентной депрессухой вот так на те-

бя будет действовать, то я тебя к ней больше не пущу.

Соня послушно пошла, побрела за мужем в свою комнату. Здесь горел ночник. Здесь все теперь было чужим: чужая комната, чужая постель, чужое окно, а за окном чужие тополя шумят под ночным ветром.

На кровати, поверх покрывала, по-детски свернувшись калачиком, уткнувшись щекой в сведенные ладони рук, спала Сашкина Женя. Новая хозяйка бывшего Сониного дома. Голые розовые пятки, неизменные джинсы с веселой хипповой бахромой. Штук семь разноцветных дешевых пластмассовых браслетиков съехали по тонкой руке едва ли не к острому локтю...

— Привет! Это когда же она успела? — удивленно присвистнул Сережа. — Она Сашке весь день форму подшивала, брючины. На руках. Сто пятьдесят примерок, парень уже по потолку ходил. Настырная. Умаялась, значит. Сейчас разбужу, провожу домой. Она рядом совсем обитает, в Даевом.

— Пускай спит, — поспешно возразила Соня. — Позвони ее матери, предупреди. Я тебе в другой комнате постелю, а сама здесь лягу.

Соня опустилась на краешек кровати и, отвернувшись от мужа, едва ли не с благодарностью взглянула на эту девочку в дешевенькой польской джинсе.

Спи, наглая, хваткая девочка Женя! Спасибо тебе, спи крепко, избавь меня от неизбежной ночной повинности, от пытки. Страшнее нет кары, чем лежать рядом с обманутым мужем, зажмурив глаза, притворяясь спящей...

Спи, Женя, набирайся сил. Отнимешь у меня сына, отнимешь дом, отнимешь Сре-

тенку. Будешь здесь хозяйкой ходить, победно гремя пластмассовыми браслетами, переклеивая обои, запрещая Сереже сметать остывшую яичницу прямо со сковороды, подрубая Сашке школьные брюки... Провожая его на работу, рожая ему детей, шепча ему ночью, вот здесь же, на этой постели — Сережку, старого, спившегося дурня, выживете из спальни в два счета, — шепча: «Ведь замечательно можно разменяться! Сретенка, центр. Нам двухкомнатную и папе что-нибудь... в Бирюлеве...»

Спи, девочка. Это твой дом. Это твоя жизнь. Мне здесь места нет. Я сама так решила.

— Мама, ты? — раздался Сашкин шепот за спиной. — Привет, мам.

Сын. Длинный, нескладный, узкоплечий. Кто-то его неумело, вкривь и вкось постриг: правый висок ниже левого, челка зигзагами.

— Тебя кто стриг? — спросила Соня, осторожно сжав его ладонь, такую большую, вдвое больше ее собственной

— Женька. — Сашка присел рядом с матерью, с нежностью глядя на свою спящую красавицу. Потом перевел взгляд на Соню, как бы призывая разделить с ним его восхищение Женей, ее браслетами, ее джинсовой бахромой, ее розовыми детскими пятками, ее железным норовом и тем, как она его безбожно обкорнала, неважно, что челка синусоидой, важно, что сама стригла.

Соня взяла его большие ладони в свои, маленькие. Сын сидел рядом, обожаемый, отнятый, стесняющийся матери, этого внезапно-го, несвойственного ей порыва.

Сына отняли. Сама отдала. Не отдам!

Сретенку отняли. Сама отдала. Забирайте!

Соня сама так решила. Зато у нее будет полгода любви. Полгода свободы. Это так много! На десять жизней.

Сашка осторожно высвободил руки, изнемогая от неловкости. Белую рубашку, еще хранящую жар Полининого утюга, он набросил на узкие плечи. Ничего, он еще успеет раздаться в плечах, заматереть... Все впереди. Броня крепка.

— Саша, послушай меня, — тихо сказала Соня. — Если тебе когда-нибудь кто-нибудь скажет обо мне дурно...

— Кто, мама?

— Неважно. — Только без слез! Держись! — Если кто-нибудь скажет тебе обо мне плохо...

— Да кто? Ты о чем, мам?

— Ты не верь. Ты не верь, Сашенька. Никому не верь. Никого не слушай. Только меня, Сашенька. Ты мой сын. Я твоя мать. Когда они тебе...

— Да кто? Кто, мама?

— ...ты вспомни мои слова, сынок. И не верь им. Ты не верь им, мой милый.

*1 сентября 1983 года*

Она думала о своих предках. Она мысленно благодарила их, посылая им безмолвные, благодарные приветы — всем, всем, неведомым, далеким, разбросанным по миру, жившим сотни лет назад, десятки лет назад, давным-давно завершившим недолгий ли, долгий ли путь земной.

Соня благодарила их сейчас, теперь, сегодня, лежа рядом со спящим Андре, глядя на него спящего. Все его прабабки, прапрадеды, бабки, деды — все, все: суровые каталонцы-виноградари, французы — обитатели угольных

рудников, француженки-южанки, и русская бабка-оружейница, и бабка со стороны отца, в ней есть капля русской крови, — все они, эти мужчины и женщины, однажды встретились на земле, соединив свои жизни, зачав своих детей, продлевая род, прорастая друг в друге, готовя, неминуемо приближая Андрюшино явление. Явление Сониного божества в мир сей.

Всем, всем им Соня мысленно, истово, многократно кланялась теперь. Она лежала на животе, уткнувшись подбородком в сведенные локти рук, правый ее локоть покоился на его груди, там, где вмятина от давнего шрама, белый росчерк на смуглой горячей коже. Он смугл — привет тебе, каталонец! У него тонкий, резкий, породистый профиль — это его бабка-француженка, уроженка блистательной Ниццы... Он скуласт, ширококостен, плечист — спасибо русской оружейной родне.

Спасибо вам всем, давние дальние незнакомцы. Если бы не вы, не сплетение ваших жизней, не слияние ваших кровей, не соединение судеб в урочный, заглавный час, Сонина жизнь не была бы наполнена смыслом и радостью. Сонина жизнь не случилась бы, не состоялась.

Андре открыл глаза. А кому кланяться за васильковые, синие-синие, цвета летнего полуденного неба Андрюшины глаза? Какой прабабке? Какому прапрапрадеду?

— Я долго почивал? — спросил он, притянув Соню к себе.

«Почивал»! Словечко из бабушкиного эмигрантского сундука.

— Час, наверно. Может, больше. Уже закат, видишь?

Андре сел на постели, давая зевок. Взглянул за окно, восхищенно цокнув языком. Створки окна приоткрыты, лес совсем рядом. Кроны дубов, верхушки берез и ясеней освещены закатным солнцем.

— Здесь даже дубья! — восхитился он.

— Дубы, а не «дубья», дубинушка мой.

— Пойдем теперь в чащу! Да? Будем каждый вечер творить променады!

— Какая чаща, опомнись! Какой променад? — засмеялась Соня, но Андре уже стаскивал ее с постели, скорей, скорей, пока солнце не село, пока вечернее небо алым пламенем полыхает, пока лесная земля хранит тепло последнего летнего дня.

Нет, уже осень, первый день осени.

— Андрюша, сегодня у сына первый день занятий. Мне сегодня нужно домой...

— Опять?! — Он уже тащил ее за собой вниз по лестнице, на ходу застегивая на ней блузку. — Опять домой? Не спущу тебя! Баста!

И Андре вывел ее во двор, крепко держа, похозяйски обнимая, охваченный внезапным веселым порывом, всплеском французского южного сумасбродства: променады! Лес! Закат! Дубья!

Вот овражная узкая тропинка... Глинистая лесная земля, желтые еловые иглы, дубовые листья, крохотные твердые зеленые желуди...

— Желуди! Андрюша, смотри!

Он поднял желудь, попробовал его на зуб, скорчив шутливую гримасу.

— А у вас каштаны... Да? — спросила Соня с внезапной тоской, стоя рядом с ним на дне лесного оврага.

Невдалеке шумел ручей. По мутной, желтой, пенной воде плыли листья, подгоняемые

сильным течением, неслись лесные черные коряги. Сухая еловая ветка застряла, запнувшись об острый валун, и крутится, крутится, крутится, будто желтый лохматый волчок.

— У нас каштаны, да, — подтвердил Андре и сунул желудь в карман брюк. — Что ты печалуешься? Ты думаешь: будет день, я уеду к своим каштанам?

— Нет, нет, что ты!

— Соня, послушай меня... — Он протянул ей руку, осторожно ведя через дряхлые, трухлявые мостки. — У французов есть такой... мм... как это... парафраз... образный слог... Не знаю, как это перевести на русский...

Андре произнес по-французски, и Соня повторила за ним, как смогла, уже соскочив с мостков, поднимаясь вверх по склону:

— Плезьон де ля ви... Красиво.

— Вот-вот. Я пробую найти перевод. «Радость к жизни». Да? Список радостей. Самых простых радостей. Надо уметь их почуять. Вкусить. Понимаешь? Взять на вкус. Жизнь должна быть... как это... Как цепь простых радостей. Одна наплетается на другую...

— Нанизывается.

— Да, хорошо. Из этих звен... звеньев состоит жизнь. Французская жизнь... Я не хочу тебя печаловать, но я так наблюдаю... Я вижу: русская жизнь — ахи, охи, много слез, всегда недовольно всем. Ты уедешь к своим каштанам. Я должна быть сегодня в свой дом. Все грустно, будем плакать. Так?

— Нет, — смеясь, возразила Соня.

Они одолели спуск и подъем и стояли теперь на вершине оврага. Перед ними была лесная поляна, с трех сторон окруженная темной стеной осеннего тихого леса, — вот куда

они попали, два Робинзона, ступившие на подмосковный обитаемый остров.

Андре огляделся. Синие глаза его весело и жадно блеснули — он нашел эту землю, он открыл ее, он привел сюда свою женщину. Никто никогда до него не видел этой поляны, этого леса, этого стога — вон, справа, невысокий, приземистый стог.

— Пойдем в этот сноп! — властно приказал Андре.

Он сжал Сонину руку и повел за собой, и Соня послушно пошла за ним. Совершеннейшее дитя. Великовозрастное французское долговязое дитя. Он желает нанизывать простую радость на простую радость. Изволь, мое солнышко. Сплетай свою легкую, яркую, пеструю цепь. «Плезьон де ля ви». Плети, плети ее еще полгода. Только бы я потом на горле ее не затынула... Нет, грех так думать!

Подойдя, Андре нырнул в этот стог, утянув за собой Соню. «Мы падаем!» Тонкие копы свежей соломы, запах сухой травы, рука Андре, его плечо, его губы... Вечернее низкое небо, бледный серп месяца, белый, размытый, тающий след реактивного самолета... Здесь рядом какой-то аэродром. Да? Нет?

— Как хорошо! — произнес Андре. — Счастье. Вот это счастье. В полную меру. Да?

— Никогда не говори об этом вслух.

— Почему? — удивился он.

— У древних римлян было такое поверье. Такое правило, что ли... Нельзя показывать, что ты счастлив. Нельзя говорить об этом вслух. Абсолютное счастье — привилегия богов. Если простой смертный скажет: «Я счастлив», боги прогневаются и пошлют на его голову кару небесную. Это называется «Зависть богов».

— Суеверы твои римляне! — Андре обнял ее, мешая ей говорить. — Дураки побитые.

— Набитые, — поправила Соня. — Нет, в этом что-то есть. Я это где-то когда-то прочла и запомнила. «Зависть богов».

— Пускай завидуют.

— Вот ты мне — про «Плезьон де ля ви», а я тебе — про «Зависть богов»...

— Смотри, колесья! — перебил ее Андре, сев в стогу и притянув Соню к себе. — Колесья от... Как это? Русские сани? Тележка?

— Сани, сани... — Она проследила за движением его руки. Совсем рядом, в десятке шагов от стога, темнели два старых тележных колеса, почти вросших в землю, едва заметных в высокой полевой траве. — Это колеса от саней. — И она усмехнулась, вспомнив свое же: «Готовь Соню летом, а телегу...» — Это чья-то телега тут развалилась, Андрюша. Лет сто назад.

— Помнишь Бернара? — спросил он, помолчав.

Бернара? Еще бы! Огромный, шумный, веселый французский медведище. Могучие мохнатые лапы, жар необъятной ладони. Картошка в мундирах. «Я волнуясь, слышу французскую речь...» «Нормандия — Неман». Две недели назад. Вечность назад.

— А почему ты спросил? Помню, конечно.

— Я глядел на эти колесья. Я вспомнил. — Андре осторожно вынул соломинку из растрепанных Сониных волос. — Бернар начал тебе свой рассказ. Он не успел. Помнишь Надя? Его русская Надя?

Русская Надя, подавальщица в столовой летного городка, фронтовая любовь Бернара. Что-то в этом нарочитое, как в плохом кино.

Что же, жизнь иногда похожа на плохое, сентиментальное, слезливое кино. А плохое кино иногда похоже на жизнь. Так бывает. Ничего в этом стыдного нет. Бывает. Вот они сами, например. Француз и русская. Сидят в стогу. Нет, лежат... Уже лежат. Они лежат в стогу и целуются. Вечер, первый день осени. Теплынь, тишина. Они целуются. Старомодное, сентиментальное кино. Так не бывает.

Бывает, бывает! Все бывает на свете.

— Бернар не успел рассказать тебе все, до финала. Кончилась война. Он вернулся во Францию. Надя осталась в Союзе. Ну вот... Они забылись друг другу. Бернар вышел за свою жену. Да? Так у вас говорят? Сын. Потом дочь. Снова сын. Он не помнил Надю. Протекло много лет. Однажды... Вот теперь, совсем теперь, в эта весна... Бернар проснулся ночью у себя дома, в Биарриц. Измокший от пота. Сердце колотит. И он понял: ему снилась эта женщина.

— Вот эта подавальщица? Надя?

— Да, так. — Андре снова сел в этом рыхлом стогу, сцепив руки под коленями, заметно волнуясь. — Бернару снилось, что Надя сидит лицом к нему. В этой, как ее... Вот такой, — Андре кивнул на два старых колеса, вросших в землю, — в сани... Надя сидела в сани, связанная в белый платок. Уже немолодая. Сани отходили назад... Надя улыбалась ему и махала ему рукой.

— Это она с ним прощалась, — догадалась Соня. — Наверное, в тот самый момент, когда она приснилась Бернару, она...

— Она умерла. Да. Так. Он потом это узнал. Он стал искать ее. Через ЮНЕСКО, через

Красный Крест. Он знал, что она жила в Вязьме. Он приехал в Союз. Он нашел ее адрес, ее семью. Она умерла в тот час, когда она приснилась Бернару. Он потом все сосчитал. Он это понял. Ему показали ее фото. Немолодое фото. Это было то лицо, которое он видел во сне.

Андре замолчал, глядя на Соню. В синих глазах его блеснули слезы. Сентиментальный и жесткий, простодушный и умудренный, ненаглядный... Обожаемый. Родной.

— Ладно, я тебе обещаю... — Соня старалась говорить насмешливо, почти грубовато. Она сейчас нарочито скажет «помру» вместо «умру», надо сбить эту трагедийную ноту, просто древнегреческая трагедия какая-то романо-саксонско-античная. — Я тебе обещаю, Андрюша. Когда я помру, а помру я раньше тебя, потому что старше... Когда я испущу дух — я тебе тотчас приснюсь. Это будет не скоро... Ты будешь старый, знаменитый, богатый, толстый газетный магнат. Купишь свою «Юманите» с потрохами. Будешь коммунист-монополист-капиталист...

— Не буду, — перебил ее Андре неожиданно резко. — Я не буду покупать «Юманите».

— Да ну? — удивилась Соня. — Ты что, успел разочароваться в коммунистических идеалах?

— Не насмешничай! — отрезал он, отвернувшись. Он сидел, глядя в сторону, уставясь на эти березы и «дубья», почти черные, васнецовские, сказочные. Быстро темнеет — сентябрь. И холодно совсем по-осеннему, только что было тепло и уютно, теперь тянет сырой ночной сентябрьской прохладой. Но уходить не хочется.

— Это моя боль, — наконец буркнул Андре, по-прежнему глядя в сторону, зарывшись одним плечом в стог. К другому плечу прижалась Соня. Она приникла щекой к теплой, тонкой ткани его рубашки, сухие травинки прилипли к рукаву, надо бы их убрать... — Я не могу тебе говорить про мои смятения. Не хочу прибавлять политику в нашу любовь. Как это у вас... Капля ложки...

— ...в дегте меда, — подхватила Соня, тихо смеясь. «Деготь меда». Вот оно, Сонино определение любви. — Не говори, Андрюша. Я и так поняла. Ты разочарован.

— Я не... не... Это не тот термин! — заорал он, повернувшись к ней так резко, что Соня едва успела отпрянуть в сторону. Господи, какие в нас страсти дремлют! — Я... Я воз-не-годован! Так?! Одна ложь! Только ложь!

— Успокойся, Андрюшенька... Так хорошо было, зачем ты...

— Это идеалы моего отца! — кричал Андрюшенька, глядя на нее и не видя ее, возбужденно жестикулируя, нелепый, смешной, растрепанный, с нитями соломы, застрявшими в темных взлохмаченных волосах. — Мой отец божетворил все ваше! Моя русская тетка была в Сопротивлении! Когда полетел ваш Гагарин, мой отец плакал и пел Марсельез! Мой... как же... Двойной брат... мой кузен... Его звали Юрий — в честь Гагарин!

— Господи, при чем тут Марсельез? — прошептала Соня, пытаясь обнять его и успокоить.

— Все это ложь, — утрюмо повторил он. — Я приеду в Париж. Что я скажу отцу? Все давно не хотят вам верить! Все! Только я и мой старик, два кретина. Два барана. Что я ему скажу? Что я скажу, когда приеду?!

Когда он приедет... Когда он приедет в Париж... Он приедет. Он уедет. Как больно! Как об этом не думать, как научиться об этом не думать? Не помнить? Забыть? Не получится забыть, он сам ей об этом напомним.

Андре осекся и пристыженно замолчал. Наверное, все сейчас написано у Сони на лице: и смятение, и горечь.

Он обнял ее. Что за бред! О чем они говорят, зачем они говорят, зачем вообще говорить, восклицать, возмущаться, что-то друг другу доказывать? Все это вздор — русские, французы, коммунизм, социализм, «Юмани-те», Марсельез, «Зависть богов», «Плезьен де ля ви»... Чушь собачья!

Мужчина и женщина. Поляна, темная стена леса, первый день осени, ночь, уже совсем ночь. Полуразрушенный стог, прохладный лесной воздух.

— Тебе холодно? — чуть слышно спросил Андре. Голос его срывался от нежности и раскаяния.

— Холодно. Мне холодно, Андрюша.

— Соня... — Он опустился вместе с ней на колкий соломенный настил. Иглы сухой травы кололи щеку, но тепло его руки защищало ее. — Соня, это был наш маленький Бородино, так?

— Да, Буонапарте. — Соня зажмурилась, потому что клочья соломы сыпались сверху, весело шурша. Как остро, как сильно пахнет сухой травой! И полынью, и сладким полевым клевером. Пахнет летом. Готовь Соню летом...

А лето кончилось. Сегодня — первый день осени. Андре шептал полубессвязно, целуя ее:

— Поверженные французские войска...

— Победенные, Андрюша.

— Да, так. Мы сдаемся на милость победителя.

— Это я тебе сдаюсь.

Лето кончилось. Ничего, у нас еще осень впереди. И зима. А зимы у нас, господа французы, долгие-долгие, русские зимы без конца и без края, метель, да поземка, да студеные ветры, короткие дни, длинные ночи, наши ночи, Андрюша.

*2 сентября 1983 года*

Тонконогие пигалицы толкали друг друга острыми локотками, смеялись на весь автобус, то и дело поправляя широкие кружевные лямки белых школьных фартуков, сползающие с плеч.

Белые капроновые банты, белые парадные фартучки, белые гольфы. Половина восьмого утра, они едут в школу. Вчера была линейка, сегодня — первый день занятий, они стоят у пыльного окна автобуса, щурясь от солнца, заливисто хохоча, жадно и пристрастно оглядывая друг дружку: у кого банты пышнее, у кого оборки затейливей? И у кого какой букет, они и сегодня с букетами, подлизы. У кого какой и кто первый успеет всучить свои дачные астры выдре, гадюке Лен Петровне, может, она подобрела за лето-то, она вроде замуж вышла опять?

Соня разглядывала их, прислушивалась к их птичьему щебету, сидя у окна, на полураспоротом, продавленном сиденье старенького микрорайонного автобуса-доходяги.

Половина восьмого утра. Она возвращалась домой. Андрюша уехал раньше, умчался к семи, в семь пятьдесят у него машина в летний городок, в «летальный», он делает серию

репортажей о наших доблестных «летальщиках».

Соня его проводила, приготовив завтрак. Так чинно, так славно, так по-семейному они пили чай на пустой кухне, где ничего еще нет, кроме газовой плиты. Все будет, все будет...

Они стояли у окна, держа в руках по чашке, а блюдца поблескивали на подоконнике. Андре купил чайный сервиз, дулевский, дивной красоты: зелено-золотые широкие листья, медвяно-золотые райские яблоки.

Догадался, умница, вот Соня — нет, Соня совсем потеряла голову от избытка чувств, от всех своих безумств и метаний!

Ничего, ничего, она сегодня же... Да, не откладывая, сегодня же займется домом. Какая это радость, оказывается! Какое это наслаждение, как упоителен, священнодействен поход в магазин «Тысяча мелочей»! И в магазин «Все для дома». Все для дома, все для победы. Наше дело правое, победа будет за нами.

Да, Сережа. Наше дело правое. Прости, коли сможешь.

Наше дело правое. Прости. От метро «Беляево» до метро «Колхозная площадь», до Сре-тенки — рукой подать. Прямая ветка. Двадцать минут в метро. Потом Соня откроет дверь своим ключом. Прямая ветка. Главное — прямо, прямо, не сворачивать, не кружить вокруг да около, не метаться. Прямо смотреть Сереже в глаза. Прямо держать спину.

— Нет, я тебе говорю, это сообщение ТАСС!

— Хорошо, Валера, если ТАСС — то где конкретика, Валера? ТАСС — это хотя бы конкретика какая-то...

Два мужика, держась руками за поручни, нависли над ней, возбужденно переговариваясь.

— Вот именно, что «какая-то»... Значит, не могут пока всего сказать. Не могут, не хотят. Ты пойми, там же люди были! Представляешь сколько?

— Представляешь. А где он упал-то? Куда?

— Хрен его знает...

Господи, о чем они говорят? Мужики неисправимы! Соня взглянула на них со снисходительным сожалением. Такое солнце, последние солнечные жаркие дни, снова жарко, дивное, безмятежное, сентябрьское утро. Подмосковный лес плывет за окном автобуса, зелено-золотой, нарядный, веселый, как Андриюшины новехонькие дулевские чашки-блюда... Такая красота, такое чудо! А они долдонят себе про свой ТАСС, про какую-то никому не нужную конкретику...

Как смеются эти девчонки в белых фартуках! Всегда, всегда Сонино сердце щемило от сладкой тоски, всегда, в первые дни сентября, стоило только взглянуть на эти банты и кружевные фартуки, и лиловые растрепанные астры, и красные галстуки с мятыми краями...

Какая горькая, сладкая, саднящая душу отрада — напоминание о собственном детстве, канувшем в Лету, бесследно растворившемся, бесследно, безвозвратно! Какое безжалостное напоминание о том, что жизнь почти прошла, промчалась, отшумела, безрадостно и бестолково!

Так было раньше. Сегодня все иначе. Сегодня Соня другая. Сегодня ее жизнь наполнена смыслом и радостью, просвечена счастьем, как этот осенний, зелено-золотой, дулевский

лес — сентябрьским, ровным, ярким солнцем. Напоследок. Неважно! Не страшно! Оно еще полгода будет ей светить.

— Они сказали: неопознанный летающий объект. — Автобус качнуло, и один из двух за- нуд, нависающих над Соней, невольно нава- лился на нее, отпрянул в сторону, буркнув: — Извините... Они, Валера, сказали: неопознан- ный объект. Сбили, потому что он не вступал в контакт. Ты понимаешь?

Соня покосилась на них почти раздражен- но. Старые дурни, посмотрите в окно! Забудь- те на миг о своих объектах-контактах!

Вот она — осень. Вот оно — солнце. Соня уже блаженно улыбалась, отвернувшись от этих двоих, прижавшись щекой к теплomu, прогретому солнцем стеклу автобуса.

Осень. Лес. Солнце. Оно еще полгода нам будет светить.

— Сережа...

— Замечательные оладьи! — похвалил ее муж. — Как ты их делаешь?

— Кабачок туда тру. — Соня стояла у рако- вины, держа терку под струей холодной воды. Струя била из крана, и брызги летели в разные стороны. Она минут пять уже вот так била. Ми- нут пять брызги летели, летели, летели... Ну же, решайся. У тебя получится. Броня крепка!

— А почему ты не подошла к телефону? Я звонил твоей депрессивно-комиссионной наперснице часов в восемь утра. Она сказала, ты еще спишь. Я велел тебя разбудить, а она мне передала, что ты не хочешь сейчас разго- варивать.

Вот, Соня, вот! Он сам тебе невольно помо- гает. Закрой кран. Повернись к мужу. Скажи:

«Я не могла с тобой разговаривать, потому что меня там не было. Я стояла у окна в Беляеве. Чай пила из дулевской чашки. Я, Сережа, от тебя ухожу».

Но вместо этого Соня выдавила, глядя на струю холодной воды:

— У меня голова болела. Не хотелось ни с кем разговаривать. Даже с тобой.

Вот так. Трусливая, жалкая, лживая дрянь. Твоего боевого запала хватило на двадцать минут. От метро «Беляево» до метро «Колхозная площадь». Трусливое ничтожество. Вышла на «Колхозной», добрела до эскалатора на ватных ногах. Страшно. Стыдно. Жалко Сережу. Оладий вот ему напекла гору целую. С кабачком.

— Они, Сережа, повздорили, Ирка и ее друг.

Давай, давай, выкручивайся. Тебе не привыкать.

— Недолго музыка играла, — злорадно заметил Сережа. Он Ирку не любил, едва терпел. Тем великодушнее, тем благороднее была его жертва: отпустить жену к этой мешочнице с ее одесской скороговоркой и накладными ногтями в красно-белый горошек.

Соня туго закрыла кран и повернулась к мужу:

— Сережа, я хочу тебе...

Нет, нужно дождаться, чтобы он прожевал, проглотил эти оладьи, а то подавится... Оладьи удались на славу, пропеклись — не подгорели, тонкие, маленькие, круглые, золотистые, как шляпки подмосковных опять... Скоро грибы пойдут... По грибы пойдём с Андрюшей...

— Нет, в самом деле, как ты их делаешь? Обьедаенье!

— Кабачок туда тру, Сережа.

Сейчас, сейчас... Пусть он их проглотит. А то поперхнется от неожиданности, подавится.

— Кабачок? Обалдеть! Совершенно не чувствуется! А если туда...

— Я тебе изменила, Сережа.

Все. Все. Мы падаем. Куда уж глубже! Вот оно, дно, сейчас она коснулась его ладонью.

— ...если туда патиссон потеря-е-е... Чего? — И Сережа очумело уставился на Соню.

Дошло до него. Рука, потянувшаяся было за последними оладьями, замерла, так и зависнув над тарелкой. Сережина трудовая, неугоми-мая правая рука с профмозолями на пальцах, попробуй-ка из года в год, изо дня в день долбить, долбить, долбить по стертým клавишам старенькой пишущей машинки.

— Я тебе изменила. — Не отводи глаз, в глаза ему гляди, прямо! Прямой взгляд, прямая спина, прямая ветка. Броня крепка. — Изменила, Сережа. Первый раз в жизни.

Сережа опустил руку на скатерть. Выражение лица у него было глупейшее — детское, жалкое, растерянное, недоумевающее. Его только что ударили. Что с этим делать? Что предпринять? Когда бьют чужие — нужно дать сдачи. А когда бьют свои? Своя?

— В первый раз? Ну надо же когда-то начинать. — И Сережа коротко, сипло рассмеялся. Он еще пытался спрятать голову под крыло, зажмуриться, уткнувшись клювом в тусклые, растрепанные перья, бедный страус! Уж лучше бы кричал, топал ногами, ударил ее.

— Я больше не могу тебе врать, — сказала Соня, стиснув в руках мокрую терку. Больно. Вот и хорошо, что больно. Сейчас больнее бу-

дет. Ничего, теперь можно вытерпеть любую боль. Главное — решиться на нее. Решилась — терпи. — Я не могу тебе врать, потому что я тебя уважаю. Я тебя давно не люблю. Прости. Ты знаешь. Но я тебя уважаю, Сережа. Себя тоже.

Зазвонил телефон. Сережа не спешил снимать трубку. Он смотрел на Соню. Теперь уж никуда не спрячешься. Слово сказано. Дело сделано. Теперь Сережа смотрел на нее с яростью, с омерзением. Как на чужую. Как на чужую, только что нанесшую ему внезапный удар. Когда бьют чужие, следует ударить в ответ.

Телефон умолк, слава богу. Соня подошла к столу и зачем-то поставила терку на скатерть.

— Сережа, пойми, я не могу... Я не могу ложиться с тобой в постель, когда я... Если накануне я...

— Понятно, — перебил ее муж. — Была с другим. Не можешь. Очень благородно с твоей стороны. Я растроган. Сейчас заплачу от умиления. Высокий класс! Ты даже собственные грешки умеешь подать как благодеяние!

— Это не грешки, — тотчас возразила Соня. — Я его люблю. Я люблю, Сережа.

Снова телефон, господи, что же это такое? Соня вышла в коридор, подняла трубку, глухо произнесла:

— Да. Я слушаю.

— Сонька, я ж знаю, что вы дома! — услышала она голос Игоря Старицкого. — Сонь, что там за самолет? Вы в курсе? Дай мне Сережку! Я проснулся только что, мне приятель звонит, а я ничего не...

Сережа ворвался в коридор, вырвал из Сониных рук телефонную трубку. Понятно.

Начинается буря. Ничего, ничего, теперь все легче. Решилась — терпи.

Сережа выдрал штепсель из розетки, что есть силы дернув на себя шнур. Он не знал, что делать со своей болью, как избыть эту боль. Можно грохнуть телефонный аппарат об пол. Можно сбросить со стола тарелку с двумя остывшими, по-сиротски прилепившимися друг к другу оладьями. Можно схватить эту злосчастную тарелку и запустить ею в стену...

— Сука! Тварь! Шлюха! — орал Сережа, идя на кухню вслед за Соней. И он в самом деле схватил со стола тарелку и запустил ею в стену. — Кто? С кем?! — Он прижал Соню к стене. — Кто? Из театра? В Останкине?! Сука!

Он тряс ее за плечи, и Соня билась затылком о стену. Ничего, она вытерпит. Только бы не убил. Ей нужно остаться живой. Еще на полгода.

— Кто?! Стерва! На старости лет! — Сережа еще колотил ее затылком и спиной об стену, но удары были слабыми, и голос слабел. Он выдохся. Он выкричал, выбил из себя свою боль, этот первый, самый плотный сгусток боли.

Хлопнула входная дверь.

— Пусти, это Сашка. — Соня оттолкнула от себя мужа. — Отвернись к окну, у тебя лицо пятнами...

Сережа послушно отошел к окну и отвернулся. Ах, жизнь, нелепая штука — жизнь! Только что убивал, громыхал, выдирали шнур — теперь безропотно подчинился Соне. Стоит, отвернувшись к окну. Плечи понуро повисли, руки засунуты в карманы брюк — хоть этим бессильным жестом пытаюсь отстоять свою мужскую самость, свою неуязвимость. Да ни-

чего от нее не осталось! Все растоптано, все разрушено, все.

— Ни фиги себе! — присвистнул Сашка. — Вы чего тут? Дрались, что ли?

— Дай мне совок и веник, — сухо скомандовала Соня, оглянувшись на сына, стоящего на пороге кухни.

Вот он стоит, обожаемая, родная дылда, в новом школьном костюме, покупала костюм Соня, подшивала девочка Женя. Ремень школьной сумки перекинут через Сашкино плечо, сумку тоже Соня покупала, в начале августа, в другой жизни, другая Соня, примерная мать, верная жена, как давно это было! Две недели назад. Жизнь назад.

— Ты почему не в школе? — рявкнул Сергей, не поворачиваясь к сыну лицом, выполняя Сонин приказ, не желая, чтобы Сашка увидел его потную рожу, бледную, в красных пятнах. Это у него такая реакция на шок. Нужно будет компресс ему сделать, заварить ромашку.

— Химичка заболела. — Сын протянул Соне совок и веник. — Нет, правда, вы что, дрались тут? Да?

Надо будет заварить ромашку. Никуда ты не денешься. Какие бы зелено-золотые леса ни ждали тебя в благословенном Беляеве, здесь твой сын и отец твоего сына. Ты прожила с ним полжизни. Он слаб и сломлен, он раздавлен нежданной бедой. Вот и разрывайся как хочешь, раздирайся между зеленым беляевским золотом и отвергнутой, оставленной тобою Сретенкой. Делай что хочешь, но изволь заварить Сереже ромашку. И вычитать, выправить партизанскую лабуду. И оладьи испечь с кабачками.

Ничего. Она всюду успеет. Теперь все легче. Теперь можно не врать, не ловчить. Теперь как на крыльях. Подлая, счастливая Соня. Только затылок ноет от ударов.

— Иди в школу, — пробубнил Сережа, не поворачиваясь к сыну.

Сашка тут же вспыхнул, уставясь в сутулую отцовскую спину:

— Ты меня гонишь, что ли? У меня времени вагон! Да, кстати, вы слышали? Сообщение ТАСС. Наши неопознанный летающий объект подбили. Сегодня ночью. Кажется, под Владивостоком. Нам физик сказал.

Он произнес это важно, очень значительно, упиваясь тем, что он, как взрослый, уже на равных с отцом — обсуждает последние новости. И взрослое, солидное слово «ТАСС» он выговорил степенно, как можно дольше растягивая эти свистящие «СС», дурачок, смешной, долговязый...

— Какие, к черту, объекты?! — заорал Сережа и, не выдержав, повернулся к сыну. Пятна на его щеках и скулах стали еще ярче.

— Не ори, — буркнул Сашка, надувшись. — Физик говорит, может, это летающая тарелка...

— Ты нам зубы не заговаривай! — перебил его Сережа. — В школу! Живо!

Сашка молча вышел из кухни. Через минуту хлопнула входная дверь.

Соня наклонила совок над мусорным ведром. Осколки неопознанной летающей тарелки с грохотом упали на его дно. Отчего над Владивостоком тарелки летают, Соне неизвестно. Почему они по Сониной кухне летают, это она в состоянии объяснить.

Но это уже не Сониная кухня. Это не ее дом. Это не ее дом, но здесь живет ее сын. И Соня

сказала, повернувшись к мужу, стараясь говорить спокойно и ровно:

— Мальчик ни о чем не должен знать. У него выпускной класс. Трудный год. Год мы должны с тобой продержаться. Скажем Саше, что я живу у Ирки. Ей сейчас плохо, я должна ее поддержать. Я каждый день буду приходить к вам, Сережа. Стирать, готовить, уроки его прове...

— Я тебя убью. Удавлю, — устало пообещал муж, перебив Соню на полуслове.

Ничего он ее не убьет. Он выдохся, щеки в красных пятнах. Надо ему ромашку... Теперь все легче. Он понемногу привыкнет. Все легче. Больше не нужно лгать.

Он ее не убьет. Соне необходимо быть живой. Еще полгода. Потом делайте с ней что хотите. Но эти полгода Сонино время. Время жизни, время женщины, сигналы Точного Времени. самого точного.

Соня шла вдоль края тротуара, нетерпеливо вытянув вперед правую руку, голосуя пролетающим мимо машинам. Она дрожала от нетерпения: скорее, скорее, скорей! Она торопила время, подхлестывала медленное, сонное течение теплого сентябрьского дня. Нужно перетерпеть, переждать, отбыть пять долгих часов в присутственном месте.

Зато потом, после шести вечера, сонное, неподвижное, неповоротливое время словно с цепи сорвется. Оно рванет вперед, стремительно, не догонишь. Оно помчится вперед, теперь каждая минута будет иметь свою цену, каждый час будет на вес золота.

Нужно собрать вещи, самое необходимое, на первое время. Отвезти Сашку на выходные

к старикам на дачу, пусть мальчик побудет там. Подальше от Сережиных истерик, от разбитых тарелок...

Нужно будет поговорить с сыном. Не сказать ему правды, но и не солгать. Как это сделать? Как?! Вот придет эта минута — и слова найдутся.

Мать, отец, Сережа... Соня найдет нужные слова для каждого. Настанет час — слова найдутся...

За окном машины мелькали пролеты Крестовского моста. Соня оглянулась назад — Рижский вокзал. «Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук»... Это Пастернак. Это твоя жизнь. Вокзал, растерянное, потное лицо Фридриха, отступающего от Сони к дверям вагона... «Вокзал, несгораемый ящик». Все встречи — позади, впереди — разлуки.

Еще мелькали за окном такси пролеты Крестовского моста. Внизу железная дорога, там мчится состав.

Железная дорога. Соня теперь тоже железная. Броня крепка! Полчаса назад Сережа бросил ей, уходящей, в спину: «Стерва. Железная стерва. Всю жизнь в тургеневскую девушку рядилась, а я верил. Дурак!»

Стерва? Железная? «Вокзал, несгораемый ящик...» Называйте как хотите! Она и сама себя не пощадит, «...разлук моих, встреч и...». Вот привязалось!

Она и сама себя не пощадит. Но наступает ее время. Нужно быть очень сильной. Прямой, как прямая ветка. Железной, несгораемой, сильной, безжалостной и прямой. Впереди полгода Точного Времени. Нужно ему соответствовать. Нужно быть точной.

Таксист притормозил у центрального входа.

— Сколько? — спросила Соня, открывая сумочку.

— Так вы прям тут работаете? В телевидении? В самом? — Таксист уважительно присвистнул. — Тогда уж вы-то точно в курсе: чего мы сбили-то сегодня ночью? Я «голоса» ловил-ловил — не, ни хрена, наши их с утра глушат по-черному. Что за самолет-то, почему сбили, просветите!

— Я ничего не знаю, простите. — Соня сунула ему деньги и выскочила из машины.

Бегом, бегом... Вертушка пропускника... Суровый лейтенантик минуты три всматривался в Сонино фото на пропуске.

— Это вы? — наконец недоверчиво спросил он.

— Я. Фотография месяц назад сделана.

— Надо же. — Он усмехнулся, протянув Соне пропуск. — Обычно наоборот бывает. На фотографии человек моложе, чем в жизни. А вы...

— Третьяков, ты чего разговорился на посту? — хмуро одернул его напарник.

— Вам на фото лет сорок пять, а вот так... — Третьяков покраснел, даже уши вспыхнули, запылали огнем веснушчатые мочки. — А виз... визуально лет на десять меньше.

— Спасибо, — улыбнулась Соня.

Она вошла в лифт, тевешный десант в поднебесье. Спасибо, белобрысенький мальчик в погонах. Соня помолодела на десять лет. Там, на фото, сделанном месяц назад, — усталая, сорокапятилетняя несчастная баба. Тургеневская девушка-переросток. Теперь она выглядит на тридцать пять. Вот что с нами делает любовь. Волшебное снадобье, заветное зелье. Деготь меда. Вот-вот — деготь меда.

Сонины соседи по останкинскому лифту обсуждали какой-то «боинг». Говорили о том, что «Евровидение» транслирует выступление Рейгана... О возможных санкциях... О том, что Америка нам этого не простит. И так отношения хуже некуда, а уж теперь... О том, что все это провокация, тщательно продуманная ЦРУ...

Пусть себе говорят. Соня стояла у самого зеркала, притиснутая к нему толпой. В лифте было душно. Люди возбужденно переговаривались, но все эти быстрые тревожные фразы, полуобмолвки, предположения совсем не занимали Соню, скользя мимо ее сознания.

На десять лет моложе! Она взглянула на свое отражение в зеркале: похудела, глаза стали еще больше... Нужно дотерпеть до шести часов вечера, а уж потом... Потом время сорвется с цепи. Шесть, семь, восемь, девять!

Андрюша обещал приехать к девяти. Господи, как дожить до девяти часов вечера? До закатного солнца, до Андрюшиного нетерпеливого звонка в дверь... Господи, сделай так, чтобы девять часов наступили как можно быстрее! Придумай что-нибудь, сжульничай самую малость! Вот, скажем, сейчас одиннадцать, а через час — половина шестого. Ну пожалуйста! Ты ведь все можешь.

Соня открыла дверь режиссерской аппаратной.

Надо же, все в сборе. Сгрудились возле экранов. Это не ЦТ. Это «Евровидение». Для домашнего останкинского пользования. Домашние запретные радости: тут тебе и Си-эн-эн, и Эй-би-си.

Эй-би-си на небеси... На седьмом останкинском небе, у кончика шприца. Смертельный яд

вражеских телесетей, мы его дозируем по капле. Говорят, есть лекарства, в которые добавляют по капле яда, тогда они действенней. Вот и мы: каплю яда от Эй-би-си в нашу советскую, идеологически выдержанную, взвешенную на аптекарских кремлевских весах телевизионную микстуру...

— Андрей Иванович, здрасте, я сегодня всего на четыре минуты опоздала!

Сонин начальник отмахнулся, не повернув головы. Он смотрел на экран монитора. Президент Всея Америки, неувядаемый, отчаянно молодящийся старина Рональд стоял за трибуной конгресса, жестикулируя с преувеличенным пылом, сверх всякой меры гримасничая. Плохой актер, всего-навсего плохой актер. Вот гримаска благородного гнева, вот гримаска неподдельной скорби. Бездарный актер, все швы видны, грубая работа.

— Лена, ты чего не переводишь? — буркнул Андрей Иванович.

— Сейчас... Так... — пробормотала Лена, режиссерша дневного выпуска. — Ну вот, он опять про это... Советский Союз — империя зла. Русские непредсказуемы. От них можно ждать чего угодно, сегодня ночью они еще раз доказали нам это...

— Козел старый! — процедил Сонин начальник, глянув на Кириллова, сидящего здесь же, у стены. — Да, Игорь? Согласен? Провокатор. Гапон!

Кириллов молчал, хмуро глядя на экран. Соня никогда его таким не видела. Соня привыкла к тому, что Главный Останкинский Лев всегда мил и весел, всегда у него сорок хохм наготове, и все свежие, и все смешные.

— Лен, ты чего молчишь? — нетерпеливо прикрикнул на режиссершу Андрей Иванович. — Переводи! Разучилась, что ли?

— Тут разучишься, — вздохнула режиссерша, вслушиваясь в громовые раскаты президентского баритона. Рейган зазывал, витийствовал, форсируя голос, как старый трагик в провинциальном театре, которому семь лет не давали главной роли. — Он говорит, что сегодняшнее ночное происшествие должно послужить уроком.... Так... для всех цивилизованных стран.

— «Цивилизованных», — хмыкнул Андрей Иванович. — А мы, значит, резервация. Лепрозорий. Тифозная деревня. Да, Игорь? Тифозный барак!

— ...и что все цивилизованные страны должны объединить усилия для того, чтобы дать отпор...

— Ага! Я ж говорю — Гапон. Гапон, провокатор. Да, Игорь?

Кириллов поднялся со стула, подошел к телефону и набрал несколько только ему известных цифр.

— Евгений Витальевич, это Кириллов. — Он говорил спокойно и четко, пряча досаду, тревогу, недоумение. Это он умел — владеть собой, своим голосом. Еще бы! Голос — это его инструмент. Он профи. Он ас. — Ну что? Никаких новостей? — Кириллов выслушал собеседника, глядя на экран, на Рейгана, простершего руки к сводам конгресса, к небесам, требуя справедливого возмездия. — Понятно. Я понял. Евгений Витальевич, как же так? Весь мир только об этом и говорит, а мы полдня уж как молчим. Вон у нас... — Кириллов покосился на правую линию мониторов, где на экранах дет-

ский сводный хор пел что-то благостное, постное, кабалевское, пастеризованно-пионерское, дружно разевая рты. — У нас «Звонкие голоса детей», «То березка, то рябина». Доколе?

Это финальное «доколе» он произнес добродушно и шутливо, как бы смягчая резкость тирады, непозволительную даже для него, для Кириллова.

— Андрей Иванович! — Соня дотронулась до начальственного локтя, наконец дождавшись минутной паузы.

Вся эта свистопляска с Рейганом, «империей зла» и с таинственным ночным происшествием скользнула мимо Сониного сознания. Все, что не было связано с Беляевым и со Сретенкой, с двумя полюсами Сониной безумной, вздыбленной, счастливой и горестной жизни, все, что происходило помимо этого, — все и было помимо.

Нужно быть точной, экономной. Сил должно хватить еще на полгода. Она не имеет права расходовать их не по назначению. Только Беляево и Сретенка. Только Андре и семья. Долг перед оставленной семьей. Дверь, которую она распахнет перед Андрюшей. Больше ничего. Больше она ни о чем не хочет знать. Самоизоляция. Табу. Режим строжайшей экономии сил.

Господи, только бы начальник отпустил ее сегодня пораньше!

— Андрей Иванович, я бы хотела обсудить с вами мой сегодняшний рабочий график. Могу ли я...

— Вы?! — Андрей Иванович наконец повернулся к Соне, отвлекаясь от своего «Евровидения». — А вы у нас больше не работаете. Я уже подготовил приказ.

Она сошла с ума, это очевидно. Иначе чем объяснить то обстоятельство, что вместо оторопи она чувствует сейчас радость и облегчение?

— ...Считайте, что вы не прошли испытательный срок. Все эти ваши опоздания и прогулы... В свете последних постановлений об усилении трудовой дисциплины... У нас здесь не частная лавочка. Здесь идеологический рупор страны.

Ну да, шприц. Соня была счастлива. Она сошла с ума. Она теряет уже вторую работу, за неполный-то месяц... Впору рыдать и биться башкой о стену. А она стоит перед бывшим начальником, блаженно, идиотски улыбаясь, кивая, как китайский болванчик.

Нельзя тратить драгоценные осенние дни, благословенные зимние — зимние еще короче, — нельзя их тратить на служебную скуку, на хождение по этим белым, путаным коридорам Всесоюзной Дезинфекторской.

Нужно с Андрюшей быть рядом. Ждать его возвращения, стоя у окна, глядя на осенний золотой лес. И на зимний серебряный. Ждать его прихода, считать минуты, прислушиваясь к звуку шагов.

Какое счастье, что ее гонят отсюда!

— Андрей, так не пойдет, — резко заметил Кириллов.

— А когда я могу получить расчет? — не скрывая радости и облегчения, спросила Соня.

Бывший начальник обомлело, даже с какой-то опаской уставился на нее. Он думает, Соня сумасшедшая. Потерять такое место и сиять при этом от счастья. Клинический случай.

— Андрей, так дела не делаются. — Это милый, добрый, благородный Кириллов. Он обнял Соню за плечи, он намерен ее отстоять.

Спасибо, но ей не нужна защита. Она не желает здесь оставаться. Она желает только одного: чтобы на часах вместо половины двенадцатого дня было семь вечера. Ну хорошо, шесть. Три часа не срок. В девять Андрюша позвонит в дверь.

— Товарищи дорогие, я перевожу или нет? Он уже о возможных санкциях говорит, наш доблестный Ронни! — спросила режиссерша, вслушивающаяся в гневный спич президента Америки.

— Расчет? Ну не сегодня же! Вы что, не видите разве, что сегодня творится? — заметил Андрей Иванович холодно.

— Андрей, я ее не отдам, не зверствуй! — сказал добрый Кириллов, все еще обнимая Соню за плечи.

— Игорь Леонидыч, спасибо, дорогой! Но я сама хотела... Я сама ухожу. Так обстоятельство складываются. Все к лучшему, поверьте.

Все к лучшему. Полдень. Теплынь, ровное, ласковое солнце. Первые дни сентября, лучшее московское время.

«Московское время — тринадцать часов. Передаем экстренное сообщение ТАСС. В ночь на второе сентября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года в воздушном пространстве над...»

— А где продавец? — спросила Соня у кассирши. — А вот этот утюг можно посмотреть?

Соня стояла возле прилавка в маленьком магазинчике «Свет», там, где улица Чернышевского перетекает в улицу Богдана Хмельниц-

кого, где незримо сталкиваются упрямыми лбами два этих угрюмых дядьки, патлатый разночинец и воинственный усатый хохол.

— Погодите! — отмахнулась от Сони кассирша, прибавляя звук в транзисторном приемнике. — Дайте дослушать.

Хорошо, она подождет. Надо купить уютю. Соня будет Андрюше рубашки гладить. Сама, только сама.

Еще надо термос купить. Вот этот, красивый, китайский. Только бы денег хватило! Там, в Беляеве, в лесу, у самой поляны, растет куст шиповника. Приземистый, пышный. Ветки осыпаны темно-красными, крупными, твердыми ягодами. У шиповника ягоды? Или плоды?..

Не важно. Сегодня пойдем в наш лес, на нашу поляну. Ведь пойдем же? Пойдем. Дождемся тихого закатного часа. Войдем в наш лес. Соберем шиповник, потом в новом термосе заварим. Это полезно, витамин С. Будем утром стоять у кухонного окна, держа в руках по дудевской чашке. «Это шиповник, Андрюша. Дикая, лесная, осенняя ягода. А во Франции растет шиповник? Ну конечно, растет...»

— Где газеты, Валентина? Ты «Известия» купила? Есть там что? — спросила кассирша у женщины, только что вошедшей в магазин.

— Может, и есть, не знаю. Все газеты смели, только «Пионерская правда» осталась... — Женщина зашла за прилавок.

— Так ты бы хоть у киоскерши спросила, пишут чего про «боинг»-то?

— Девушки, дорогие! — перебила их Соня. — Мне бы вот этот термос китайский... — И она внезапно умолкла, не договорив.

Она увидела лампу. Настольную лампу.

Зелено-золотую. Как сентябрьский лес за открытым окном. Особенную. Вот такая, да, именно такая должна им светить осенними вечерами. И зимними. Соня ее сегодня же купит. Только бы денег хватило! Сегодня же купит, дотащит коробку до лесного форпоста, войдет в новый дом. Поставит лампу на стол. Зажжет теплый свет под матовым абажуром. И сразу станет уютно. Андрюше она понравится.

— Какое чудо! Девушки, она продается? Всю жизнь о такой мечтала! — призналась Соня, восхищенно глядя на лампу. — Господи, какая удача!

Продавщица и кассирша пристально, почти осуждающе смотрели на Соню.

— А чего вы такая радостная? — не выдержала продавщица. — Прямо сияете.

— А что, нельзя? — И Соня рассмеялась, заливисто, всласть, от души.

— Да нет, почему, — пробормотала продавщица. — Просто сегодня все какие-то пришибленные ходят. Может, на нас завтра корейцы нападут. Может, звездные войны начнутся...

— Типун тебе на язык! — охнула кассирша.

— ...А вы радостная.

— А я счастливая, — уточнила Соня. — Она продается? Да?

Оказалось, не нужно ехать на дачу, везти туда Сашу на выходные. Старики приехали сами. Вот мамина вечнозеленая, вечносоломенная сумка. Вот отцовский зонт.

А зачем они приехали? Неужели Сережа уже успел им обо всем рассказать? И Соня тихо спросила у мужа, вышедшего в прихожую, стараясь не смотреть на него:

— Почему они приехали? Ты что, все им рассказал?

— Они приехали, потому что «боинг», — буркнул Сережа. — Что ты, папашу своего не знаешь? Он уверен, что Штаты на нас бомбу скинут. Сегодня к вечеру. «Если завтра война, если завтра в поход...» А наш бронепоезд стоит на запасном пути.

— Не смей им говорить, — прошипела Соня, ставя на пол коробку с лампой и ногой отталкивая ее в угол, за шкаф. Коробка была теперь вещдоком, неоспоримым свидетельством Сониной новой, отдельной, противоправной жизни. Мать увидит, спросит... Сразу все поймет. — Сережа, смотри, ни слова! Я сама... Постепенно. Их нужно подготовить... Не сегодня. Не теперь.

Муж смотрел на нее исподлобья глазами больного ребенка. Нельзя смотреть в эти глаза! Иначе она дрогнет, даст слабинку. Надо быть сильной. И Соня, обойдя Сережу как зачумленного, проскользнула в спальню. Нужно быстро собраться. Только самое необходимое. Надо быть сильной.

Как силен человек в часы своего Точного Времени! Как непробиваемо, отменно силен! Как устрашающе, отталкивающе силен, когда он счастлив!

Вот это платье. И этот костюм. Домашний халат. Белье. Две пары туфель.

Четвертый час пополудни, время уже сорвалось с крепкой дневной привязи, оно мчится вперед, весело и стремительно, само себя подгоняя.

Сережа замер на пороге, молча наблюдая за Соней, сдирающей платье с пластмассовых плечиков. Он смотрел на нее с ненавис-

тью и немой мольбой о пощаде, взглядом уничтожая и заклиная остаться, ничего не прощая и прощая все, что только можно простить.

Только не смотреть на него! Иначе она дрогнет. Останется здесь. Предаст свое Точное Время.

Половина четвертого. Через четыре часа — это совсем скоро — она увидит Андре.

Как страшен тот, кто абсолютно счастлив! Он непробиваем. Броня крепка. Он отгорожен от внешнего мира незримой оболочкой, непроницаемым панцирем своего счастья. Он оберегает свое подлое, свое честное, свое драгоценное счастье так ревностно, так рьяно, так неустанно, так истово, как женщина на сносях оберегает свой плод, держа ладони на округлившемся животе, норовя повернуться спиною ко всему, что сулит ей и ему опасность...

— Ты хоть к старикам зайди, — выдавил Сережа, угрюмо глядя на Сонины шмотки, лежащие в полуоткрытую дорожную сумку.

— Да, сейчас, конечно... А где Сашка?

— Сашку Женя к цирюльнику повела. Черт подери! — взорвался Сережа. — Почему я должен тебе докладывать, куда пошел мой сын? Куда и с кем? Кто ты такая, чтобы...

— Тихо, тихо! Старики услышат, — шепнула Соня и, осторожно проскользнув мимо мужа, вышла из комнаты. Только бы не коснуться случайно! Не то ожог будет. Сережа добела раскален. Неосторожное прикосновение — и ожог. Крик, свара, драка.

Нельзя. Здесь, рядом, отец и мать. *Мой сын!* Сережа подчеркнул это голосом, выделил. Значит, Соне еще предстоит битва за Сашку.

Все впереди, все еще будет. Если завтра война, если завтра в поход...

Старики сидели за столом, глядя в экран телевизора, работающего с выключенным звуком.

— Здравствуй, мама. Здравствуй, папа.

Старики как по команде повернули головы. Сережа догадался налить им чаю. Он им ни о чем не сказал, сдержался, пересилил себя. Спасибо, Сережа.

— У тебя есть какие-нибудь новости? — отрывисто и сухо вато спросил у Сони отец. — Вы же там, в Останкине, наверняка все эти Си-эн-эн смотрите, «Антенн-2», «Антенн-3», «Антенн-44»...

— Папа, представь себе, я ничего не знаю. — Соня наклонилась к матери, на миг прижавшись щекой к ее седым завиткам, неумело подкрашенным, почти фиолетовым, опять ее соседская Зоя красила, хапнула пятачку за этот кошмар, неумеха. — Так, слышала что-то краем уха. Сбили какой-то самолет, да?

Отец взглянул на нее с нескрываемой досадой и отвернулся к телевизору.

— Наше доблестное ПВО подбило южнокорейский «боинг», — пояснила мать. — Сегодня ночью. Где-то под Владивостоком. Он летел без опознавательных знаков, не отвечал на эти... как их... Я всегда путаюсь в терминологии... На сигналы.

Юлия Аверьяновна говорила это, не сводя с Сони глаз, вопросительно, требовательно, тревожно на нее глядя. Она говорила про «боинг» и ПВО, а глаза ее требовали незамедлительного ответа: «Что? Что с тобой? Где этот чертов француз? Там кончено? Да? Нет? Ты не можешь говорить об этом вслух — ответь мне взглядом!»

Соня отвела глаза в сторону. Не сейчас. Не теперь.

Мать смотрела на нее, приблизив ладонь к губам. Она получила ответ на все свои немые вопросы. Все ее самые страшные опасения подтвердились.

— Юлия, объясни мне! — сказал отец, глядя на экран. Там немо разевал рты очередной детский хор. — Почему я полжизни вынужден стыдиться того, что я русский? Ты знаешь, я свою жизнь прожил достойно. Ты знаешь, какой ценой. Но почему, по какому, дьявол, такому праву они меня снова мордой в грязь?!

Он повернулся к жене, проследил за направлением ее смятенного взгляда.

Теперь они оба смотрели на Соню, а Соня смотрела на них. Вот ее отец и мать. Они устали после долгой дороги. Они сидят за круглым обеденным столом, это отцовский стол, он сделан на заказ, мореный дуб, краснодеревщик постарался на славу. Стол покрыт ажурной кружевной скатертью, мать вязала ее полгода, дважды распускала, долго искала желаемый оттенок, ей нужны были топлёные сливки. Цвет густых деревенских топлёных сливок.

Это отцовский стол. Это материнская скатерть. Это их дом. Это их жизнь. Все отдано Соне. Единственной дочери, поздней, долгожданной, обожаемой.

Возьми наш дом, возьми нашу жизнь, только будь счастлива. Вей здесь свое гнездо. Ты женщина, ты жена, ты мать.

Это слова матери. «Соня, женщина — это жена и мать. Прежде всего, превыше всего. Запомни».

Да, мама. Нет, мама. Женщина — это любовь. Прежде всего. Превыше всего.

Соня, о чем ты? Мы отдали тебе дом. А ты его разорила.

Да, мама. Я его разорила. Я преступница. Я за все заплачу сполна. Но не сейчас, не теперь! Через полгода. Еще полгода. Полгода.

Сегодня такой же закат. Догорает закатное небо. Теплынь, тишина. Пустые качели.

Соня стояла у открытого окна и смотрела на пустые качели. Половина десятого вечера. Она стояла у окна уже час, не меньше.

За ее спиной, на столе, горела зелено-золотая настольная лампа. И лохматенькие, разноцветные подмосковные астры, купленные у метро «Беляево» на последний рубль, тоже стояли на столе, в трехлитровой стеклянной банке из-под томатного сока, потому что вазу Соне уже не на что было купить, она банкрот — всю наличность вбухала в лампу. Только рубль остался, рубль с мелочью без десяти копеек, и продавщица астр великодушно скостила Соне недостающие деньги.

Девять часов сорок четыре минуты. Андре опаздывает на сорок четыре минуты. Это не страшно. Это вполне объяснимо. Летный горюшок, работа. Конечно, он мог бы ей позвонить, предупредить... Но откуда? Он сейчас в пути, он возвращается в Москву. Неоткуда ему звонить. И Соне некуда звонить. Андре живет в гостинице при посольстве. Телефоны прослушиваются.

Десять вечера. Как быстро темнеет! Они упустили закат. Обидно... Подул ветер, надо бы закрыть окно... Обидно, Андрюша, такой был закат! Шли бы сейчас с тобой к нашему стогу, набив карманы красными твердыми ягодами, лесным шиповником... Да бог с ним, с закатом!

Бог с ним, с закатом. Только бы ты поскорее вернулся. Десять пятнадцать. Нет, все объяснимо. Поездка за город, хлопотное, долгое дело. Потом, конечно, накрыли стол. Русское гостеприимство, будь оно неладно. Водочка, разносолы. Господи, только бы ничего не случилось! Соню обожгло, сердце сжалось от внезапного страха. Ночная дорога. И шофера Андрюшиного могли подпоить... Оба устали, весь день в пути...

Весь день в пути. Соня закрыла окно. Гнать, гнать от себя эти мысли, эти страхи! Нужно отвлечься, заняться чем-нибудь. Соня подняла телефонную трубку. Зачем? Кому она собралась звонить? Вадиму? Соня не знает номера его телефона. Да и вряд ли Вадим чем-то сможет помочь...

Помочь, помочь... Десять двадцать шесть. Нужно отвлечься.

Теперь она бесцельно бродила по маленькой квартире, от стены к стене, из комнаты в кухню... Ночные дороги, размытые недавними ливнями... У шофера глаза слипаются от недосыпа... Гони от себя эти мысли. Займись делом. Отвлекись.

Можно сделать салат. Вот мясистые краснобокие увальни, сладкие, спелые волжские помидоры, «бычье сердце». И зелень. Соль Соня выкланчила у соседки по этажу — звонила в чужую дверь, смеялась, что-то смущенно объясняя. Два часа назад, совсем недавно, еще счастливая, деловито-оживленная, еще не смятая страхом, тоской затянувшегося ожидания... Соне вручили и солонку, и салатницу. Милые, добрые, щедрые лесные люди! «Приходите к нам в гости. Мы? Да, мы снимаем эту квартиру. Да, это мой муж».

«Это мой муж». Половина одиннадцатого. Соня стояла у плиты, тупо глядя в стену. «Мой муж». Не нужно было этого говорить.

Соня присела возле кухонного стола.

Вот его зелено-золотые дулевские чашки. И деревянная, старинная, эльзасская кофемолка, доставшаяся Андре от деда. Он всюду возит ее с собой. Он принес ее сюда, потому что теперь его дом здесь. Вчера утром он торжественно поставил кофемолку на подоконник. Кофейные зерна нужно измельчать только в фамильной деревянной кофемолке. Никакого металла! Только дерево, старое дерево. Тогда молотый кофе сохранит свой подлинный аромат. «Все должно быть настоящим, Соня». Настоящий кофе. И вино настоящее. И слова, которые мы говорим друг другу. И чувства, которые мы испытываем.

Половина двенадцатого. Звонок в дверь. Андриюшин, настойчивый, долгий.

Соня вскочила. Звонок в дверь всего-навсего, но этот звонок равен чуду, он мгновенно переместил Соню из отчаяния в ослепительную радость, настоящую, подлинную, «плезьон де ля ви»!

Ох уж этот замок, Андре сам его выломал, сам вчера колдовал над ним два часа кряду... Сейчас, подожди секунду!

Соня распахнула дверь настежь, и сердце ее упало. Господи, сразу и не вспомнишь... Лицо из другой жизни, той, о которой не хочется вспоминать. Которая почти забыта.

— Я войду? — спросила Канцероген.

Соня молча смотрела на нее, сквозь нее, не слыша ее, не видя.

— Понятно. Ты не одна, — кивнула Катя. — Тогда я тебя на улице подожду. Выйди на пять минут, это важно.

— Я одна, — возразила Соня бесцветным голосом.

Канцероген снова кивнула, не двигаясь с места. Интонации ее голоса, взгляд измученных, запавших глаз были такими же неживыми, как и у Сони.

— Входи. — Соня посторонилась, впуская ее в квартиру.

Канцероген прошла в комнату и села на единственный стул.

— Красивая лампа, — сказала она. Голос ее был ровен и пуст.

— Ты как меня нашла? — спросила Соня, устало прислонившись к стене.

— Ирка... твоя... дала адрес, — с усилием пояснила Канцероген, по-прежнему глядя на лампу.

— Ирка... Трепло, — невнятно выдавила Соня.

Они перебрасывались этими короткими, вымученными фразами, почти не слыша друг друга. А зачем она вообще пришла, Канцероген?

— Она не трепло, — пробормотала Катя. — Слишком повод...

Ужас, смертный ужас. Соня уже все поняла и вжалась в стену, спиной, плечами, затылком, ладонями рук. Не говори! Не надо!

— Фридрих умер, — сказала Канцероген. — Алла уже вылетела в Казань. Эта Матлюба... Она пошла к своему мужу, чтобы договориться о разводе. А Фридрих ждал ее у подъезда. Она вышла и говорит: «Я с ним остаюсь. А ты уезжай обратно». Фридрих сказал: «Хорошо». Пошел на вокзал, купил билет. Упал возле кассы и умер. Сердце.

Канцероген замолчала. Она и так говорила слишком долго. Она устала. Теперь она си-

дела молча, медленно собираясь с силами, глядя на Сонину лампу, и Соня глядела на эту лампу, стоя возле стены.

Фридрих умер. Упал и умер. Сердце.

Он старше Сони. Он всегда опережал ее на полшага. А Соня шла следом. След в след. Они как два близнеца, связанных незримо, но прочно.

Он пошел на вокзал. И умер. Сердце.

— Я пойду. — Катя поднялась со стула и взглянула на Соню, приросшую к стене. — Я должна была тебе рассказать. Алла его привезет. Я тебе позвоню. Я позвоню?

Соня кивнула. Андре не придет. Фридрих умер. Он пошел на вокзал. Он старше. Он всегда опережал ее на полшага.

Канцероген ушла. Андре не придет. Фридриха больше нет. Нужно отойти от стены. Добраться до постели. Лечь и уснуть.

Уснуть. А лампа пускай горит. Чтобы ее погасить, нужно подойти к столу. Но на это нет сил. Их вообще нет.

Ладно, есть выход. Можно сползти вниз по стене, сесть на пол, лечь. Это паркет, дерево, оно теплое. Она ляжет на пол и уснет.

Он пошел на вокзал. Купил билет. Упал и умер.

Соня сползла вниз по стене и легла на бок, почти сразу же закрыв глаза. Тихий ночной дождь шумел за окном.

*3 сентября 1983 года*

Глухой ровный гул. Соня в самолете. Куда она летит? Где Сережа, Сашка?

Она летит одна. Куда? Зачем?

Рядом с ней, в соседнем кресле, сидит незнакомый мужчина. Глаза его закрыты, он

спит и ровно дышит во сне. У него азиатское скуластое маленькое лицо, тонкие губы плотно сжаты. На коленях лежит газета, это «Санди телеграф», Соня знает.

— Это за первое число? — спрашивает она и тянет руку к газете. — Вы позволите?

Почему она ведет себя так бесцеремонно? Зачем задает ему этот вопрос, он же не слышит ее, он спит.

— Да, конечно, — отвечает он, не открывая глаз. — Но вы не успеете. Вы не успеете заварить для него шиповник. Во Франции не растет шиповник. Вы не успеете. Мы падаем.

Соня открыла глаза. Она лежала на полу возле стены. Левая нога от бедра до щиколотки затекла, Соня не чувствует ее. Нужно сесть, растереть, размять ладонью затекшую ногу. И спину, и плечо... Вот так. Теперь нужно подняться.

Резкая боль сверлит затылок. Нет, это не мигрень, это эхо вчерашней утренней свары. Сережа молотил ее головой о кухонный кафель, и теперь затылок болит. И нога болит, и спина.

Соня доковыляла до стула, стоящего посреди комнаты. Уже утро, туманный осенний рассвет. Половина седьмого. А лампа горит, что ей сделается. Ровный теплый свет под зелено-золотым матовым абажуром. Бессонный страж. Отдохни, мы все равно не дождались.

Соня дотянулась рукой до выключателя, потом опустилась на стул. Как болит рука! На бледной коже — красноватые отпечатки паркетных плиток. Это пройдет. И боль пройдет.

Сон. Самолет. Азиат, сидящий в соседнем кресле. «Мы падаем. Вы не успеете. Во Франции не растет шиповник».

В тот самый миг, когда она вспомнила свой сон — ровный гул самолета, желтолицего спутника с азиатскими скулами, с аккуратным, маленьким, чуть приплюснутым носом, — в этот же миг все связалось в единую нить.

Сбили «боинг». И Соню сбили.

Это зависть богов. Земных ли, небесных...

Он не придет.

Соня сидела на стуле посреди комнаты минут сорок, равнодушно глядя на погасшую лампу, на лиловые и сине-сиреневые головки сентябрьских астр, темнеющих над краями трехлитровой банки. Она не шелохнулась и тогда, когда в дверь осторожно позвонили. Она знала, что это не Андре. Ей все равно, кто это. У нее нет сил на то, чтобы подняться со стула. У нее нет сил на то, чтобы оглянуться назад, на шум открывающейся входной двери, на звук чьих-то шагов.

Он сейчас сам объявит о своем приходе, этот новый гость. Может быть даже, он поможет ей подняться.

— Привет. — Вадим первым делом подошел к телефону, снял трубку. — Ну конечно, так я и знал. Ты трубку плохо положила. Андре до тебя дозвониться не мог... — Оглядевшись по сторонам, он присел на краешек стола и, скрестив руки на груди, изучающе взглянул на Соню: — Ты уже знаешь?.. Но ты же не можешь об этом не знать!

— О чем? — спросила Соня, не двигаясь с места. — Что с ним?

— Его отзывают в Париж, — вздохнул Вадим. — Вернее, высылают из Союза. Он тебе вчера весь день звонил, и вечером, и ночью. То не было никого, то занято... В общем, если

ты хочешь с ним проститься... — Вадим взглянул на часы. — Хотя это маловероятно, через три часа у него самолет. И там, вокруг, наши гаврики в штатском. Ладно, давай попробуем. Соня, очнись! Поехали!

Они спустились вниз, во двор, прошли мимо пустых качелей, за которыми овраг и лес, и поле, освещенное утренним солнцем, и полуразрушенный стог, и запах сырой соломы, и два тележных колеса, вросших в землю, и куст шиповника с темно-красными дикими лесными ягодами. Там осталась жизнь, радость к жизни, «плезьон де ля ви», простые, единственно важные, добытые ценой страданий и боли, но добытые, отвоеванные Соней у судьбы человеческие радости. Любовь. Свобода. Точное Время.

Сонино время истекает. Осталось всего ничего.

Вадим открыл переднюю дверцу своей машины, помог Соне сесть, пристегнул ее ремнем безопасности. Она откинула голову на спинку сиденья и поморщилась от боли.

— Что? Где болит? — встревоженно спросил Вадим. — Голова? Затылок?

Он вел себя замечательно и очень по-мужски. Был спокоен, деловит, собран. Сел за руль, порывшись в бардачке, нашел облатку с обезболивающим. Протянул Соне термос с горячим чаем.

Он гнал машину к французскому постпредству, где в маленькой гостинице для своих, в комнате, в которой Соня не была ни разу, Андре сейчас курил свой «Житан», стоя рядом с дорожным саквояжем. Вещи собраны, еще немного — и в путь...

А деревянная эльзасская кофемолка? Семейная реликвия, святыня, Андриюшин талисман, от деда — к отцу, от отца — к сыну?! Деревянная кофемолка осталась стоять на узком подоконнике, в кухне опустевшей квартиры, там, в Беляеве, рядом с зелено-золотыми дулевскими чашками, рядом с чужой салатницей, в которой томятся в сладком, алом соку нарезанные с вечера, размякшие, потемневшие, никому не нужные волжские помидоры «бычье сердце».

— А кофемолка? — растерянно спросила Соня. — Она же ему от деда досталась! — И она наконец заплакала.

Она плакала в голос, навзрыд, бессвязно, по-бабьи причитая, вцепившись в шершавые, плотные края ремня безопасности, словно пытаясь освободиться от него. Какая безопасность? Какая опасность?

От какой такой опасности пытаются ее уберечь, когда она сейчас в самой сердцеvine беды и боли. Боль растет. Броня пробита.

— Вот поплачь, молодец, поплачь, будет легче, — бормотал Вадим. — Ты не стесняйся, не обращай на меня внимания. Голова не болит? Это хорошие таблетки, французские...

Не болит ли у нее голова? А где это? Да она вся превратилась в боль, в тяжелый, горячий сгусток боли!

— Наши подбили «боинг», в ночь на второе. Ну ты знаешь, — сказал Вадим. Они стояли в пробке. — Андре написал статью, ее тут же по «голосам» передали... Молодец! Назвал вещи своими именами. Разделал нас под орех. Понимал, на что шел. Ну и дождался, конечно. Аккредитации лишили, из Союза высылают.

Он теперь персона нон грата... Черт, пробка. Влипли! Это надолго.

— Понимал, на что шел?! — Соня отстегнула наконец этот проклятый ремень безопасности. — А я как же?

К боли, раздирающей ее изнутри, теперь прибавились тоскливое недоумение, обида и горечь. Он понимал, на что шел! Он знал, что за эту статью его вышлют из Москвы и он потеряет Соню, зелено-золотой подмосковный лес, овраг, поляну, закатное солнце, тепло Со-ниных губ, запах свежей соломы, запах настоящего кофе, радость настоящей любви. Вот чем он пожертвовал.

Мы падаем. Мы погружаемся в зеленую, зелено-золотую, прозрачную, ледяную воду Атлантики. Мы медленно опускаемся на океанское дно. Нас больше нет — ни меня, ни тебя. Нас тоже сбили, Андрюша.

— Успели! — выдохнул Вадим, въезжая в тихий старомосковский переулок и тормозя невдалеке от двухэтажного особняка, обнесенного высокой чугунной оградой. У ворот стояли две машины с открытыми багажниками. — Успели, Соня!

Он повернулся к ней, улыбнулся, и это короткое «Успели!», и эта спокойная короткая улыбка, улыбка друга, человека, который помогает ей, понимая, как ей худо, который не говорит пустых, лишних слов, не суетится, — это слово и эта улыбка в самом деле помогли Соне выбраться из обморочной, вязкой, все глубже и глубже засасывающей трясины отчаяния.

Она выскочила из машины и побежала к чугунной витой ограде, за которой вид-

нелся нарядный, с башенками и эркерами, особняк. Где-то там, совсем рядом, за этими окнами, за этими стенами, Андре уже поднял свой саквояж и теперь идет к лестнице, спускается вниз, пересекает холл, подходит к двери...

Сейчас она его увидит — и освободится от боли, пусть ненадолго, на пару минут. Этого достаточно. Сейчас она его увидит — и отдохнет от боли.

И она слепо, с разбегу, ударилась плечом о чье-то плечо.

— Здра-асте! — протянул Крапивин, тот самый, из другой жизни, в которой остались Сережа, Бернар, картошка в мундирах, шумное хмельное застолье.

Он смотрел на Соню, изумленно округлив и без того круглые, белесые свои глаза. Соня молча обогнула его, пересекла узкий переулок. Здесь расхаживали, покуривая, позевывая, поглядывая на часы, крепкие, коренастые мужички в серых двубортных костюмах.

Не обращая внимания на их внимательные взгляды, Соня подошла к чугунной решетке. Ступени высокого крыльца еще влажно блеснут после ночного дождя. Массивная дверь закрыта. Сейчас она откроется.

Неслышно подошел Вадим, встал рядом, у Сони за спиной.

— Я здесь, — негромко сказал он.

Возле кромки тротуара стоят две машины с дипномерами. Вот кто-то хлопнул крышкой багажника. Кто-то рассмеялся. А теперь смеются сразу несколько двубортных, серых, крапивинских мужиков.

Над массивной дверью узорная кладка, мелкая, пестрая. Бело-розово-желто-зеленая.

Как салат оливье. Французы — это такие особые люди в белых поварских колпаках...

Дверь открылась. Соня вцепилась в чугунные прутья решетки. Коротко стриженный, седой мужчина в длинном светлом плаще вышел на крыльцо. За ним шел Андре. Мужчина раздраженно сказал ему что-то по-французски и сбежал с крыльца. Андре шел следом, тупо глядя себе под ноги.

Соня жадно смотрела на него. Странный оптический эффект: Соня видела сейчас каждую складочку, каждую морщинку на его коже, припухшие веки, и маленькую родинку под правой бровью, и желтоватые белки усталых глаз. Его синие, прованские глаза будто вылиняли, выцвели, это уже не яркая небесная синь, а тусклая синька. Он не выпался. Он совсем не спал этой ночью.

— Соня, я здесь, — сказал Вадим. Он по-прежнему был рядом.

Андре сбежал по лестнице. Седовласый мужчина в светлом плаще ждал его, стоя на дорожке, посыпанной мелким гравием. Он продолжил свой взвинченный монолог на французском. Андре наконец поднял глаза и безучастно взглянул на него. Перевел взгляд. И увидел Соню.

Остановился.

Он стоял посреди геометрически ровной дорожки, ведущей к воротам. Здесь все было геометрически четким и выверенным: аккуратные прямоугольные газончики, идеально круглые шарообразные кусты...

Сонин Андре, ее французский дубинушка, постаревший за сутки лет на пять, с отечным и бледным лицом, все же тщательно выбритым, стоял у крыльца и смотрел на Соню. А она

смотрела на него, вцепившись в прутья чугунной решетки. Надо все запомнить, все — упругую, твердую линию губ, низкие широкие брови, сведенные к переносице, высекающие на ней вертикальную складку, высокий выпуклый лоб, тусклую синеву глаз.

Седовласый нетерпеливо похлопал Андре по плечу. Андре сбросил его руку. Он все смотрел на Соню, смотрел с иступленной тоской, с угрюмым, бессмысленным упоением полубезумца, человека, погруженного в себя, на время потерявшего рассудок.

Время остановилось. Люди Крапивина, меряющие нетерпеливыми шагами узкий старомосковский переулок, спутник Андре, подталкивающий его к воротам, Вадим, не без труда оторвавший Сонины руки от прутьев решетки, — все они были здесь, рядом. И всех их здесь не было. Время остановилось. Время стало точным.

Седовласый повысил голос, почти выкрикнул несколько резких, отрывистых фраз, схватил Андре за руку, рванул на себя.

Андре отвел глаза, вышел за ворота и направился к одной из машин. Сел на переднее сиденье, захлопнул дверцу.

И опять странный оптический эффект: Соня его не видела. Она ничего не видела. Но боль отступила.

Машины отъехали.

— Ты не думай, он не струсил, — тихо сказал Вадим. — Тут гэбэшники кругом. Он не подошел, чтобы тебе потом хуже не было.

Потом будет хуже? Еще хуже?! Тогда не надо никакого «потом».

Одна из машин выехала из переулочка и скрылась за поворотом. Другая неожиданно оста-

новила. Андре выскочил из нее и ринулся назад, к ограде особняка. Он бежал к Соне.

Соня рванулась ему навстречу. Крапивинские серые двубортные орлы стояли вдоль дороги, справа и слева, кто на тротуаре, кто на мостовой, и озадаченно переглядывались, ничего, впрочем, не предпринимая.

А что они могли сделать с мужчиной и женщиной, которые, добежав друг до друга, обнялись так крепко, так истово, с такой прощальной, смертной, отчаянной силой?

Они все же попытались оттащить Соню от Андре. Андре опомнился первым, отступил было на шаг, но Соня намертво вцепилась в его плечи, в плотную, темную ткань его пиджака. Она сильнее. Броня крепка.

— Андрюша!.. Не надо!..

Ее оттаскивали от Андре, пытались оторвать Сонины руки, пальцы от его плеч. Не выйдет у них ничего!

— Не надо! Пожалуйста!

Его синие глаза потемнели от горя. Плечи безвольно обмякли, но Соня крепко вцепилась в плотную ворсистую ткань пиджака.

— Пожалуйста! Не на...

Подбежал Вадим, оттолкнул двубортных, оттащил Соню от Андре.

— Андрюша!

В глазах темнеет... Темно. Пустота. Ровный глухой гул. Мы падаем. Падаем.

Это чай. Индийский. Заварка. Ее заливают кипятком. Настаивают. Разбавляют водой, пьют. А зачем? Чтобы утолить жажду. Так принято. Так полагается. Люди просыпаются, пьют чай, завтракают, отправляются на службу, приходят домой, ужинают, ложатся спать.

Так у них, у людей, заведено. Они засыпают и просыпаются.

Вот пусть они засыпают и просыпаются. А Соня-то здесь при чем?

Почему она сидит на кухне, в чужой квартире, в доме ее бывшего мужа Сережи? Почему на ней этот стеганный длинный халат поверх платья?

Это Вадим привез ее на Сретенку, в дом ее бывшего мужа Сережи. Соню бил озноб. Она смогла выговорить только два слова. Она сказала: «Мне холодно». Сережа, не разобравшись, принял Вадима за человека, к которому ушла Соня. Он неумело, но яростно схватил предполагаемого соперника за грудки и встряхнул, но Вадим скрутил его в два счета, прижал к стене, процедил: «Сдурел? Не по адресу!» Дождавшись, когда тот остынет, сказал: «Одень ее потеплее, халат дай какой-нибудь... И спать уложи. И ни о чем не спрашивай. Не трогай ее, понял?»

Чай со слоном. Две пачки осталось от щедрого продуктового заказа. Август, пекло. Жаркий полдень. К нам приедут французы! Нужно накрыть стол. Ветеран из «Нормандии — Неман». С ним еще кто-то, из «Юманите»...

Еще кто-то.

Соня просидела на кухне у стола весь день. Уже вечер, поздний сентябрьский вечер. За окном шуршит дождь. Жизнь кончилась. Нужно учиться жить заново. Нужно саму себя взять за руку и тихо, внятно, ласково самой себе говорить: «Смотри, это чай. Его заваривают и пьют. Это стол. За ним сидят. Это окно. Не подходи — опасно. Нельзя подходить к окну, когда оно открыто. Земля далеко. Можно упасть и разбиться».

Нужно учиться жить заново. Соня забыла названия предметов. После сильной контузии люди иногда теряют память, но потом память возвращается. И память, и желание жить. И тогда люди учатся жить заново.

А Соня не хочет. Зачем ей чай со слоном? Ей не нужен чай, ей нужен Андрюша. Зачем ей эта чашка из мамино старого, еще довоенного сервиза? Ей не нужна эта чашка. Ей нужна зелено-золотая, Андрюшина, и чтобы Андрюша стоял рядом, у открытого окна, возле узкого кухонного подоконника, там, в Беляеве. Соне нужно, чтобы они стояли у окна рядом, держали в руках дулевские чашки, пили из них горячий настой лесного шиповника, смотрели на березы и «дубья», освещенные закатным солнцем, на алое небо, на свой заповедный лес.

Сережа вошел на кухню, осторожно отнял у Сони заварочный чайник, доверху наполненный сухой заваркой, — на скатерть сыплются узкие, черные, перекрученные чаинки...

— Соня, очнись! У нас мать в гостях! Встряхнись, возьми себя в руки. Мать ни о чем не знает и не должна знать.

— Мама! — весело крикнул из комнаты Сашка. — Мама, папа, идите сюда! Тут мужика показывают, который сбил!

Надо встать и идти. Сын зовет ее.

«Соня, запомни: женщина — это жена и мать. Прежде всего. Превыше всего». — «Да, мама. Нет, мама. Женщина — это любовь. Прежде всего. Превыше».

В комнате, за отцовским столом под маминной кружевной скатертью, сидела заплаканная свекровь. Почему она плачет? Соня же не плачет. Плачут живые люди. Те, которые зава-

ривают чай, ужинают, засыпают, просыпаются, идут на службу. Вот они плачут иногда. Чтобы выплакать горе, вытереть слезы, почувствовать облегчение, освобожденно вдохнуть полной грудью. И жить дальше.

А ей зачем жить дальше?

— Сережа, я не могу! — всхлипнула свекровь. — Ты посмотри на него! Сонечка, посмотри! Он, наверное, две ночи не спал. Какие глаза у него больные...

На экране телевизора молодой светловолосый мужик с широкоскулым, простоватым лицом отвечал на вопросы интервьюера. Кто это такой? А, это тот, который сбил «боинг».

Соня пристально посмотрела на него. Он сбил «боинг». И ее, Соню. Вот этот. А мог бы другой. Он только исполнитель. Он выполнил чей-то приказ.

У него ввалившиеся, измученные глаза. Движения заторможены, голос глух и бесцветен. Он говорит очень медленно, с трудом подбирая слова. Его светлые вьющиеся волосы растрепаны. Надо было причесать его, прежде чем усадить перед телекамерой. Или попросить причесаться. Может, попросили. А он не расслышал. Он и сейчас, похоже, не сразу понимает смысл задаваемых ему вопросов. Подолгу молчит, пытаясь сосредоточиться.

Ему тоже больно. Он сбил этот «боинг» и себя вместе с ним. Ему больно. Может, он знает, как избавиться от этой боли? Спросить бы у него. Нет, он не поможет. Никто не поможет.

— Бедный мальчик, — вздохнула свекровь, утирая слезы.

— Это он-то бедный?! — заорал Сергей так, что Сашка вздрогнул и поперхнулся чаем. — Мама! О чем ты говоришь? Ты знаешь, скольких людей он на тот свет отправил одним нажатием кнопки?!

— Он не виноват, — возразила свекровь. — Ему приказали, он и нажал. Он солдат, он выполнил приказ. А вот как он теперь жить будет... С такой-то ношей... Соня, чего ты стоишь? Садись за стол.

За стол? Соня недоуменно посмотрела на Полину Ивановну, вытирающую слезы полной рукой, покрытой ровным дачным загаром.

Плачет. Хорошо ей — она живая.

— Я сейчас, — пробормотала Соня. — Там чай... заварка...

Она вышла из комнаты. В коридоре темно. В спальне открыто окно, и слышно, как шумит ночной дождь. За окнами Сретенка. Может быть, Сретенка ей поможет? Простит Соню, предавшую ее?

Как больно! Когда-то маленький Сашка, было ему лет семь, спросил у Сони: «Мама! А если болит рука, если ее уже не вылечить, ее что, отрубают?» — «Да, сыночек. Ампутируют. А зачем тебе это надо знать?» — «Мама! А когда голова болит? И ее уже не вылечить? Ее тоже... — С детским простодушным ужасом: — Ее тоже отрубают?»

Сережа вышел в коридор, включил свет. Взглянул на Соню, сидящую на стуле, с сиротской покорностью положившую руки на колени ладонями вниз. Она и в беляевской одиночке вчера так сидела. И на сретенской кухне так просидела весь день. И здесь так сидит, в темноте. Когда голову нельзя вылечить... Когда нельзя избавиться от боли...

— Что ты здесь сидишь? Пойди ляг. Я сказал маме, что ты нездорова.

— Хорошо, Сережа. Сейчас.

— Соня... — Пауза. — Соня! — Он смотрел на нее с мольбой и надеждой. — Давай мы попробуем... Как будто ты мне вчера ничего не говорила... Если ты дашь мне слово, что больше никогда его не увидишь... Этого, твоего... Я готов обо всем забыть.

Бедный Сережа! Он готов обо всем забыть. Он ничего не понимает. Он разговаривает с Соней так, будто она живая. Он думает, что она живая. Что можно попробовать. Что можно снова научиться жить. Заваривать чай, ужинать, засыпать и просыпаться рядом, в одной постели, завтракать, идти на службу, плакать, потом вздыхать с облегчением...

— Если ты обещаешь мне, Соня... что ты никогда его не увидишь...

Она никогда его не увидит. Вот в этом-то все и дело.

— Нет, Сережа. Я тебе этого обещать не могу.

Он постоял молча и вышел. За окнами шумел дождь. Соня встала, сняла с вешалки плащ.

А когда — голова? И ее уже не вылечить?..

Набросив плащ поверх стеганого халата, в тапочках, простоволосая, она прошла в спальню и, открыв шкаф, принялась рыться на нижних полках. Здесь где-то... Вот оно! Старое байковое детское одеяльце, Сапкино. Тонкое, выцветшее, бледно-голубые ромбы на белом. Соня на нем гладит. Зачем оно ей?

«Мама! А когда голова?.. Ее что, тоже?!»

Сретенка пуста. Безлюдная ночная улица. Идет дождь. Настоящий осенний дождь, затяжной и холодный.

Соня стоит у темных витрин магазина «Дары природы». Плащ расстегнут, влажная челка прилипла ко лбу. Байковое одеяло, сложенное вчетверо, она сжимает под мышкой, прячет от дождя, прикрывая его пелеринкой плаща. Одеяло должно быть сухим.

Мимо проехал сорок восьмой троллейбус, совсем пустой.

Боль не отпускает. Сретенка не хочет прощать Соню.

Не прощаешь. Прощай. Прощай, моя Сретенка.

Андре больше нет. И Фридриха нет. Он всегда опережал ее на полшага. Он пошел на вокзал и умер.

Соня отошла от черной витрины. Двинулась вперед, медленно, потом быстрее, к Колхозной площади, к Садовому. По Садовому ходит троллейбус, потом он свернет вниз, под горку, и отвезет Соню на Казанский вокзал. Это совсем рядом.

Полы длинного стеганого халата намокли, прилипли к ногам. И волосы прилипли ко лбу, к мокрым щекам. Детское байковое одеяло Соня прятала теперь на груди, прикрывая его отворотами плаща, чтобы оно было сухим и теплым.

Казанский вокзал, языческая, грозная, гулкая громада. Несгораемый ящик.

Соня быстро шла через зал ожидания. Она по-прежнему прятала одеяло — не от дождя, а от чужих глаз. Одеяло — это улика. Оно может выдать Соню, Сонины намерения, цель ее недолгого ночного пути.

Она вышла на перрон. Совсем недавно она простилась здесь с Фридрихом. Вот туда она и пойдет, к третьему пути, там и сейчас стоит

поезд, люди спешат к вагонам, хрипло, возбужденно переговариваясь, гремят тележки носильщиков, кто-то с кем-то прощается, судорожно обнимается, гладит по плечам.

Вперед, вперед, мимо сонных проводников, лениво проверяющих билеты, мимо мужчин с чемоданами и сумками, мимо женщин, несущих на руках спящих детей. Мимо живых людей, им не больно, и слава богу, и пусть они живут, заваривают чай, засыпают и просыпаются...

Вот и кончился длинный, узкий, залитый асфальтом язык перрона. Здесь, у самого края, ни души. Поезд и люди остались за спиной, далеко. Никто не видит, как Соня спускается вниз. Четыре ступеньки.

Здесь пахнет мазутом, землей, мокрым щебнем, металлом. Рельсы, шпалы. Соня быстро шла, глядя прямо перед собой, спотыкаясь, прижимая к груди детское, мягкое, вчетверо сложенное одеяло.

Теперь можно его достать. И надо снять плащ, он ей мешает. Не останавливаясь, прямо на ходу, перекладывая одеяло из руки в руку, Соня сняла с себя плащ, бросила его на землю.

Пошла медленней. Надо выбрать место. Надо торопиться, иначе вымокнет Сашино одеяло.

Вот здесь. Соня опустилась на колени, на темный острый гравий, и осторожно положила на тускло поблескивающие рейки рельсов, на мокрые шпалы свое одеяло. Аккуратно расправила и, нагнувшись, уткнулась в него головой, лбом, носом, стиснутыми губами, уткнулась в теплую, ветхую, мягкую, пахнущую утюгом и домом бело-голубую плоть.

Она ничего больше не видела, замерев в неудобной позе, зажмурившись, сжавшись, оцепенев. Оставалось только дожидаться избавления от боли. Будет самая страшная боль, и — сразу же — избавление, и ради этого спасения от многочасовой пытки можно выдержать последний удар. Ждать недолго, вот и грохот приближающегося состава, мерный перестук колес.

Мама! А когда голова болит, ее — тоже?!

Да, сыночек. Прости.

Грохот рос, заполняя собой все пространство между землей и небом... Как будто папины танки идут на учениях... Броня крепка...

Чьи-то руки вцепились в Сонины локти и плечи, рванули вверх, подняли Соню с земли. Она стояла на ватных ногах, качаясь из стороны в сторону. Удар — это Соню наотмашь ударили по щеке.

В темноте, совсем рядом, мелькали узкие квадраты яркого света. Это окна электрички, с грохотом промчавшейся по соседнему пути.

Две женщины, в железнодорожной форме, молодая и старая, трясли Соню за плечи:

— Ты что?! Ты что, дура?! Как же можно-то? Ой, дура! Ой, дура!

Теплые мягкие ладони стиснули Сонины щеки. Пожилая женщина всматривалась в ее лицо с состраданием, гневом, укором.

— Ты что ж удумала-то, дочка? Пойдем! Ой, дурища... Живая?

— Помогите мне. — Соня, качнувшись, вцепилась в ее плечо. — Мне больно.

Она стояла, не чуя ни рук, ни ног, глядя, как молодая женщина поднимает с земли одеяло, стряхивает с него гравий и грязь, бормоча:

— Сейчас... Сейчас... К нам пойдем. Вон наша будочка... Почистимся... Замоем...

Они перевели Соню через пути, осторожно и бережно, как слепую. Все самое страшное позади — рельсы, шпалы и мокрый колкий гравий. Впереди — живая, теплая, пропитанная дождем земля. Дом, свет и тепло.

Соню подвели к будке, придерживая за плечи, обнимая, что-то негромко говоря в два голоса... О чем они говорят? Сейчас она их услышит, сейчас.

Они говорят о том, что скоро она согреется, у них есть электрический чайник, он как раз вскипел. И о том, что надо будет потом найти ее плащ, они видели из окошка, как она бежала, а потом остановилась, сняла с себя плащ и бросила его на рельсы.

Сейчас она выпьет чаю, ляжет и заснет. Ей поставят вот здесь раскладушку. Только раскладушка иногда падает ни с того ни с сего, упадет — не пугайся, поправим.

А завтра утречком встанем — и в церковь пойдем. Ты крещеная? Здесь рядом церковь, ну не рядом — на трамвае проехать, Петра и Павла, на Преображенке, на горке. Это недалеко, очень хорошая церковь, там служит отец Валентин.

Завтра праздник большой. День, говорят, будет хороший, солнышко, по радио сказали. Поведем тебя в церковь. Свечку поставишь Казаночке, Казанской Божьей Матери, заступнице нашей. Не шибко я тебя ударила? По щеке-то? Нет? Прости меня, детонька, я и сама испугалась.

А как зовут тебя? Соня? Какое имя хорошее! София — мудрая, значит. И с таким-то именем что ж ты творишь?.. Ладно, забудем. Всяко бывает.

София! У тебя именины скоро. Вера, Надежда, Любовь. На тридцатое сентября. Вот именины отпразднуешь — и к новой жизни проснешься. Все горести отлетят.

Тебе сколько сахара? Покрепче тебе? Пей, детка. Завтра праздник.

*1 января 2000 года*

— Ваш муж приходил.

— Что?

— Ваш муж сейчас приходил. За вами. Позвонил в дверь, я ему открыл, он с порога: «Она здесь?» Он все квартиры обошел, одну за другой. Вас искал. Я ему говорю: «Здесь, не волнуйтесь. Она здесь когда-то жила, может быть, вы не в курсе». Он заглянул в ванную, посмотрел на вас... Мы с ним пару минут поговорили. Он успокоился и ушел. Он ждет вас внизу, в машине.

Кто это? А, это хозяин Сониной бывшей квартиры. Из молодых, да ранний. Яппи. Жесткое, умное лицо. Джинсы и свитерок с аккуратными замшевыми заплатками. Это в праздник-то, в Новый год!

Соня сидела на антикварном стуле в ванной, в розовом, кукольном, новорусском раю. Сидела перед зеркалом, чужим, безвкусным, которое Барби выбирала, розовое с золотом, Версаль для бедных.

— О господи! — Соня поднялась со стула. — А я что, вот так сидела?

— Вот так сидели. И смотрели в зеркало. Задумались. Бывает. Ничего в этом экстраординарного нет. — Яппи невозмутимо и доброжелательно глядел на Соню, стоя на пороге ванной, привалившись плечом к дверному косяку.

— Вы уж простите меня...

Соня запнулась, пытаясь вспомнить его имя. Забыла. Она еще там! И сколько времени она там была?

Сколько вот так просидела? Бред. Явилась к незнакомым людям, без звонка, как снег на голову, в праздник. Может быть, утро уже...

— Вы простите меня. Я... Я забыла ваше...

— Женя. — Яппи посторонился, дав ей выйти из ванной.

— Женя. Конечно. У меня невестку Женей зовут. Они сейчас в Принстоне. — Очень нужно ему об этом знать! — А где этот... Где ваш охранник?

— Почивать изволили, — усмехнулся Женя. — Сморило его, бедолагу. Перепил на радостях. Сын как-никак. Первенец.

Значит, Соня просидела тут полночи. За окнами еще темно, но это ничего не значит. Зима, январь. И в шесть утра, и в семь еще темень, мгла крошечная. Благовоспитанный яппи полуотвернулся от Сони, давая невольный затяжной зев. То-то натерпелся, бедняга! Приперлась незнакомая старая тетка, засела в ванной и просидела там полночи, тупо уставясь в зеркало.

А яппи терпел. Хотя мог выпроводить неожиданную визитершу в два счета. А он ничего, терпеливо ждал, пока Соня очнется от своей новогодней летаргии.

Вадик, конечно, бесится сейчас там, внизу, но и он ее не тронул, не окликнул. Можно себе представить, какое у нее было лицо, если разъяренный муж, обойдя все квартиры, устав объяснять их владельцам, кто он такой и кого здесь ищет, молча ушел, не решившись ее окликнуть. Можно себе представить.

— До свидания, Женя. Еще раз простите. С Новым годом. Я вам очень... очень благодарна.

— Ну что вы! И вас с Новым годом. — Благовоспитанный яппи, железная выдержка, корректен, учтив. Новая формация.

За соседними дверями по-прежнему гремит лоточная дребедятинна, там хохочут, топочут ножищами, скачут под «Негра». Миллениум. Светопреставление. Ох и задаст же ей Вадик! И будет прав.

— Приходите еще. Приводите мужа. — Яппи улыбнулся ей, стоя в открытых дверях.

— Нет, Женечка. Больше я сюда не приду. Спасибо. Простите. Прощайте.

Она начала спускаться вниз по лестнице, ведя ладонью по стене. Все равно это ее дом. Прощай, дом. Прощай, Луков. Прощай, Сре-тенка. Больше она сюда никогда не придет.

Соня теперь живет далеко, на Речном, с мужем Вадимом, с внуком Сереженькой, Сергеем Александровичем. Назвали в честь деда, хоть, говорят, нельзя в честь деда, примета плохая, ребенок берет на себя дедову греховную карму.

Да глупость все, чушь! Какие у Сережи грехи? Это у Сони — грехи, а Сережа безгрешен. Лыс и безгрешен. Лыс, но бодр и спортивен. Два раза в неделю изнуряет себя тренажерами и жесткой диетой. Он у нас молодой отец — почти сразу тогда женился.

То-то все подивились! Сашка сказал тогда Соне:

— Ни фиги себе! Мать, она его на двадцать лет моложе! Ее Алена зовут. Она график, книжку ему оформляла. Малофеев спился совсем, уже рука по бумаге не ходит, а эта Алена рас-

красила папин пасквиль про то, как наши давили Бандеру. Ты представляешь? Ни фиги себе!.. Мать, мы размениваем Сретенку. У меня Женька на пятом месяце. Делим «квадраты». А ты?..

— Делите, — ответила Соня. — Мне и здесь хорошо.

Соня тогда жила в Малаховке. Да, это было в восемьдесят пятом, она еще жила на даче, у стариков. Она сама так решила.

Она прожила там два года. Заваривая чай, ужиная со стариками, летом — на террасе, зимой — в столовой, за самоварчиком. Вот так, тихо, чаевничая, ложась спать, просыпаясь... Спеша на электричку, торопясь в свои Люберцы. Почему Люберцы? Почему районная газета? Вот так вышло, так сложилось. Не все ли равно?

Потом маленький родился. Сереженька-младший, внук, первенец. Летом Соня купала его на даче, в своем старом детском корытце. И маленький смеялся, и Соня смеялась. И янтарная, древняя, Сониная утка нашлась, та самая, из Сониного детства, с продавленным боком. Мальчик смеялся, беззвучно лопались пузыри мыльной пены. Блестел на августовском солнце уцелевший янтарный бок Сониной утки...

И что-то дрогнуло, ожило там, в глубине Сониной замерзшей, сбитой, подбитой души. Душа ожила. Броня крепка.

Соня поехала в Москву и разыскала Вадима.

Вадим и раньше приезжал к ней в Малаховку, раза два, по горячим следам, зимой восемьдесят третьего. Приезжал, садился в кресло на террасе, наотрез отказываясь входить в дом. Так и сидел в дубленке и шапке, не глядя на Со-

ню, деловито, суховато спрашивая, не нужно ли чего. И как у Сони с деньгами? И что за Люберцы еще, что это за блажь? И почему она, разведясь со своим партизаном-ополченцем, так легко отказалась от своей квартирной доли? В общем, если Соне что-нибудь понадобится...

Нет, спасибо, Вадим, ничего не понадобится. Все есть. Все хорошо. И гэбэшные соколы не трогали, не вызывали. Телег никаких на работу не присылали. А куда? Из Останкина она ушла. А кому она нужна в своих Люберцах? Нет, никаких телег, обошлось. Телега... Готовь Соню летом. А телегу — зимой.

Она отрывисто, жутковато смеялась, глядя на дачную тропинку, на декабрьские сугробы. Вадим почему-то обиделся, принял все на свой счет. Поднялся, вышел за калитку, сел в машину и уехал. Больше не приезжал.

Соня сама нашла его через три года. Восемьдесят шестой, лето. Эта самая... как ее... А! Перестройка. Смешно. Перестройка.

Соня приехала в Москву, нашла Вадима, позвонила ему, условились о встрече. Сидели в каком-то кооперативном кафе. Надо же, частное кафе, просто Запад какой-то. Кто бы мог подумать?

Решившись, Соня спросила его:

— Вадим.... Ты что-нибудь знаешь о нем? Помоги мне найти его.

— Нет, я его искать не буду, — ответил он сразу, без паузы, очень жестко. Наверное, знал, что Соня будет его об этом просить, он был готов к этому вопросу, он все заранее обдумал. — Я его искать не буду. И ты не ищи. Если он сам тебя не нашел... за три долгих года... Зачем ты будешь его искать, Соня? Зачем?

Это было четырнадцать лет назад. Новый год. Миллениум.

Соня спустилась с последней ступеньки и открыла входную дверь.

Тишина. Безлюдный двор. Свет в окнах. Уже утро? Еще ночь? Вадим сидел в машине, откинувшись на спинку сиденья. Глаза закрыты. Спит?

В восемьдесят седьмом, когда они оба умерли, один за другим, сначала мама, потом отец, в страшном восемьдесят седьмом Вадим снова появился. Приехал, помог с отцовскими похоронами, ощутимо помог, немногословный, деловитый, сумрачный, как всегда. И Сонин бывший муж Сережа помогал, но Сережа был бестолков и суетен, Сережа другим не бывает. Подарил всем по тоненькой книжице, чего-то там про Чернобыль, теперь — про партизан Чернобыля. Молодая жена сбавала обложку, семейный подряд, молодцы. Сережа всем показывал карточку своего полугодовалого сына, сидели в Сашиной новой квартире, на кухне, поминали стариков, все смешалось...

Все смешалось — Сережин сын, Сашкин сын. Почти одногодки. Сашкина жена Женя, мать-командирша, хипповые браслетки, рваные джинсы давно выброшены, сданы в утиль, Сашкина Женя тяжело, вперевалочку ходила по тесной кухне. Уже на восьмом месяце, куда второго-то? В однокомнатной — вчетвером?

И Соня сказала:

— Саша, отдайте мне внука. На время. А то мне теперь там жутко в Малаховке одной.

Вадим смотрел на нее, сидя напротив, через стол. А Сережа быстро набрался и заплакал, вдруг вспомнив Сонину мать:

— Как она тогда про Анну Каренину? Про «топку страстей»?

— Не помню, — оборвала его Соня.

Сказала — и вышла из кухоньки в коридор. Дурацкая квартира, два на полтора, бездарно они поделили Сонину Сретенку, Сонин Луков.

Вадим вышел следом. Они стояли рядом в крохотном темном коридоре, возле трехколесного велика, предназначенного для Сашкиного сына, Сониного внука Сереженьки, он еще на нем не катается, «мой Лизочек слишком мал», велосипед на вырост.

Вадим достал сигареты и тихо спросил:

— Здесь можно курить?

— Я не знаю. — Соня пожала плечами. — Нет, лучше на лестнице. Женя на сносях, Сережа вон спит, за дверью... Я его в Малаховку заберу. Только бы отдали.

— Отдадут. Зачем тебе в Малаховку? Хватит уже. — Вадим взглянул на нее в упор. Стояли в темноте, глаза в глаза, рядом. — Забирай малого. Переезжайте ко мне.

— А ты один? — спросила Соня, не удивившись, только сильнее сжав рукой холодный, гладкий руль Сережиного велосипеда.

В двух шагах от них, на тесной кухне, старший Сережа уже рассказывал про Чернобыль, про весь этот ужас, он туда ездил, собирал материал для книги, нахватался этих проклятых рентген, второй год подряд он только об этом и говорит.

— Ты один? — повторила Соня.

— Я один, — сказал Вадим, и крупные его, чуть вывернутые, бледные, арапские, еврейские губы дрогнули в невеселой, странноватой усмешке.

— С Новым веком вас!

Какой-то подвыпивший мужичок прошел мимо Сони к подъезду бывшего Сониного сретенского дома, успев поздравить ее, по-старомодному церемонно приподняв над головой вязаную ушаночку.

— Век через год закончится, — почти машинально поправила его Соня. — С Новым годом!

Мужичок кивнул ей, и они разошлись в разные стороны. Мужичок — к дверям подъезда, Соня — к машине, в которой дремал ее муж.

Век через год... Совсем скоро.

Век завершается, наш долгий советский век, а мы-то? А с нами-то что? Век уходит, а мы — его дети. Там, в глубине этих лет, у его сердцевины, у самой сердцевины советского страшного, победного, дивного, жутковатого века, у самой сердцевины, чуть раньше, чуть позже, мы были зачаты, все мы оттуда.

Там было все: и свет, и тьма, и тепло, и радость, и горе, и счастье, и боль, наша жизнь, наша молодость, наше Точное Время. Но Время истекает.

Время истекает. Век заканчивается. А мы еще живы. Мы еще долго будем жить.

Соня открыла дверцу машины, села рядом с мужем.

Он не спал. Он сразу открыл глаза. Повернулся к ней, взглянул. Ничего ему не нужно объяснять. Все он понимает. Он смотрел на Соню исподлобья, насмешливо, спокойно, не говоря ни слова, только успев быстро взглянуть на часы.

— Поехали? Я Сереже звонил по мобильнику. Не спит до сих пор, негодяй.

— Ваденька, парню четырнадцать лет. Может он себе позволить в новогоднюю ночь...

— Может. Он там какую-то лабудень по MTV смотрит. Сашка, говорит, полчаса назад из Принстона звонил. Поздравлял нас. Едем?

— Меня долго не было, Вадим?

Он снова взглянул на часы.

— Тридцать девять минут. И десять секунд, если угодно. Все, едем, Соня. Пора.

Литературно-художественное издание

**Мареева Марина Евгеньевна**  
**Зависть богов,**  
**или Последнее танго в Москве**

Ведущий редактор Субботина Е.В.  
Художественный редактор Костерина Т.Н.  
Технолог Басипова С.С.  
Оператор компьютерной верстки Абрамова Е.В.  
Оператор компьютерной верстки переплета  
Драновский В.М.  
Корректоры Агафонова Л.П., Тихонова З.А.

Подписано в печать 26.09.2007.  
Формат 84×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага писчая. Печать офсетная.  
Тираж 5000 экз. Заказ № 805.

ЗАО «Вагриус»  
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1  
Отдел реализации издательства:  
(495) 510-56-09, 510-56-10  
E-mail: [vagrius@vagrius.com](mailto:vagrius@vagrius.com)

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»  
620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13  
<http://www.uralprint.ru>  
e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)





